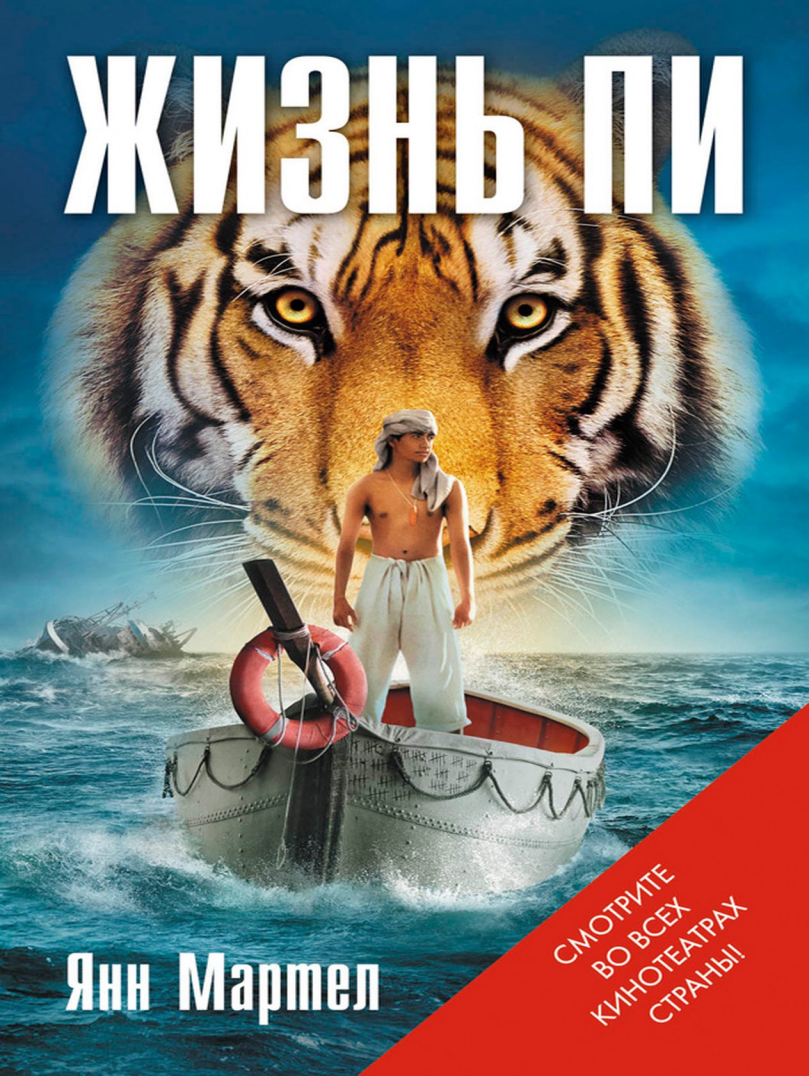
ЖИЗНЬ ПИ



Янн Мартел

СМОТРИТЕ ВО ВСЕХ КИНОТЕАТРАХ СТРАНЫ!

Жизнь Пи
Янн Мартел

Аннотация
Янн Мартел. Жизнь Пи
Предисловие автора
Часть I. ТОРОНТО И ПОНДИШЕРИ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Часть II. ТИХИЙ ОКЕАН
37
38
39
40
41
42
43

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

70
71
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
Часть III. БОЛЬНИЦА «БЕНИТО ХУАРЕС», ТОМАТЛАН, МЕКСИКА

95
96
97
98
99
100

Аннотация

«Жизнь Пи» произвела настоящий культурный взрыв в мировой интеллектуальной среде. Фантастическое путешествие юноши и бенгальского тигра, описанное в романе, перекликается с повестью «Старик и море», с магическим реализмом Маркеса и с абсурдностью Беккета. Книга стала не только бестселлером, но и символом литературы нового века, флагом новой культуры.

Янн Мартел
Жизнь Пи

Моим родителям и брату

Предисловие автора

Книга эта родилась от голода. Сейчас объясню. Весной 1996 года в Канаде вышла вторая моя книга — роман. Расходился он из рук вон. Критики или недоумевали, или хвалили так, что лучше б не хвалили вовсе. Так он и прошел мимо читателей. Я лез из кожи, корчил из себя не то клоуна, не то воздушного гимнаста, — все без толку: публика меня просто не замечала. Словом, полный провал. Другие книги стояли на магазинных полках стройными рядами, как бейсболисты или футболисты перед матчем, а моя больше походила на доходягу-хлюпика, которого никто не хотел брать к себе в команду. Так она и канула в небытие — быстро и без шума.

Не очень-то я и огорчился. Я уже взялся за другую историю — про Португалию 1939 года. Чего мне недоставало, так это покоя. Зато хоть какие-то деньги появились.

И вот я полетел в Бомбей. И это еще не самая глупая затея, если учесть три вещи: поездка в Индию, хоть и короткая, успокоит кого угодно; даже с худым кошельком жить там можно

сколько заблагорассудится, да и потом, роман про Португалию 1939 года не обязан иметь прямое отношение к Португалии 1939 года.

В Индии я бывал и раньше — прожил месяцев пять в северных краях. Тогда, в первый раз, я прибыл в Индостан совершенно неподготовленный. Только выучил одно заветное слово. Когда я рассказал приятелю — а тот знал Индию как свои пять пальцев, — что собираюсь в путешествие, он бросил как бы мимоходом: «У них там, в Индии, говорят на таком английском — обхохочешься. Особенно в ходу словечки типа „втирать“». Я вспомнил это, когда самолет начал снижаться над Дели, так что вся моя подготовка к красочной, неугомонной, бесшабашно-суетной Индии свелась к одному-единственному слову — «втирать». Я вворачивал его по всякому поводу — и, честно сказать, срабатывало. Кассиру на вокзале так прямо и выдал: «Не знал, что цены у вас кусаются. Надеюсь, вы мне тут не втираете?» Он улыбнулся и прощебетал: «Да что вы, сэр! У нас никому не втирают. Все честь по чести».

Теперь, оказавшись в Индии во второй раз, я уже знал, чего здесь можно ждать и чего хотелось бы мне самому: а мне хотелось забраться куда-нибудь в горную деревушку и писать роман. Я

спал и видел, как сижу за столом на просторной веранде, передо мной — кипа исписанной бумаги, а рядом с ней — чашка дымящегося чая. Под ногами стелются зеленые холмы, подернутые туманной дымкой, а в ушах звенит от пронзительных криков обезьян. Погода будет что надо — утром и вечером можно обойтись легким свитером, а днем не пропаду и в какой-нибудь безрукавке. Так-то вот, с пером в руке, и буду искать великую правду жизни, превращая подлинную историю Португалии в фантазию. Ведь разве не в том и состоит вся соль художественной литературы — в избирательном преображении действительности? Чтобы, малость исказив ее, добраться до самой сути. В таком случае что, собственно, я забыл в этой самой Португалии?

Хозяйка дома, из местных, будет рассказывать про войну с англичанами и про то, как их выдворили восвояси. Вместе с ней мы будем обсуждать, что мне приготовить завтра на завтрак, на обед и на ужин. А вечером, покончив с дневной писаниной, я буду лазить по зыбящимся холмам, облепленным чайными плантациями.

Но, увы, роман вдруг чихнул, крякнул и преставился. Случилось это в Матхеране, горной деревеньке близ Бомбея, где с обезьянами было

все в порядке, а вот чайных плантаций не было, хоть ты тресни. Похожая беда подстерегает начинающих писателей сплошь и рядом. И тема — блеск, и фразы — красота. Герои до того живые — хоть свидетельства о рождении выдавай. Фабула, им уготовленная, — лучше не придумаешь: и простая, и захватывающая. На подготовительной работе поставлена точка, скопилась куча фактического материала, для вящей достоверности, — про историю и людей того времени, про климат и даже про национальную кухню. Диалоги сверкают что клинки — разят прямо в сердце. Описания так и брызжут красками, контрастами и живыми подробностями. Что ни говори — гениально! Но не тут-то было. Вопреки всем радужным надеждам вдруг понимаешь — тихий неугомонный голос нашептывал тебе убийственную правду: все ни к черту. Не хватает самой малости — искорки, способной зажечь твою историю настоящей жизнью, и точная историческая фактура или безупречные кулинарные рецепты — все псу под хвост. Повесть твоя бесчувственна, мертва, и тут уж ничего не попишешь. Такое открытие, скажу вам, совсем не радует. От такого и впрямь засосет под ложечкой — как от голода.

Наброски безнадежного романа я отнес на почту в Матхеране. И отправил по выдуманному адресу в Сибирь, да и обратный адрес, в Боливии, я тоже взял с потолка. Когда пакет проштамповали и бросили в сортировочный мешок, я сел и тихо загрустил: «И что теперь, Толстой? Как насчет еще чего-нибудь эдакого, гениального?»

Хорошо еще, кошелек мой вконец не истощал, а на месте все так же не сиделось. Я встал и двинул с почты прямиком на юг Индии.

Как бы мне хотелось отвечать: «Я доктор» — всем, кто спрашивал, чем я занимаюсь, ведь доктора нынче в почете — вот кто творит настоящие чудеса. Но тут и к гадалке не ходи: случись нашему автобусу перевернуться на крутом вираже, все сразу же кинутся ко мне, и поди докажи — среди воплей да стонов, — что хоть ты и доктор, но юрист; а после, взбреди им в голову судиться из-за увечий с правительством и нанять меня в консультанты, придется сознаться, что на самом деле я бакалавр, притом философии; затем, в ответ на крики, и за что им это наказание, придется покаяться, что я с трудом одолел Кьеркегора, и все такое прочее. Словом, как оно ни прискорбно, как ни унизительно, решил я все-таки не грешить против истины.

Всю дорогу я только и слышал: «Писатель? Да ну! Хотите историю?» Вот только истории эти зачастую были нудные, муторные, да еще с бородой.

Так добрался я до городка Пондишери, что в составе небольшой самоуправляемой союзной территории к югу от Мадраса, в Тамилнаде на побережье. По числу жителей и размерам это совсем крохотный уголок Индии (в сравнении с ним остров Принца Эдуарда в Канаде — сущая громадина), хотя история у него особая. Пондишери был некогда столицей самой маленькой колониальной империи — Французской Индии. Французы, понятно, были бы не прочь потягаться с англичанами, очень даже не прочь; но в одном-единственном радже, где им только и удалось закрепиться, гаваней было всего ничего, да и те крошечные. Однако французы продержались там целых триста лет. И убрались из Пондишери только в 1954 году, побросав нарядные белые домики, широкие улицы, скрещивающиеся под прямым углом, с названиями вроде рю-де-ла-Марин и рю-Сен-Луи, да полицейские фуражки — кепи.

Сидел я как-то раз в «Индийской кофейне» на улице Неру. Кофейня эта размещается в одном большом зале с зелеными стенами и высоким

потолком. Над головой кружат вентиляторы, разгоняя теплый влажный воздух. Зал заставлен одинаковыми квадратными столиками, по четыре стула у каждого. Выбирай любой, даже если за столиком уже кто-то сидит. Кофе подают превосходный, да еще с гренками, поджаренными в молоке с яйцом. И беседа там завязывается сама собой — легко и просто. В тот раз собеседником моим был шустрый ясноглазый старикашка с пышной, убеленной сединами шевелюрой. Я согласился с ним, что в Канаде и правда холодно, что там действительно есть места, где говорят только на французском, и уверил, что в Индии мне на самом деле нравится, ну и так далее и тому подобное — в общем, непринужденный разговор, какой дружелюбно-любопытные индусы обычно заводят с заезжими иностранцами. Про мою работу старичок слушал, широко раскрыв глаза, и одобрительно кивал. Но в конце концов пора было и честь знать. И я поднял руку, чтобы привлечь официанта и взять у него счет.

Тогда старичок возьми и скажи:

— Могу рассказать одну историю, да такую, что вы непременно уверуете в Бога.

Рука моя так и повисла в воздухе. Я насторожился. Неужто свидетель Иеговы стучится ко

мне в дверь?

— Не иначе как истории вашей две тысячи лет и случилась она где-нибудь на задворках Римской империи? — спрашиваю.

— А вот и нет.

Может, старикашка — из этих, мусульманских пророков?

— Уж не в седьмом ли веке было дело, не в Аравии ли часом?

— Да нет же. Все началось здесь, в Пондишери, несколько лет назад, а закончилось, должен заметить на радость вам, в той самой стране, откуда вы приехали.

— И что, из-за этой вашей истории я должен поверить в Бога?

— Ну да.

— Вот так задачка!

— Вам вполне по зубам.

Тут подошел официант. Я на мгновение задумался. И заказал еще пару кофе. Мы познакомились. Старичка звали Франсис Адирубасами.

— Так что там у вас за история? — спрашиваю.

— Только слушайте очень внимательно, — попросил он.

— Идет. — Я достал ручку и блокнот.

— Скажите, вы уже бывали в Ботаническом саду? — спросил он.

— Вчера ходил.

— Видели детскую железную дорогу?

— Ну да.

— По воскресеньям по ней до сих пор гоняет поезд детишкам на забаву. А было время, когда он гонял по два раза в час, и так каждый день. Помните, как называются станции?

— Одна — Розвиль. Та, что возле розария.

— Точно. А другая?

— Не помню.

— Там уже нет вывески. Когда-то она называлась Зоотаун. Поезд делал две остановки — в Розвиле и Зоотауне. Когда-то на месте Пондишерийского ботанического сада был зоопарк.

Старичок продолжал свой рассказ. А я все помечал да записывал.

— Вам надо и с ним поговорить, — сказал он про главного своего героя. — Я знал его очень-очень хорошо. Теперь он уже взрослый. Порасспрошайте его — может, и он что вспомнит.

Позднее, уже в Торонто, я разыскал его, главного героя, по телефонному справочнику, в перечне из девяти колонок, где значились сплошные Пателя. А когда набирал номер, сердце так и колотилось

в груди. Голос в трубке был с явным канадским акцентом, сдобренным неповторимой индийской размеренностью — легкой, как тонкое, едва уловимое благоухание. «Как же давно это было», — проговорил незнакомец. Но встретиться со мной все-таки согласился. С тех пор встречались мы не раз. Он показывал дневник, где описал все, что с ним приключилось. Показывал пожелтевшие газетные вырезки, снискавшие ему мимолетную, скромную славу. И рассказывал свою историю. А я за ним записывал. Где-то через год, после долгих проволочек, я наконец получил магнитофонную пленку и отчет из Министерства транспорта Японии. И, только прослушав пленку, признал — прав был старина Адирубасами, когда обещал, что после этой истории я непременно уверую в Бога.

Мне подумалось: не проще ли будет рассказать историю господина Пателя от первого лица — его собственного? А все неточности и огрехи можно смело списать на меня.

Хотелось бы мне и кое-кого поблагодарить. Конечно же, я всем обязан господину Пателю — и моя благодарность ему бескрайня, как Тихий океан. Надеюсь, рассказ мой его не разочарует. Господина Адирубасами я благодарю за то, что

он пробудил во мне интерес к этой истории. Ну а закончить ее мне помогли три чиновника, прекрасные знатоки своего дела, за что я им также благодарен: Казухико Ода, недавно оставивший службу в японском посольстве в Оттаве; Хироси Ватанабе из судоходной компании «Ойка»; и особенно Томохиро Окамото из Министерства транспорта Японии, ныне пребывающий на заслуженном отдыхе. А что до животворной искорки, ее зажег во мне Моасир Скляр. В заключение я хотел бы выразить самую искреннюю признательность выдающемуся учреждению — Канадскому совету по делам искусств: без его денежной помощи мне бы ни в жизнь не удалось довести до ума мою историю, не имеющую, впрочем, ни малейшего отношения к Португалии 1939 года. Если мы как граждане не будем помогать нашим художникам, то бросим свое воображение на алтарь суровой действительности, и нам ничего не останется, как только утратить веру и тешить себя пустыми мечтами да призрачными надеждами.

Часть I
ТОРОНТО И ПОНДИШЕРИ

1

Я маялся — на душе у меня скребли кошки.

Но университетские занятия и постоянная серьезная религиозная практика мало-помалу вернули меня к жизни. Я остался верен своим религиозным пристрастиям, хотя кое-кому это казалось странным. Отучившись последний год в средней школе, поступил в Торонтский университет и выучился на бакалавра по двум специальностям сразу. Первой было богословие, а второй — зоология. Курсовая моя по теологии, на четвертом году обучения, затрагивала некоторые стороны космогонической теории Исаака Лурии, великого каббалиста XVI века из Сафеда. А курсовая по зоологии была посвящена функциональному анализу щитовидной железы у трехпалого ленивца. Ну а ленивца я выбрал потому, что характер его — спокойный, мирный, самоуглубленный — был бальзамом на мою измотанную душу.

Ленивцы бывают двухпалые и трехпалые, притом что судить об этом можно лишь по передним лапам — на задних у всех ленивцев по три когтистых пальца. Однажды летом мне здорово

повезло: я изучал трехпалых ленивцев *in situ* — в экваториальных лесах Бразилии. Зверьки эти на редкость интересные. У них только одна необоримая привычка — лень. Они спят или отдыхают в среднем по двадцать часов на дню. Наша группа исследовала особенности сна пяти диких трехпалых ленивцев. Ранним вечером, когда те засыпали, мы ставили им на головы ярко-красные пластмассовые миски с водой и на другой день, поздним утром, видели, что миски стоят все там же, полные до краев, и вдобавок кишат всякими насекомыми. Ленивец раскачивается на заходе солнца — впрочем, слово «раскачивается» надо понимать с большой-большой оговоркой. Он сползает по ветке — как обычно, то есть вниз головой, — со скоростью около 400 метров в час. А оказавшись на земле, переползает к ближайшему дереву со скоростью 250 метров в час, и то если его что-нибудь там привлекает, — это в 440 раз медленнее гепарда, которого вечно что-нибудь да привлекает. Ну а нет, так ленивец проползает не больше четырех-пяти метров в час.

Представления об окружающем мире у трехпалого ленивца весьма ограниченные. По шкале от двух до десяти, где «двойка» означает предел

тупости, а «десятка» — обостренное чутье, Биби[1] оценил в 1926 году такие чувства ленивца, как вкус, осязание, зрение и слух, на «двойку», а обоняние — на «тройку». Случись вам натолкнуться на спящего ленивца в природе, ткните его легонько разок-другой, и он очнется — будет спросонья озираться по сторонам, а на вас даже не глянет. Да и вообще непонятно, зачем ленивцу к чему-то приглядываться: ведь ему все кажется расплывчатым — нечетким, как в кино, когда уходит резкость. Что же до слуха, ленивец не такой уж глухой — просто звуки его мало волнуют. Тот же Биби сообщал, что если пальнуть из ружья над ухом спящего или кормящегося ленивца, тот и глазом не моргнет. Впрочем, и обоняние ленивца, с которым у него вроде бы все в порядке, не стоит переоценивать. Хоть и говорят, будто ленивцы по запаху угадывают гнилые ветки и обходят их стороной, но Буллок сообщал в 1968 году, что ленивцы часто падают на землю, сваливаясь с трухлявых сучьев.

И как только они умудряются выжить, спросите вы.

Как раз благодаря своей медлительности. Сон-

---

[1] Примечания: 1

Биби, Уильям (1872–1962) — американский исследователь-натуралист.

ливость и нерасторопность хранят их от всяких напастей — от острого глаза и нюха ягуара, оцелота, орла и анаконды. В шерсти ленивца заводятся водоросли — в засуху они буреют, а в сезон дождей зеленеют, так что, слившись с окружающей средой, среди мхов да листвы, зверек делается невидимым, вернее, становится похожим не то на муравейник, не то на гнездо белки, а то и вовсе на кусок дерева.

Трехпалый ленивец живет тихо и мирно и знай себе пожевывает листья — словом, в полной гармонии с окружающей средой. «На губах у него неизменная добродушная улыбка», — подметил в 1966 году Терлер. Я тоже видел, как улыбается ленивец, — своими собственными глазами. Хотя мне совсем не свойственно наделять животных человеческими качествами и манерами, но в течение того месяца, в Бразилии, я часто наблюдал, как ленивцы отдыхают, и всякий раз ловил себя на мысли, что они — йоги, медитирующие в перевернутых асанах, или отшельники, погруженные в молитву, а может, мудрецы, живущие своим пылким воображением, недоступным моему сугубо научному пониманию.

Порой мои наблюдения в двух разных областях науки наслаивались друг на друга. Некоторые

из моих однокашников, ударившиеся в богословие, — по сути, агностики с полной мешаниной в голове, не различающие белое и черное, рабы тупого здравомыслия, затмевающего блеск живого ума, — уж больно напоминали трехпалых ленивцев, а трехпалый ленивец, как истинное чудо природы, напоминал мне о Боге.

С моими приятелями-учеными мне всегда было легко и просто. Ученые — народ дружелюбный, не признающий Бога, работящий, охочий до пива, помышляющий лишь о сексе, шахматах да бейсболе — в свободное от науки время, конечно.

Учился я на «отлично», если пристало так говорить про себя самого. Четыре года кряду был лучшим студентом колледжа Сент-Майкл. За что и удостоился всевозможных студенческих наград зоологического факультета. А если не получил ни одной на богословском, то исключительно потому, что студентов там вообще не награждали (награды за успехи на религиозном поприще, известное дело, вручаются отнюдь не из рук смертных). Я наверняка получил бы и генерал-губернаторскую академическую медаль — высшую студенческую награду Торонтского университета, если б не один паренек, краснощекий обжора с бычьей шеей и редкостный весельчак.

Обида до сих пор гложет меня, хотя уже и не так сильно. Даже если жизнь тебя изрядно побила, новая боль, хоть и пустячная, кажется нестерпимой. Жизнь моя похожа на образ *memento mori* из европейской живописи: мне всегда скалится череп, напоминая о тщете человеческой гордыни. Я смеюсь над черепом. Гляжу на него и говорю: «Ошибся адресом! Ты не веришь в жизнь, а я — в смерть. Катись-ка подальше!» А череп знай себе посмеивается да подкатывает все ближе, — впрочем, оно и неудивительно. Смерть всегда ходит за жизнью по пятам, и причина тому не биологическая необходимость, а самая обыкновенная зависть. Жизнь до того прекрасна, что смерть влюблена в нее, да вот только любовь у этой ревнивицы хищническая, ненасытная. Впрочем, жизнь легко переступает через забытье и расстается только с пустяками, а тьма — не что иное, как преходящая тень от мимолетной тучи. Того краснощекого паренька наградили и стипендией Родса. Я люблю его и думаю, он так же преуспел и в Оксфорде. Если богиня Лакшми, покровительница богатства, когда-нибудь снизойдет и ко мне, Оксфорд будет пятым по счету среди городов, где мне хотелось бы побывать перед смертью, после Мекки, Варанаси, Иерусалима и Парижа.

Ничего не скажу про свою трудовую жизнь, кроме того, что галстук — удавка, хоть и перевернутая, и мигом задушит любого, кто потеряет бдительность.

Я люблю Канаду. Я скучаю по знойной Индии, по индийской кухне, домашним ящерицам на стенах, музыкальным фильмам, коровам, бродящим прямо по улицам, по карканью ворон, даже по разговорам про крикет… но я люблю Канаду. Эту великую страну, чересчур холодную даже для сдержанного рассудка, где живут добродушные, благоразумные люди с никуда не годными прическами. Как бы то ни было, дома, в Пондишери, меня никто не ждет.

Ричард Паркер одно время был при мне. И забыть его я не в силах. Скучаю ли я по нему? Признаться — да. Скучаю. Он все еще мне снится. Правда, в кошмарах, но кошмары эти наполнены любовью. Таким вот странным образом устроена человеческая душа. И все же я не пойму: как он мог меня бросить? Вот так бесцеремонно, даже не попрощавшись, даже ни разу не обернувшись. Боль ножом вонзается мне в сердце.

Доктора и медсестры в мексиканской больнице относились ко мне с необычайной добротой. Как и пациенты. И раковые больные, и увечные — все

они, заслышав мою историю, ковыляли ко мне на костылях, катили в колясках вместе со своими родственниками, хотя никто из них ни слова не понимал по-английски, а я — по-испански. Они улыбались мне, жали руки, трепали по голове, оставляли на кровати подарки — еду и одежду. А я в ответ то смеялся, то всхлипывал, совершенно непроизвольно.

Через пару дней я уже встал на ноги и даже умудрился одолеть два-три шага, несмотря на тошноту, головокружение и сильную слабость. По анализам крови у меня обнаружились малокровие, повышенное содержание натрия и пониженное — калия. Жидкость из организма не выводилась, и ноги распухли до ужаса. Прямо как у слона. Моча была мутная, темно-желтая, а иногда коричневая. Но через неделю или около того я уже мог ходить — почти нормально — и надевать ботинки — правда, без шнурков. Кожа моя зарастала, хотя на плечах и на спине шрамы так и остались.

Когда я в первый раз открыл кран, то при виде хлынувшей оттуда журчащим потоком воды так и остолбенел, голова пошла кругом, ноги сделались ватные, и я как подкошенный рухнул на руки медсестры.

А когда в первый раз оказался в индийском ресторане в Канаде, то стал есть руками. Официант взглянул на меня с укоризной и спросил: «Никак прямо с корабля на бал?» Я побледнел. Пальцы мои, которые еще секунду назад воспринимали прелесть пищи раньше нёба, в тот же миг будто замарались. И одеревенели, словно злоумышленники, застигнутые на месте преступления. Я не посмел их облизать, а виновато вытер салфеткой. Тот малый и не думал, как глубоко задел меня. Его слова вонзились мне в уши острыми иглами. Я взял нож и вилку. Хотя раньше почти никогда ими не пользовался. Руки у меня дрожали. И самбар потерял всякий вкус.

2

Живет он в Скарборо. Невысокий, худосочный парень, ростом не больше пяти футов пяти дюймов. Темноволосый, темноглазый. На висках седина. Возраст — не старше сорока. Кожа мягкого кофейного цвета. На дворе осень, но не холодно, а он облачается в широкую парку с капюшоном на меху — мы собираемся в ресторан. Лицо выразительное. Говорит быстро, размахивает руками. Но ни одного пустого слова. Все по делу.

3

Меня назвали в честь бассейна. Это тем более странно, что родители мои совсем не умели плавать. Одним из давних деловых партнеров отца был Франсис Адирубасами. Был он и добрым другом нашей семьи. Я звал его Мамаджи — от тамильского *мама*, что значит «дядя», а суффикс «джи» индусы прибавляют в знак уважения или благорасположения. В молодости, задолго до моего рождения, Мамаджи раз выиграл соревнования по плаванию и стал чемпионом Южной Индии. И в каком-то смысле остался им на всю жизнь. Брат мой Рави как-то рассказывал, что Мамаджи, едва появившись на свет, ни в какую не хотел выдохнуть из легких воду, и, чтобы спасти ему жизнь, врачу пришлось взять его за ноги и разок-другой крутануть над головой.

— И помогло! — прибавил Рави и как очумелый замахал рукой у себя над головой. — Он отрыгнул воду и задышал воздухом — правда, от такой встряски его телеса сместились кверху. Поэтому у него такая здоровенная грудь, а ноги как спички.

И я поверил. (Рави еще тот зубоскал. Когда он в первый раз назвал Мамаджи «мистером Рыбой»,

да еще в моем присутствии, я засунул ему под одеяло банановую кожуру.) Даже в свои шестьдесят, когда Мамаджи уже малость ссутулился, а телеса его после долгих лет борьбы с родовыми осложнениями заметно пообвисли, даже тогда он каждое утро трижды переплывал из конца в конец бассейн в ашраме Ауробиндо.

Он пробовал научить плавать моих родителей, но дальше тренировок на песке дело не пошло; единственное, что ему удалось, так это поставить их на колени и заставить размахивать руками, что со стороны выглядело очень смешно: когда отрабатывали брасс, казалось, что они продираются сквозь джунгли, раздвигая высокую траву, а когда осваивали вольный стиль — что мчатся с горы и колотят по воздуху руками, силясь не упасть. Да и Рави от них недалеко ушел.

Мамаджи пришлось ждать, пока не настал мой черед, — тогда-то он наконец и нашел себе прилежного ученика. В тот день, когда мне стукнуло семь лет — самое время, по словам Мамаджи, учиться плавать, — он, к матушкиному огорчению, привел меня на побережье, простер руки в сторону моря и возгласил:

— Вот тебе мой подарок.

— А потом он тебя чуть не утопил, — сокруша-

лась матушка.

Я оправдал надежды моего водяного гуру. Под его бдительным оком я лежал на берегу, махал ногами, загребал руками песок и при каждом гребке крутил головой то влево, то вправо, отрабатывая вдох-выдох. Со стороны я, наверное, походил на мальца, лениво бьющегося в припадке затянувшегося каприза. В воде, покуда Мамаджи удерживал меня на поверхности, я старался плыть что было мочи. Это оказалось труднее, чем на земле. Но терпения Мамаджи было не занимать, и он всячески меня подбадривал.

Когда он почувствовал, что как пловец я уже вполне созрел, мы покинули морской берег с его весело рокочущим, в пенных брызгах прибоем и отправились постигать четкую, безбурную симметрию ашрамского бассейна.

Я ходил туда все детство, три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам, и ритуал этот повторялся начиная с раннего утра строго по часам, точным, как безупречно отточенный вольный стиль. Хорошо помню, как рядом со мной раздевался догола этот гордый старик, как после каждого снятого предмета одежды мало-помалу обнажались его телеса, как он смущенно отворачивался и второпях влезал в роскошные

заграничные спортивные плавки. И вдруг весь расправлялся — он был готов. И в этом ощущалось и геройство, и простота. Наставления по плаванию, перенесенные вслед за тем на практику, отнимали у меня последние силы — и при этом доставляли огромную радость, особенно когда я поплыл с легкостью и быстротой, все легче и быстрее, и когда вода уже казалась не расплавленным свинцом, а жидким светом.

К морю я вернулся по собственному желанию, к постыдной своей радости; меня так и тянуло к громадным волнам, гулко накатывавшим на берег, но ложившимся к моим ногам укрощенной зыбью, — они, как мягкие лассо, арканили меня, индийского мальчугана, свою смиренную жертву.

Когда мне было лет тринадцать, я подарил Мамаджи на день рождения два заплыва баттерфляем — вышло очень даже неплохо. Правда, к финишу я так выдохся, что едва смог помахать ему рукой.

В свободное от плавания время мы говорили опять же только о плавании. И такие разговоры были особенно по душе отцу. Чем сильнее ему самому не хотелось учиться плавать, тем больше нравилось слушать, как плавают другие. Истории

про плавание были его излюбленной темой в выходные дни — так он отвлекался от работы, где только и было разговоров что про зоопарк. Да и вода без гиппопотама казалась ему гораздо более укротимой, чем с гиппопотамом.

С благословения и при поддержке колониальной администрации Мамаджи пару лет отучился в Париже. То были лучшие годы в его жизни. Было это в начале тридцатых, когда французы силились офранцузить Пондишери, так же как англичане — англизировать всю остальную Индию. Уже и не помню, какие там науки постигал Мамаджи. Кажется, учился премудростям торговли. Но был он великим рассказчиком — только не подумайте, будто грезил он какими-то там науками, Эйфелевой башней с Лувром или Елисейскими Полями с тамошними кафе. Ни о чем, кроме как о бассейнах и соревнованиях по плаванию, он и не думал. К примеру, рассказывал он, старейший в городе бассейн «Писин-Делиньи»,[2] обустроенный еще в 1796 году, находился под открытым небом в барже, стоявшей на приколе у набережной Ке-д'Орсе, — там-то и состязались пловцы во время Олимпиады 1900 года. Впро-

[2] Примечания: 2
Piscine *(фр.)* — бассейн.

чем, Международная любительская федерация плавания ни один заплыв не засчитала, потому как бассейн признали на шесть метров длиннее положенного. Воду в него закачивали прямо из Сены, не очищая и не подогревая.

— Она была холодная и грязная, — вспоминал Мамаджи. — В воде, протекавшей через весь Париж, собирались все городские нечистоты. А в бассейне из-за купальщиков она становилась еще грязнее.

Потом он вдруг таинственно, шепотом приводил жуткие подробности, будто в подтверждение своим словам, что у французов-де с личной гигиеной совсем беда. «В „Делиньи“ было противно. Но „Бен-Руаяль“, другая клоака на Сене, и того хлеще. В „Делиньи“, по крайней мере, дохлую рыбу вылавливали». Но, как ни крути, олимпийский бассейн есть олимпийский бассейн — на нем лежит печать бессмертной славы. Хотя худшей помойки не сыскать, весело и лукаво усмехнувшись, заканчивал Мамаджи свой рассказ про «Делиньи».

Малость получше было в бассейне «Шато-Ландон», «Руве» или в том, что на Привокзальном бульваре. Они закрытые, стоят на твердой земле — ходи не хочу, и круглый год. Воду туда зака-

чивали с соседних фабрик — в виде конденсата из паровых котлов, и потому была она чище и теплее. Хотя и там было пакостно, да и народу что сельдей в бочке. «Столько соплей и харкотины в воде плавало, что казалось, плывешь в медузьем месиве», — посмеивался Мамаджи.

Зато бассейны «Эбер», «Ледрю-Роллен» и «Бюто-Кай» сверкали так, что не налюбуешься, и воду туда качали прямо из артезианских колодцев. Бассейны эти были муниципальные и служили примером — эдакими образчиками совершенства. Да, был, конечно, и «Турель», еще один большой столичный олимпийский бассейн, — его открыли в 1924 году, ко вторым Парижским играм. Были и другие бассейны — всякие-разные.

Но в глазах Мамаджи ни один из них не мог тягаться с «Молитором». То была настоящая царская купель, истинная гордость Парижа, да и всего цивилизованного мира, пожалуй.

— В этом бассейне и богам было бы незазорно купаться. При «Молиторе» был лучший в Париже клуб пловцов — он-то и устраивал соревнования. Там были две ванны — одна открытая, другая закрытая. Обе размером с крохотный океан. В закрытой протянули две дорожки — для заплы-

вов на короткие и длинные дистанции. Вода в них была до того чистая и прозрачная, что хоть набирай да кофе по утрам вари. Деревянные кабинки-раздевалки, бело-синие, располагались вокруг бассейна в два яруса. С верхнего можно было разглядеть все, что угодно. Дежурными, помечавшими мелом на дверях кабинок «занято», служили хромоногие старички — они хоть и брюзжали без умолку, зато без всякой злобы. Шум и гам — все им было нипочем. Из душей струилась приятная, горячая вода. При бассейне обустроили парилку и спортзал. Зимой открытый бассейн заливали под каток. Были там и бар, и кафе, и большой солярий, и даже два мини-пляжа с настоящим песком. Каждая плиточка, каждая медяшка или деревяшечка блестела как новенькая. Так все и было, было…

Это был единственный бассейн, после воспоминаний о котором Мамаджи умолкал: ему не хватало слов, чтобы описать все его прелести.

Мамаджи вспоминал, а отец мечтал.

И вот, когда я пришел в этот мир, став последним желанным приобретением в нашем семействе через три года после рождения Рави, меня так и назвали — Писином Молитором Пателем.

4

Наша старая добрая страна уже семь лет как была республикой, после того как приросла еще одной маленькой территорией. Пондишери вошел в Индийский Союз 1 ноября 1954 года. Одно событие местного значения тотчас повлекло за собой другое. Часть земель Пондишерийского ботанического сада отошла под замечательное дело, притом безвозмездно: в Индии был заложен новый зоопарк, и обустроили его в соответствии с самыми современными и разумными с точки зрения биологии требованиями.

Зоопарк был огромный, площадью в несколько акров, — до того огромный, что объехать его можно было разве только на поезде, хотя чем старше я становился, тем меньше он мне казался, как, впрочем, и поезд. Теперь же он стал таким маленьким, что целиком умещается в моей памяти. Представьте себе жаркий, влажный уголок, утопающий в солнечных лучах и ярких красках. Там все цветет буйным, неувядающим цветом. Куда ни глянь — непроходимые заросли деревьев, кустарников, лиан: и священные фикусы, и делоникс королевский, что именуют

еще «пламенем леса», и красный хлопчатник, и джакаранда, и манго, и хлебные деревья, и бог весть какие еще, чьи названия так и остались бы для вас загадкой, если б не вбитые рядом памятные таблички. Скамейки — на каждом шагу. На скамейках всегда кто-то лежит и спит, а кто-то просто сидит, как те парочки юных влюбленных, — они робко, тайком переглядываются, а руки их, соприкоснувшись, будто застывают в воздухе. И тут вдруг замечаешь, что из-за высоких древесных крон за тобой без всякого стеснения подглядывает совсем другая парочка — жирафов. И это далеко не последний сюрприз. Уже через мгновение ты вздрагиваешь от оглушительных воплей обезьян, стаей проносящихся мимо, но их тут же заглушают пронзительные крики диковинных птиц. Подходишь к турникету. Взволнованно расплачиваешься — так, мелочь. Идешь дальше. Видишь маленькую стену. И что же там — за маленькой стеной? Не мелкая же яма с парой огромных индийских носорогов? Но как раз она-то там и находится. А когда поворачиваешь голову, упираешься взглядом в слона: ну и громадина — с ходу и не узнаешь. Зато без труда узнаешь плещущихся в пруду гиппопотамов. Словом, чем дольше смотришь, тем больше

подмечаешь. Вот он какой, Зоотаун!

До переезда в Пондишери отец мой служил управляющим в одной большой гостинице в Мадрасе. Однако неизменная любовь к животным побудила его заняться другим делом — и он стал директором зоопарка. Ну и что тут такого, скажете вы, вполне разумное решение, да и какая разница, чем управлять — гостиницей или зоопарком. Неправда ваша! Как ни крути, зоопарк по сравнению с гостиницей — сущий кошмар. Только представьте: постояльцы заперты по номерам; им подавай не только жилье, но и полный пансион; к ним толпами валят гости, а среди них попадаются на редкость шумные и озорные. Чтобы у них убрать, надо обождать, пока те не переберутся, если можно так выразиться, на балконы; и вот сидишь да и ждешь, когда им наскучит окружающий вид и они снова разойдутся по номерам, чтобы затем привести в порядок и балконы; а уборка — дело нешуточное, тем более что далеко не все постояльцы соблюдают чистоту: многие неопрятны, как горькие пьяницы. Притом каждый уж больно разборчив в еде и беспрестанно жалуется, что его-де медленно обслуживают, а чаевых от таких приверед, ясное дело, не дождешься. Между нами говоря,

встречаются среди них и чистые извращенцы: такие или безысходно подавлены и временами взрываются дикой похотью, или ведут себя нарочито распущенно, но и те и другие нередко оскорбляют служащих своими выходками, доходящими порой до кровосмешения. Хотелось бы вам привечать у себя в гостинице эдаких постояльцев? Вот-вот… Пондишерийский зоопарк стал неизбывным источником как редкостных радостей, так и постоянных хлопот для Сантуша Пателя — основателя, хозяина, директора, управляющего персоналом из пятидесяти трех человек, и моего отца.

А по мне, то был рай земной. У меня остались самые счастливые воспоминания о зоопарке: ведь там я вырос. Жил я как принц. Да и какой сын махараджи мог бы похвастаться такой же огромной и роскошной игровой площадкой? В каком еще дворце имелся такой зверинец? В детстве будильником мне служил львиный рык. Понятно, куда уж львам тягаться в точности со швейцарскими часами, но каждое утро, между пятью и шестью, они как штык принимались рычать. К завтраку неизменно звали вопли и крики ревунов, горных майн и молуккских какаду. В школу меня провожали добрым взглядом не только матушка, но

и глазастые выдры, и громадный американский бизон, и потягивающиеся, зевающие орангутаны. Пробегая под деревьями, я то и дело задирал голову, чтобы, не ровен час, не угодить под павлинье пометометание. Безопаснее всего было под деревьями, кишевшими крыланами; единственное, чего, пожалуй, следовало опасаться, окажись ты там спозаранку, так это утреннего концерта: летучие мыши гомонили и пищали так истошно, да еще не в лад, что хоть уши затыкай. Попутно я по привычке задерживался у террариумов — любовался лоснящимися, будто отполированными, лягушками: у одних кожа была изумрудная, у других — желтая с темно-синим отливом или бурая с зеленоватым. Иной раз я заглядывался на птиц — розовых фламинго, черных лебедей, шлемоносных казуаров или на пичужек вроде серебристых горлиц, пестрых капских скворцов, розовощеких неразлучников, черноголовых, длиннохвостых и желтогрудых попугайчиков… Слонов, тюленей, больших кошек или медведей вроде пока не видно — не их время, зато павианы, макаки, мангабеи, гиббоны, олени, тапиры, ламы, жирафы и мангусты пробуждались чуть свет. Каждое утро, перед тем как выйти за главные ворота, я всегда наблюдал одну и ту же картину, обычную и в то

же время незабываемую: пирамиду из черепах; переливающуюся всеми цветами радуги мордашку мандрила; величавого молчаливого жирафа; громадную разверстую желтую пасть гиппопотама; попугая ара, который карабкается по прутьям ограды, цепляясь за них клювом и когтями; приветственную дробь, которую исправно отбивает клювом китоглав; колоритную, как у матерого распутника, морду верблюда. Все эти сокровища так и мелькали у меня перед глазами: ведь я спешил в школу. И только после занятий я мог без лишней суеты проверить на себе, каково оно, когда слон обнюхивает твою одежду — нет ли в кармане ореха — или когда орангутан копается у тебя в волосах, думая выудить лакомого клеща, и после обиженно сопит: твоя голова не оправдала-де его надежд. А разве описать словами, как грациозно скользит по воде тюлень, или изящно, подобно маятнику, раскачивается на ветке паукообразная обезьяна, или как бесхитростно крутит головой лев. Нет, слова попросту тонут в этом море красоты. Уж лучше нарисовать себе все это в голове — так оно вернее.

В зоопарке, как и на природе, лучше всего бывать на восходе или на закате. В это время большинство животных бодрствуют. Пробу-

дившись, они выбираются из укрытий и бредут на водопой. Щеголяют своими нарядами. Поют песни. Переглядываются и совершают разные ритуалы. Вот она — награда пытливому наблюдателю. Лично я бог знает сколько времени отдал неспешным наблюдениям за сложнейшими, многообразнейшими проявлениями жизненных форм, облагораживающих нашу планету. Формы эти до того красочны, громкозвучны, причудливы и изысканны, что просто диву даешься.

Про зоопарки я понаслушался почти столько же небылиц, сколько и про веру в Бога. Некоторые несведущие благожелатели полагают, будто на воле животные счастливы, потому что свободны. Такие люди обычно представляют себе большого, статного хищника — льва или гепарда (образ гну или трубкозуба как-то не приходит в голову). Они представляют себе, как дикий красавец зверь рыщет по саванне в поисках, чем бы поживиться… а после чинно переваривает добычу, безропотно принявшую свою участь, или трусит себе помаленьку, чтобы сохранить стать после роскошного пиршества. Они представляют себе, как зверь гордым и нежным взглядом обводит свое потомство, как все его семейство, разлегшись на ветвях деревьев и довольно урча, любуется

заходом солнца. Жизнь дикого зверя, думают они, проста, замечательна и содержательна. Потом его отлавливают злодеи — и сажают в тесную клетку. Прощай, вольное счастье. Отныне зверь помышляет только о свободе — и изо всех сил стремится вырваться на волю. Лишенный свободы, притом надолго, зверь превращается в тень самого себя: дух его сломлен. Вот что думают некоторые благожелатели.

На самом же деле все по-другому.

В природе животными движут принуждение и необходимость, в дикой среде все подчинено незыблемой общественной иерархии; страх там неизбывен, а пищи совсем не густо; приходится денно и нощно охранять свою территорию и страдать от назойливых паразитов. Тогда что толку в такой свободе? И то верно: дикие звери не свободны и на воле — ни в пространстве, ни во времени, ни в отношениях между собой. Теоретически, или, попросту говоря, физически, зверь может податься куда угодно, презрев общественные условности и ограничения, свойственные его виду. Но на деле у животных такое встречается еще реже, чем у представителей нашего племени. Попробуйте-ка сказать какому-нибудь лавочнику: давай, мол, бросай свои дела, семью, друзей,

общество, прихвати деньжат, самую малость, да кое-какую одежонку на смену и ступай куда глаза глядят! Уж коли человеку, самому храброму и разумному из всех животных, претит скитаться по белу свету эдаким чужаком-изгоем, никому ничем не обязанным, то что говорить о зверях с их-то нравом, куда более консервативным, чем у нашего брата человека? Да-да, так оно и есть: все звери — консерваторы, а то и реакционеры. На малейшие перемены в жизни они реагируют крайне болезненно. Они любят, чтобы все было так, как есть, — день за днем, месяц за месяцем. Они терпеть не могут всяких неожиданностей. Взять хотя бы их территориальные взаимоотношения. У каждого зверя, будь то в зоопарке или в природе, есть свое жизненное пространство, и каждый ход их исполнен смысла, как у шахматных фигур. В том, что ящерица, медведь или олень держатся за свое местообитание, случайности или свободы ничуть не больше, чем в позиции того же слона на шахматной доске. В обоих случаях есть порядок и цель. В природе звери из сезона в сезон передвигаются по одним и тем же тропам, влекомые одними и теми же настоятельными причинами. В зоопарке же, если зверь не лежит в определенное время в привычном месте, значит,

здесь что-то не так. Это может означать, что в окружающей обстановке кое-что изменилось, пусть и незаметно. Забудет уборщик шланг — тот валяется, свернувшись клубком, и как будто угрожает. Или вдруг образовалась лужа — и она тревожит зверя. А тут еще лестница отбрасывает тень. Но это может означать и нечто большее. В худшем случае — то, чего директор зоопарка боится больше всего: *симптом,* предвещающий недоброе, — повод осмотреть помет, расспросить смотрителя, пригласить ветеринара… И все потому, что аист стоит не там, где обычно!

Но давайте пока рассмотрим только одну сторону вопроса.

Если вы нагрянете в чужой дом, вышибете ногой дверь, выдворите жильцов на улицу и скажете: «Проваливайте! Вы свободны! Свободны как птицы! Прочь отсюда! Прочь!» — думаете, они тут же пустятся в пляс и запоют от радости? Ничего подобного. Птицы не свободны. Жильцы, которых вы только что выставили на улицу, непременно возмутятся: «По какому праву ты нас гонишь? Это наш дом. Наш собственный. Мы живем здесь не один год. Сейчас вызовем полицию, негодяй ты этакий!»

Кто не знает пословицу: «В гостях хорошо, а

дома лучше»? То же самое определенно ощущают и звери. Они — существа территориальные. И в этом вся суть их психологии. Лишь на своей территории они могут следовать двум насущным требованиям природы: таиться от врагов и добывать пищу и воду. Любой пригодный для жизни уголок зоопарка, хоть и огражденный: клетка, яма, окруженный рвом островок, загон, террариум, вольер или аквариум, — та же территория обитания, только она много меньше природной и находится рядом с жизненным пространством человека. Ну а то, что территория эта действительно крохотная по сравнению с природной средой, вполне очевидно. Природные местообитания огромны отнюдь не по причине вкусовых пристрастий тех или иных животных: такова жизненная необходимость. В зоопарке мы устраиваем животных так же, как сами устраиваемся у себя дома, — стараемся разместить на крохотном пятачке то, что в природе рассредоточено на обширном пространстве. Если в допотопные времена пещера наша была здесь, река — там, на охоту приходилось идти к черту на рога и в том же месте разбивать стоянку, а за ягодами надо было забираться еще дальше, притом что кругом простирались непролазные дебри, поросшие

ядовитым плющом и кишевшие львами, змеями, муравьями да пиявками, то теперь «река» течет у вас из крана — только руку протяни, вымыться можно, не отходя от постели, а поесть — там же, где и стряпали; такое жилье легко содержать в чистоте и тепле, да и огородить его — раз плюнуть. Дом — компактная территория, где главные свои потребности мы удовлетворяем в одном месте и в безопасности. Добротное, удобное обиталище в зоопарке — тот же самый дом, только звериный (правда, без камина и прочих удобств, что имеются в каждом человеческом жилище). Обнаружив там все необходимое — наблюдательную площадку, закуток для отдыха, место для кормежки и питья, водоем, уголок для чистки и все такое, сообразив, что больше нет надобности охотиться, что корм берется сам по себе, притом шесть раз в неделю, зверь начинает обживать новое жизненное пространство в зоопарке точно так же, как в природе: обнюхивает его и помечает, к примеру, мочой, сообразно с повадками своего вида. Обосновавшись на новом месте, зверь ощущает себя уже не затравленным приживалой и, уж во всяком случае, не затворником, а полновластным хозяином: в замкнутом пространстве он ведет себя так же, как на воле, всегда готовый защищать

свою территорию от незваных гостей и когтями, и клыками. Субъективно огороженное место не хуже и не лучше, чем его местообитание в природе: ежели территория за оградой или на воле ему подходит, значит, так *тому и быть*, — это такая же простая данность, как пятна на шкуре леопарда. Кто-то мог бы даже поспорить, что зверь, будь он разумен, выбрал бы жизнь в зоопарке, поскольку главное, чем зоопарк отличается от дикой природы, так это сытостью и отсутствием паразитов и врагов в первом случае и вечным голодом да обилием тех же паразитов и врагов — во втором. Сами посудите, что лучше: жить на дармовщину в отеле «Риц», да еще с бесплатным медицинским обслуживанием, или заделаться бродягой, на которого всем наплевать? Впрочем, звери не умеют сравнивать. Будучи по природе существами ограниченными, они принимают все как есть.

В хорошем зоопарке все продумано до тонкостей: так, если зверь предупреждает нас: «Держись подальше!» — пуская в ход мочу и прочие выделения, мы отвечаем: «Сиди где сидишь!» — и для верности отгораживаемся от него решеткой. При таком мирном дипломатическом раскладе и зверь не в обиде, и нам спокойнее, и мы можем

без опаски глядеть друг на друга.

В литературе описано немало историй про зверей, которые хоть и могли сбежать на волю, но не сбегали, а если и сбегали, то непременно возвращались обратно. Вот, к примеру, история про шимпанзе: как-то раз не заперли дверь его клетки, и та открылась сама собой. Шимпанзе переполошился не на шутку: как завопит и давай лязгать дверью туда-сюда, силясь, как видно, закрыть, и так до тех пор, пока кто-то из посетителей не кликнул смотрителя — тот мигом прибежал и исправил оплошность. А в одном европейском зоопарке косули всем стадом выбрались из зоопарка через ворота, которые тоже забыли закрыть. Испугавшись посетителей, косули бросились в соседний лес, где обитали их дикие сородичи и где с лихвой хватило бы места и для них. Однако беглянки скоро вернулись обратно — в свой загон. В другом зоопарке плотник принялся ранним утром перетаскивать доски к рабочему месту, и тут, к его ужасу, из предрассветной дымки — медведь, и прямо на него. Плотник бросил доски и дал деру. Смотрители кинулись искать косолапого беглеца… И нашли в его собственной берлоге: он забрался туда так же преспокойно, как и выбрался, — по стволу

рухнувшего дерева. Все решили, что его просто спугнул грохот падавших досок.

Впрочем, я ничего не собираюсь доказывать. И не хочу защищать зоопарки. Хоть все их позакрывайте, ради бога (и будем надеяться, последние из могикан животного мира уж как-нибудь да выживут на оставшихся жалких островках дикой природы). Я знаю, зоопарки нынче не в чести. Как и религия. И то и другое внушает людям лишь иллюзию свободы.

Пондишерийского зоопарка больше нет. Звериные ямы засыпали землей, клетки сломали. А если где и остались его следы, то лишь в одном месте — в моей памяти.

5

На моем имени история моего имени не заканчивается. Если тебя зовут Боб, никто и не спросит: «Как это пишется?» Не то что Писин Молитор Патель.

Кто-то думал, что я из сикхов и зовут меня П. Сингх, и удивлялся, почему я не хожу в тюрбане.

Однажды, когда я был уже студентом, мы с друзьями отправились в Монреаль. И как-то вечером мне приспичило заказать пиццу. Я с ужасом подумал: ну вот, сейчас еще один француз будет надо мной подтрунивать, и, когда по телефону спросили, как меня зовут, я сказал: «Я есмь Сущий». Не прошло и получаса, как принесли две пиццы — на имя Яна Хулигана.

Что верно, то верно, мы меняемся под влиянием людей, которых встречаем, и порой настолько, что сами себя не узнаем, даже имени своего не помним. Взять, к примеру, Симона, нареченного Петром; Матфея по прозванию Левий; Нафанаила, названного Варфоломеем; Иуду — другого, не Искариота, — взявшего имя Фаддей; Симеона, обращенного в Нигера; Савла, ставшего Павлом.

Своего «римского воина» я встретил однажды

утром на школьном дворе — мне было тогда двенадцать. Я только-только подошел. И едва он меня заметил, в тупой его голове полыхнуло недобрым огнем. Он вскинул руку, показал на меня пальцем и завопил: «А вот и наш *Писун Патель*[3] пожаловал!»

Все чуть животики не надорвали. Перестали гоготать, только когда мы строем вошли в класс. Я шел последним, увенчанный терновым венцом.

Дети бывают жестоки, это ни для кого не секрет. Мне то и дело приходилось слышать, причем без всякого повода, будто невзначай: «Писун идет. Пора делать ноги!» Или: «Чего к стенке-то отвернулся? Писаешь, что ли?» И все в том же духе. Я цепенел — или просто продолжал свое дело, прикинувшись глухим.

Учителя и те стали меня так называть. Было жарко. В разгар дня урок географии, еще утром казавшийся размером с оазис, вдруг разрастался во всю ширь пустыни Тар;[4] урок истории, такой живой утром, превращался в вязкую грязную лужу; а урок математики, сперва такой стройный, оборачивался хаосом. Сморенные послеполу-

---

[3] Примечания: 3
Игра слов — *фр.* piscine (бассейн) и *англ.* pissing (писающий).

[4] Примечания: 4
Тар — пустыня в Индии и Пакистане.

денной усталостью, обтирая лоб и шею носовым платком, даже учителя без злого умысла, без малейшей охоты кого-то рассмешить, словно забывали про живительную прохладу, наполнявшую мое имя, и принимались его коверкать самым постыдным образом. По едва уловимым признакам я, однако, живо угадывал: ну вот, сейчас начнется. Их языки были словно наездники, которым не под силу совладать с ретивым скакуном. Правда, с первым слогом — долгим *Пи* — они еще с грехом пополам справлялись, но жара была нестерпимой, и второй слог — *син* — одолеть уже не могли. Вместо того они с ходу проваливались в бездну хлесткого *сун* — и все. Я тянул руку вверх, вызываясь ответить, и тут же слышал: «Да, Писун». Чаще всего учитель даже не отдавал себе отчета в том, как меня назвал. Он устало смотрел на меня и недоумевал, почему я молчу как рыба. А иной раз и весь класс, вконец одурев от жары, сидел точно в ступоре.

На последнем году учебы в школе Сент-Джозеф я чувствовал себя как гонимый пророк Мухаммед в Мекке, мир ему. Он задумал бежать в Медину — совершить хиджру, положившую начало мусульманской эре; так вот и я решил сбежать, чтобы и в моей жизни настали новые времена.

Из Сент-Джозефа я перевелся в Пти-Семинер, лучшую в Пондишери частную среднюю английскую школу. Рави тоже там учился, и мне, как всем младшим братьям, пришлось несладко оттого, что я оказался в тени знаменитого братца. Среди своих сверстников по Пти-Семинеру он слыл чемпионом: лучшего подавалы и отбивалы было не сыскать, вот он и стал капитаном первой в городе крикетной команды, эдаким Капилом Девом местного масштаба. И хотя я плавал как рыба, всем на меня было наплевать — так уж устроен человек: приморцы всегда косятся на пловцов, как горцы — на альпинистов. Но я не собирался отсиживаться за чужой спиной и был согласен на любое другое имя, только не «Писун», хоть бы и на «Рави Младшего». Впрочем, у меня был план и получше.

Я приступил к его выполнению в первый же день, как пришел в школу, на самом первом уроке. Со мной учились и другие питомцы Сент-Джозефа. Урок начался с того же, с чего начинаются первые уроки во всех школах, — с переклички. Мы представлялись в том порядке, в каком сидели за партами.

— Ганапатхи Кумар, — сказал Ганапатхи Кумар.

— Випин Натх, — сказал Випин Натх.

— Шамшул Худха, — сказал Шамшул Худха.

— Питер Дхармарадж, — сказал Питер Дхармарадж.

Учитель коротко, с серьезным видом кивал и ставил галочку против каждого имени в журнале. Я сидел как на иголках.

— Аджитх Джиадсон, — сказал Аджитх Джиадсон, за четыре парты от меня…

— Сампатх Сароджа, — сказал Сампатх Сароджа, за три…

— Стэнли Кумар, — сказал Стэнли Кумар, за две…

— Сильвестр Навин, — сказал Сильвестр Навин, прямо передо мной.

И вот моя очередь. Пора сокрушить сатану. Медина, я иду.

Я выскочил из-за парты и устремился к доске. Учитель не успел и рта раскрыть, как я схватил кусок мела и начал писать, приговаривая:

Меня зовут
Писин Молитор Патель,
известный всем как —

я дважды подчеркнул первые две буквы имени —

Пи Патель,

а ниже, для наглядности, дописал:

π = 3,14,

потом начертал большой круг и провел диаметр, как на уроке геометрии.

В классе повисла тишина. Учитель смотрел на доску. Я стоял, затаив дыхание. Наконец учитель сказал:

— Отлично, Пи. Садись. В другой раз, если захочешь отвечать, не забудь спросить разрешения.

— Понятно, сэр.

Он поставил галочку против моего имени. И обратился к следующему мальчугану.

— Мансур Ахамад, — сказал Мансур Ахамад.

Я спасен.

— Гаутам Сильварадж, — сказал Гаутам Сильварадж.

Я перевел дух.

— Арун Аннаджи, — сказал Арун Аннаджи.

Новые времена настали!

Тот же самый фокус я проделывал перед каждым учителем. Повторение — мать учения, не только применительно к животным, но и к лю-

дям. Протиснувшись между двумя мальчишками с обычными именами, я стремился вперед и расписывал доску, порой с жутким скрипом, знаками моего возрождения. После того как я проделал этот фокус несколько раз подряд, мальчишки стали нараспев повторять за мной, и, покуда я собирался с духом, чтобы взять верную ноту, крещендо достигало кульминационного пункта и мое новое имя уже звучало торжественно и громко, на радость любому хормейстеру. С каждым разом я писал все быстрее, и некоторые мальчишки тут же шепотом подхватывали: «Тройка! Точка! Единица! Четверка!» — ну а в финале концерта я так мощно расчерчивал круг пополам, что крошки мела градом отскакивали от доски.

И когда теперь я тянул руку в день, казавшийся мне счастливым, учителя вызывали меня одним кратким звуком, и тот звучал в моих ушах дивной музыкой. Ее подхватила вся школа. Даже те дьяволята из Сент-Джозефа. Так что фокус с именем сработал на славу. Что ни говори, мы — народ-созидатель: через пару-тройку дней мальчишка по имени Омпракаш стал называть себя Омегой, а другой — Ипсилоном, потом пошли Гамма, Лямбда и Дельта, правда, продержались

недолго. Так что в Пти-Семинере я был первым греком-долгожителем. Даже мой братец, капитан крикетной команды, светоч наш неугасимый, и тот радовался от души. Через неделю он отозвал меня в сторонку.

— Слыхал, тебе новую кличку дали? — сказал он.

Я словно воды в рот набрал. Потому что знал — сейчас засмеет. Как пить дать, засмеет.

— Не думал, что желтый цвет — твой любимый.

Желтый? Я огляделся. Хоть бы никто не услышал, только бы не его подпевалы.

— О чем это ты, Рави? — пролепетал я.

— Не дрейфь, братишка. Все лучше, чем «Писун». Можно сказать — «Лимонный Пирожок».

На прощание он улыбнулся и бросил:

— Чего раскраснелся-то?

Повернулся — и ушел.

Так обрел я убежище в этой греческой букве, похожей на хибару с просевшей крышей, — в этом заветном иррациональном числе, с помощью которого ученые пытаются познать Вселенную.

6

Он искусный кулинар. Дома у него, где камин жарит вовсю, всегда пахнет так, что слюнки текут. Кухня, забитая всякими пряностями, больше смахивает на аптекарскую лавку. Когда он открывает холодильник или шкаф, у меня перед глазами мелькают этикетки, каких я раньше и не видывал; честно сказать, я даже не пойму, на каком они языке. Мы в Индии. Но стряпать по-западному у него выходит не хуже. Он потчует меня вкуснейшими острыми макаронами с сыром, каких я в жизни не пробовал. А его вегетарианским тако позавидовал бы любой мексиканец.

А вот еще кое-что: кухонные шкафы так и ломятся. За каждой дверцей, на каждой полке — аккуратные горки консервных банок и коробок. С эдаким запасом и ленинградская блокада была бы не страшна.

7

Мне повезло: в юности у меня было несколько достойных учителей, мужчин и женщин, — они проникли в мой разум и чиркнули спичкой. Одним из них был Сатиш Кумар, учитель биологии в Пти-Семинере и рьяный коммунист, не терявший надежды, что Тамилнад перестанет избирать во власть кинозвезд и последует примеру Кералы.[5] Наружность у него была довольно странная. Макушка — лысая и заостренная, а таких пухлых щек с подбородком я отродясь не видывал; узкие плечи перерастали в огромный живот, походивший на подошву горы, словно повисшей в воздухе: она вдруг круто обрывалась и погружалась горизонтально в брюки. Просто загадка, как такие палкообразные ноги могли выдержать эдакую махину, а они выдерживали, да еще как, хотя порой двигались невообразимым манером, так, будто колени у него легко сгибались в любую сторону. Телосложением он больше походил на геометрическую фигуру — спаренный треугольник, один маленький, другой большой,

[5] Примечания: 5
Керала — штат на юге Индии.

венчающий две параллельные прямые. Ко всему прочему, был он дрябл, весь в бородавках, а из ушей торчали пучки черных волос. А еще он был дружелюбен. Улыбка его расплывалась во всю ширь основания треугольной головы.

Мистер Кумар был первым откровенным атеистом, которого я встретил. И понял я это не в классе, а в зоопарке. Он частенько к нам захаживал, читал все бирки и справочные таблички и восхищался всеми животными без разбору. Каждый зверь был для него живым воплощением логики и механики, а природа в целом служила изящным олицетворением науки. Ему, видно, чудилось, будто зверь, готовый к спариванию, говорит: «Грегор Мендель», поминая отца генетики, а когда зверь временами проявлял свой норов, то непременно в память о Чарльзе Дарвине, отце естественного отбора. Ну а то, что мы считаем мычанием, хрюканьем, шипением, сопением, ревом, воем, рычанием, чириканьем и гомоном, — всего-навсего чудной иноземный акцент. Мистер Кумар всякий раз приходил в зоопарк словно затем, чтобы прощупать пульс Вселенной, и его чуткий слух неизменно подтверждал — все в порядке и порядок во *всем.* Из зоопарка он уходил с радостью, словно совершил

новое открытие.

Когда я в первый раз увидел, как этот человек-треугольник переваливается по зоопарку, то даже постеснялся подойти. Как ни любил я своего учителя, он олицетворял собой власть, а я был его подчиненным. И робел. Я стал наблюдать за ним издали. Он подошел к яме с носорогами. Пара индийских носорогов была главной достопримечательностью зоопарка — из-за коз. Носороги живут в сообществе себе подобных, и когда к нам доставили дикого молодого самца Пика, поначалу он не находил себе места от одиночества, почти ничего не ел. И вот на то время, пока ему искали подружку, отец решил посмотреть, не уживется ли тот с козами. Если получится, ценное животное будет спасено. А нет — зоопарк потеряет всего лишь несколько коз. Все получилось, и еще как. Пик до того сдружился с козами, что не захотел с ними разлучаться, даже когда привезли Вершину. И теперь, когда носороги купались, козы обступали грязный водоем со всех сторон, а когда козы кормились у себя в закутке, Пик с Вершиной топтались поблизости, точно верные стражи. Поглядеть на столь забавное семейство собирались толпы посетителей.

Мистер Кумар поднял голову и заметил меня.

Улыбнулся и, опершись одной рукой на ограду, другой махнул мне, чтобы я подошел.

— Здравствуй, Пи, — сказал он.

— Здравствуйте, сэр. Хорошо, что заглянули в зоопарк.

— А я частенько заглядываю. Это, так сказать, мой храм. Интересная штука… — Он указал на яму. — Если бы наши политики вели себя как эти козы с носорогами, нам жилось бы легче. К сожалению, от носорога у нашего премьер-министра — только твердолобость, а мозгов — кот наплакал.

В политике я мало что смыслил. Отец с матушкой вечно костерили госпожу Ганди, но для меня все это было пустым звуком. Она жила далеко на севере, не в зоопарке и не в Пондишери. Но надо было сказать хоть слово — так мне показалось.

— Наше спасение в религии, — выдал я. Сколько себя помню, религия была мне по сердцу.

— В религии? — широко улыбнулся мистер Кумар. — Не верю я в религию. Религия — мрак.

Мрак? Я растерялся. А мне казалось, что мрак и религия несовместимы. Религия — свет. Может, он берет меня на пушку? Может, говорит, что «религия — мрак», так же как иной раз объявляет на весь класс, будто «млекопитающие откладывают

яйца», и таким способом проверяет, углядит ли кто-нибудь подвох? («Только утконосы, сэр».)

— Объяснять действительность без науки невозможно, да и бессмысленно, и нет смысла верить во что-то, если не полагаешься на свои собственные ощущения. С пытливым умом, острым глазом и небольшим багажом научных знаний религию можно разбить в пух и прах, со всей ее суеверной белибердой. Бога-то нет.

Точно ли он это говорил? Или, может, я путаю его слова с заявлениями других атеистов, тех, что были потом? Во всяком случае, нечто подобное он определенно говорил. И ничего похожего я раньше не слыхал.

— Зачем же смиренно жить во мраке? Жизнь — штука ясная и понятная, только присмотрись.

Он указывал на Пика. Я всегда восхищался Пиком, но мне и в голову не могло прийти сравнивать носорога с лампочкой.

А он знай твердил свое:

— Говорят, Бог умер в тысяча девятьсот сорок седьмом, во время раскола страны. Но ведь он мог умереть и в тысяча девятьсот семьдесят первом, во время войны.[6] Или вчера, здесь, в

---

[6] Примечания: 6
Имеется в виду 3-я индо-пакистанская война.

Пондишери, в каком-нибудь приюте для сирот. Вот что говорят, Пи. Когда мне было столько же лет, сколько тебе, я не вставал с постели — болел полиомиелитом. И каждый день спрашивал себя: «Где же Бог? Где? Ну где же?» А Он так и не пришел. Не Бог спас меня, а медицина. Мой пророк — разум, и он говорит, что умираем мы так же, как часы, когда они останавливаются. Раз — и все. Забарахлили часы — сам их и починяй. Если когда-нибудь у нас в руках окажутся средства производства, все будет по справедливости.

По мне, это было слишком. Говорил он правильно — дружелюбно и решительно, только вот слова его не утешали. И я промолчал. Но не оттого, что боялся рассердить мистера Кумара, а потому, что опасался: стоит сказать одно-два неверных слова — и он разрушит во мне самое дорогое. Что, если от его слов и я заражусь полиомиелитом? И что это за болезнь, если она может убить в человеке Бога?

Он пошел себе дальше — вразвалку, как моряк по палубе во время качки, хотя под ногами была твердая земля.

— Во вторник контрольная, не забудь. Поднатужься, Три-Четырнадцать-Сотых!

— Ладно, мистер Кумар.

Он стал самым любимым моим учителем в Пти-Семинере, потому-то я и пошел учиться на зоолога в Торонтский университет. Но я чувствовал — меня с ним роднит еще что-то. И скоро догадался: атеисты мне братья и сестры, просто они другой веры, и верой этой пронизано каждое их слово. Они, как и я, идут вперед — до тех пор, пока их влечет разум; когда же наконец перед ними разверзается пропасть — точно так же совершают прыжок без оглядки.

Скажу честно. Не атеисты противны мне, а агностики. Сомнения — штука полезная, помогают, хоть и не всегда. Нам всем бы пройти через Гефсиманский сад. Раз уж Христос сомневался, нам пристало и подавно. Раз уж Христос провел последнюю ночь в тревогах и молитве, раз вопиял с креста: «Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» — то и мы вправе сомневаться. Но идти вперед необходимо. А исповедовать сомнения как философию жизни — все равно что мечтать о движении, стоя на месте.

8

Мы, зоологи, обычно говорим: самый опасный зверь в зоопарке — человек. В общем это значит, что наш вид, превратившись в ненасытного хищника, глядит на мир как на добычу. А в частности мы подразумеваем людей, которые пичкают выдр рыболовными крючками, медведей — бритвенными лезвиями, слонов — яблоками, утыканными гвоздями, не говоря уже о всякой другой дряни — шариковых ручках, скрепках, булавках, резинках, расческах, ложках, подковах, стекляшках, кольцах, брошках и прочих украшениях (и не каких-то там безделушках, а иной раз самых настоящих золотых кольцах), пластмассовых соломинках и посуде, шариках для пинг-понга, теннисных мячах и бог весть о чем еще. В траурных списках зверей, погибших в зоопарках от проглоченных инородных тел, значатся гориллы, бизоны, аисты, нанду, страусы, тюлени, сивучи, крупные кошки, медведи, верблюды, слоны, обезьяны, самые разнообразные олени, грызуны и певчие птицы. Владельцы и смотрители зоопарков, наверное, помнят нашумевшую историю про гибель Голиафа: это

был здоровенный, весом под две тонны морской слон, под стать быку, звезда одного европейского зоопарка, любимец публики. А погиб он от внутреннего кровоизлияния, после того как кто-то скормил ему битую пивную бутылку.

Жестокость нередко проявляется и самым непосредственным образом. В литературе описано немало случаев издевательств над животными в зоопарках: один китоглав погиб от шока, после того как ему молотком раздробили клюв; какой-то умник отрезал ножом бороду у лося и вдобавок — шмат мяса с палец толщиной (а через полгода того же лося отравили); обезьяне сломали руку, когда она потянулась за приманкой — орехами; оленю отпилили ножовкой рога; зебру закололи мечом; да и вообще, с чем только на животных не нападали: с тростями, зонтами, шпильками, спицами, ножницами и разными другими штуковинами, и зачастую — чтобы выколоть глаз или поранить гениталии. Потом, животных травят ядом. Бывает и того хлеще: всякие там извращенцы дразнят обезьян, пони, птиц; какой-то религиозный фанатик отрезал голову змее; другой псих пытался помочиться лосю в рот.

Нам тут, в Пондишери, еще повезло. Мы не страдали от садистов, досаждавших европейским

и американским зоопаркам. И все-таки однажды у нас пропал бразильский агути — отец подозревал, что его украли и съели. У птиц — фазанов, павлинов, ара — выдергивали перья любители диковинных сувениров. Как-то раз мы поймали чокнутого, который крался с ножом к загону с азиатским оленьком, — безумец оправдывался, что решил-де проучить злого Равану (в «Рамаяне» тот похитил Ситу, жену Рамы, обернувшись оленем). Еще одного кретина схватили за руку, когда он собирался украсть кобру. Спасли обоих: кобру — от рабской доли и ужасной музыки, а вора — от верного смертельного укуса. Случалось нам разбираться и с камнеметчиками — они считали, что звери слишком разленились, и хотели их расшевелить. А однажды был случай с женщиной, которую лев сцапал за сари. Она закружилась, как юла, предпочтя смертельный стыд смертельному же исходу. И то был не просто несчастный случай. Женщина подошла к клетке, просунула руку и взмахнула краешком сари прямо перед львиной мордой, правда зачем — для нас так и осталось загадкой. Она не пострадала: очарованные мужчины толпой кинулись ей на выручку. Отцу же она взволнованно сказала: «Неслыханное дело — чтобы лев пожирал сари из хлопка!

А я-то думала, они едят только мясо». Но больше всего нам докучали любители подкармливать животных. Хоть мы и глядели в оба, доктор Атал, наш ветеринар, мог определить по числу зверей, страдавших расстройствами желудка, какие дни были для зоопарка самыми горячими. Энтериты с гастритами, возникавшими от переедания углеводов, главным образом сахара, он называл «закусонитами». Жаль, что люди так падки на сладкое. И уверены, что зверям на пользу все, что ни дай. Как бы не так. У одного нашего губача случился тяжелейший геморрагический энтерит после того, как кто-то угостил его тухлой рыбой, думая, что делает добро.

На стене сразу же за билетной кассой отец вывел огненной краской надпись: ИЗВЕСТНО ЛИ ВАМ, КАКОЙ ЗВЕРЬ В ЗООПАРКЕ САМЫЙ ОПАСНЫЙ? Стрелка указывала на занавесочку. К занавесочке всегда тянулось столько загребущих рук, что ее приходилось то и дело менять. А за нею висело зеркало.

Но из личного опыта я узнал, что куда более опасным, не чета нам, отец считает другого зверя, самого что ни на есть обычного, — встречается он на всех континентах и живет везде и всюду: это грозный вид Animalus anthropomorphicus,

то есть зверь в человеческом представлении. Мы все хоть раз да видели его, а то и держали у себя дома. Зверь этот самый «смышленый», самый «ласковый», самый «дружелюбный», самый «верный», самый «чуткий». Такие звери таятся в засаде во всех магазинах игрушек и детских зверинцах. Что только про них не рассказывают! Они — извечные антиподы тех «вредных», «кровожадных», «наглых» животных, что так притягивают маньяков, о которых я уже говорил и которые, вооружившись кто тростью, кто зонтом, обрушивают на них всю свою ярость. В обоих случаях мы глядим на зверя и будто глядимся в зеркало. Навязчивая убежденность в том, что человек — пуп земли, беда не только богословов, но и зоологов.

Ну а тот урок, что зверь есть зверь, по сущности и в жизни далекий от нас, я усвоил дважды: сперва — с отцом, а потом — с Ричардом Паркером.

Дело было однажды воскресным утром. Я тихо играл сам с собой. И тут послышался оклик отца:

— Ребятки, идите-ка сюда.

Что-то случилось. Голос его отозвался у меня в голове тревожным сигналом. Я стал лихорадочно вспоминать, уж не натворил ли чего. Может, Рави что-то отчебучил? Я думал и гадал: что же

на этот раз? Вошел в гостиную. Там была мама. Воспитанием детей, как и уходом за животными, у нас обычно занимался отец. Потом пришел Рави — с печатью вины на шкодливом лице.

— Рави! Писин! Сегодня я преподам вам урок, очень серьезный.

— Разве это так важно? — прервала его матушка. И покраснела.

Я сглотнул слюну. Раз уж матушка, всегда такая сдержанная, такая спокойная, встревожилась, даже расстроилась, значит, дело и правда *дрянь*. Мы с Рави переглянулись.

— Вот именно, — раздраженно бросил отец. — Может, когда-нибудь это спасет им жизнь.

Спасет жизнь! В голове у меня уже тренькал не крохотный колокольчик, а гудел набатный колокол вроде тех, что слышны с колокольни церкви Пресвятого Сердца, по соседству с нами.

— Да при чем тут Писин? Ему же только восемь! — не унималась матушка.

— Он-то больше всего меня и тревожит.

— Я ничего такого не сделал! — вырвалось у меня. — Наверное, Рави что-нибудь натворил! Он может.

— Чего? — возмутился Рави. — Ничего я не натворил. — И зло глянул на меня.

— Тише! — сказал отец, подняв руку. И посмотрел на матушку. — Гита, ты же сама видела, как Писин… В его годы мальчишки где только не шатаются, куда только не суют нос.

Я? Где только не шатаюсь? Куда только не сую нос? Да нет же, нет! Спаси меня, мамочка, спаси, кричала моя душа. Но матушка только вздыхала и кивала, будто в знак согласия: чему быть, того не миновать, каким бы страшным оно ни было.

— Пойдемте-ка, — позвал отец.

И мы пошли — как на заклание.

Вышли из дома, прошли через ворота, вошли в зоопарк. Было еще рано, и зоопарк для посетителей пока не открыли. Смотрители и уборщики занимались своими делами. Я заметил Ситарама, моего любимого смотрителя, приставленного к орангутанам. Оторвавшись от своих занятий, он проводил нас взглядом. Мы прошли мимо птиц, медведей, больших и маленьких обезьян, копытных, мимо террариума, носорогов, слонов, жирафов.

Подошли к большим кошкам — тиграм, львам и леопардам. Бабу, смотревший за ними, уже ждал. Мы прошли по дорожке чуть дальше, и он открыл дверь в кошачий вольер, помещавшийся на островке, окруженном рвом. Мы вошли. Это была

большая мрачная бетонная пещера, круглая, теплая и сырая, насквозь пропахшая кошачьей мочой. Там всюду стояли огромные клетки, отгороженные толстыми зелеными железными решетками. Сквозь застекленные крыши внутрь проникал желтоватый свет. А через решетчатые двери виднелся залитый солнцем зеленый островок. Клетки были закрыты — кроме одной: там держали только Махишу, нашего бенгальского тигра-ветерана, громадного, неуклюжего зверя весом 550 фунтов. Но не успели мы войти, как тот метнулся к решетке, прижал уши, уставился своими круглыми глазищами на Бабу и зарычал. Да так, что содрогнулся весь кошачий вольер. А у меня затряслись поджилки. Я прильнул к матушке. Она тоже вся дрожала. Отец и тот, кажется, дрогнул, хотя виду не подал. Только Бабу не испугался ни рыка, ни жесткого взгляда, которым зверь буравил его, точно сверлом. Он рассчитывал на прочность железных прутьев. Махиша заметался по клетке — взад-вперед.

Отец повернулся к нам.

— Что это за зверь? — крикнул он, заглушив рык Махиши.

— Тигр, — в один голос ответили мы с Рави, безропотно согласившись с очевидным.

— Тигры опасны?

— Да, папа, опасны.

— Тигры *очень* опасны, — выкрикнул отец. — Хочу, чтоб вы знали: никогда, *ни в коем случае* не трогайте тигра, не играйте с ним, не суйте руки в клетку, даже близко к ней не подходите. Понятно? Рави?

Рави живо кивнул.

— Писин?

Я кивнул еще живее.

Отец не сводил с меня глаз.

Я кивнул, да так сильно, что у меня чуть не оторвалась голова и не упала на пол.

Должен сказать в свое оправдание, что, хотя порой я и впрямь рядил зверей в людей и они даже бойко болтали у меня по-английски: фазаны с чопорным британским акцентом жаловались, что им-де подали холодный чай, а павианы, замыслив ограбить банк, грозно рявкали, точно заправские американские гангстеры, — это были фантазии, и только. В мыслях я совершенно спокойно обряжал диких зверей в домашние халаты, но при этом всегда помнил, какова она, истинная натура моих партнеров по играм. Уж на это у меня ума хватало. Просто в толк не возьму, с чего это вдруг отцу взбрело в голову, что его

младший сынуля спит и видит, как бы поскорее забраться в клетку к какому-нибудь хищнику. Но откуда бы ни взялась эта странная тревога — а отец тревожился по *всякому* поводу, — в то утро он определенно решил покончить со своими страхами раз и навсегда.

— Сейчас я вам покажу, как опасны тигры, — твердил он свое. — И запомните этот урок на всю жизнь.

Он обернулся к Бабу и кивнул. Бабу куда-то ушел. Махиша проводил его взглядом и не сводил глаз с двери, за которой тот скрылся. Бабу тотчас вернулся, он нес козла со спутанными ногами. Матушка, сзади, обхватила меня руками. Махиша перестал рычать — и гулко, протяжно заревел.

Бабу снял замок, открыл дверь в клетку, примыкавшую к той, где сидел тигр, вошел внутрь и запер дверь за собой. Теперь их обоих разделяли лишь прутья решетки и опускная дверь. Махиша тут же кинулся на прутья и начал скрести по ним когтями. Он уже не просто ревел, а временами нетерпеливо сдавленно *фыркал*. Бабу бросил козла на пол; бока у того ходили ходуном, язык вывалился, а глаза дико вращались. Бабу распутал ему ноги. Козел мигом вскочил. Бабу вышел из клетки так же осторожно, как и вошел. Клетка

была двухъярусная: один ярус располагался на нашем уровне, а другой — в глубине, фута на три выше и чуть поодаль от островка. Козел тут же перескочил на верхний ярус. Махиша отвлекся от Бабу и мягким, плавным прыжком повторил маневр козла у себя в клетке. Улегся на пол и замер, медленно водя хвостом и только этим выдавая свое нетерпение.

Бабу подошел к опускной двери между клетками и потянул ее вверх. В предвкушении удовольствия Махиша затих. Я расслышал только, как отец, обведя нас строгим взглядом, повторил: «Навсегда запомните этот урок» — и как заблеял козел. Он, наверное, блеял и раньше, просто мы не слышали.

Я почувствовал, как матушка прижала руку к моему заколотившемуся сердцу.

Опускная дверь не поддавалась — только громко скрежетала. Махиша был вне себя: казалось, он того и гляди прорвется сквозь прутья. Тигр, похоже, колебался: то ли остаться на месте, там, где добыча близка, но ее все равно не достать, или переметнуться на нижний ярус, откуда далеко до козла, зато ближе к опускной двери. Тигр вскочил и снова зарычал.

Козел принялся скакать. Он подскакивал на

невероятную высоту. Никогда не думал, что козлы способны на такое. Но позади клетки высилась гладкая бетонная стена.

Поддавшись с неожиданной легкостью, опускная дверь взлетела вверх. Опять стало тихо — слышалось только, как блеет козел, цокая копытами по полу.

Из клетки в клетку метнулась огненно-черная молния.

Один день в неделю больших кошек обычно оставляют без кормежки, чтобы они хоть так могли ощутить себя на воле. Лишь потом мы узнали, что отец велел морить Махишу голодом три дня кряду.

Не помню, видел ли я кровь, перед тем как отвернулся и рухнул матушке на руки, или я размазал ее жирными пятнами уже после, в моем воображении. Но я точно все слышал. И этого хватило с лихвой, чтобы у меня, прирожденного вегетарианца, потемнело в глазах. Матушка увела нас прочь. Мы были в истерике. Да и матушка была вне себя:

— Как ты мог, Сантуш? Ведь они дети! Ты испугал их на всю жизнь!

Ее укоризненный голос дрожал. На глазах у нее я заметил слезы. И мне полегчало.

— Гита, голубка, это же ради них. Что, если Писин как-нибудь возьмет да сунет руку в клетку — погладить дивную рыжую шерстку? Пусть уж козел вместо него.

Отец говорил мягко и тихо, почти шепотом. Как будто раскаиваясь. Ни разу не слыхал, чтобы он при нас называл маму голубкой.

Мы стояли и жались к матушке. Отец тоже обнял ее. Однако урок на этом не закончился, хотя и не был уже таким жестоким.

Отец повел нас ко львам и леопардам.

— Был в Австралии один сумасшедший с черным поясом по карате. Так он вздумал потягаться силой со львами. И поплатился. Вот дурак! Наутро смотрители нашли от него только рожки да ножки.

— Да, папа.

Гималайские медведи и губачи.

— Одним ударом когтей эти миленькие мишки выпотрошат вас и разбросают внутренности по земле.

— Да, папа.

Гиппопотамы.

— Своей рыхлой, дряблой пастью они перемелют вас в кровавое месиво. А на суше обгонят в два счета.

— Да, папа.

Гиены.

— Самые крепкие челюсти в природе. Не думайте, что гиены трусливы и пожирают только падаль. Чушь! Они и живьем вас слопают за милую душу.

— Да, папа.

Орангутаны.

— Один такой зверь запросто завалит десяток здоровяков. И переломает кости, как спички. Некоторых из них я помню еще малышами, помню, как вы с ними возились. Теперь они повзрослели, набрались сил, и поди угадай, что у них на уме.

— Да, папа.

Страус.

— С виду непоседа и глупыш, да? Так вот, страус — одно из самых опасных животных в зоопарке. Одним ударом клюва запросто перебьет вам хребет вместе с ребрами.

— Да, папа.

Индийский олень.

— Милашка, правда? Если самец вздумает напасть, то вот этими самыми рожками проткнет вас насквозь, как кинжалами.

— Да, папа.

Одногорбый верблюд.

— Одним слюнявым укусом запросто отхватит у вас полбока.

— Да, папа.

Черные лебеди.

— Своими клювами вмиг раскроят вам череп. А крыльями переломают руки.

— Да, папа.

Птицы-малютки.

— Своими клювиками в мгновение ока перекусят вам пальцы, как батончики масла.

— Да, папа.

Слоны.

— Самые опасные звери. В зоопарках от них гибнет куда больше смотрителей и посетителей, чем от любых других зверей. Молодой слон сперва разорвет вас на куски, а после растопчет. Такое случилось в одном европейском зоопарке с бедолагой, который через дырку в ограде пролез в слоновий вольер. А слон постарше, ничем не прошибаемый, прижмет вас к стене или сядет сверху — и всмятку. Как ни смешно, подумать над этим стоит!

— Да, папа.

— Есть еще звери — мы их обошли. Но не думайте, что они не опасны. Животное, даже крохотное, может за себя постоять. Любой зверь

свиреп и опасен. Может, он и не убьет, зато точно покалечит. Будет царапаться и кусаться, да так, что страшные гнойные раны, заражение крови, лихорадка и десять дней в больнице, считайте, вам обеспечены.

— Да, папа.

Мы подошли к морским свинкам, единственным животным, которых по распоряжению отца посадили на диету вместе с Махишей — оставили вчера без ужина. Отец открыл клетку. Достал из кармана коробочку с кормом и высыпал на пол.

— Видите, это морские свинки?

— Да, папа.

Обессилевшие от голода зверьки судорожно набивали себе щеки зерном.

— Так-так… — Отец наклонился и вытащил одну наружу. — Вот они не опасны. — Другие свинки мигом бросились врассыпную.

Отец рассмеялся. И передал пищащего зверька мне. Отцу хотелось закончить урок на радостной ноте.

Свинка испуганно замерла у меня в руках. Совсем детеныш. Я подошел к клетке и осторожно опустил его на дно. Он тут же кинулся к матери. Единственно, почему наши свинки считались безопасными — они не кусались до крови и не ца-

рапались, — так только потому, что были почти ручные. А так взять морскую свинку голыми руками — все равно что схватиться за лезвие ножа.

Урок закончился. А мы с Рави дулись на отца всю неделю. Матушка тоже держалась с ним холодно. Когда я проходил мимо ямы с носорогами, мне чудилось, будто носороги стоят, печально понурив головы, и переживают, что потеряли во мне верного друга.

Но что поделать, любовь к отцу оказалась сильнее. Жизнь идет своим чередом, и тигров ты как будто уже не замечаешь. Правда, я здорово переживал, что попытался свалить на Рави вину, хотя тот не натворил ничего такого. А он в отместку знай меня стращал, приговаривая: «Ну погоди, вот останемся одни. *Будешь следующим козлом*!»

9

Когда держишь зоопарк — а это искусство и одновременно наука, — важно приучить зверей к тому, что человек всегда рядом. Главное — сократить дистанцию бегства зверя, то есть свести до минимума то расстояние, на которое он решается подпустить видимого врага. В природе фламинго и глазом не моргнет, остановись вы ярдах в трехстах от него. Но стоит вам подойти чуть ближе, как птица бросится наутек и не остановится, покуда не отбежит на заветные триста ярдов, а то и вовсе будет бежать до тех пор, пока не разорвутся сердце и легкие. У разных зверей и дистанция бегства разная, да и определяют они ее по-разному. Кошки — на глаз, олени — на слух, медведи — на нюх. Жирафы подпустят вас ярдов на тридцать, и то если вы в машине, а если подбираетесь пешком — разбегутся, почуяв вас еще за полторы сотни ярдов. Манящие крабы пустятся наутек с десяти ярдов; ревуны замечутся с ветки на ветку, окажись вы ярдах в двадцати; африканские буйволы насторожатся и с семидесяти пяти.

Сократить же дистанцию бегства можно, если вооружиться знаниями о каждом звере и дать

ему приют, пищу и защиту. Сработает — дикий зверь станет кротким и послушным, перестанет бояться и уже не будет помышлять о бегстве. Он будет жив и здоров — на долгие годы; будет тихо кормиться и спокойно воспринимать окружающий мир, в том числе и своих соседей. Но самое, пожалуй, главное — он будет приносить потомство. Не хочу сравнивать наш зоопарк с зоопарками Сан-Диего, Торонто, Берлина или Сингапура: хорошего директора и так видно. Отец мой был директором зоопарка от бога. Недостаток специального образования он восполнял природным чутьем и верным глазом. Он научился читать мысли животных с первого взгляда. И в работе всегда был прилежен, хотя ее все только прибавлялось.

10

И все же среди зверей непременно находятся такие, которые так и норовят удрать из зоопарка. Особенно те, что содержатся в неподходящих клетках или загонах. Каждый зверь привыкает к своему естественному местообитанию, и это надо учитывать. Если клетка слишком светлая, если там сыровато или пустовато, если насест слишком высок или прямо на виду, если земля — один песок, если веток так мало, что не свить гнезда, если кормушка низковата, если маловато грязи, чтобы поваляться, — и великое множество других «если», — то животное никогда не будет чувствовать себя уютно. И вся трудность не столько в том, чтобы искусственно воспроизвести природные условия, сколько в том, чтобы постичь самую *суть* этих условий. В загоне все должно быть на своем месте. Иначе говоря, нельзя переступать предела, за которым животное чувствует себя неуютно. И чтоб им пусто было — плохим зоопаркам с никудышными загонами, вольерами да клетками! Это пятно на добром имени всех остальных зоопарков.

Бывают и другие звери-вольнолюбцы — таких

отлавливают и загоняют в неволю уже взрослыми, однако они успевают заматереть в своих повадках. Норов их уже никак не изменить и к новым условиям не приспособить.

Но и те звери, что родились и выросли в зоопарке и воли даже не нюхали, те, что привыкли к клеткам и совсем не пугаются людей, даже они, случается, нервничают и норовят показать хвост. Животные все не без чудинки — повадки их порой не угадаешь. Хотя, быть может, это их и спасает и помогает приспосабливаться. Иначе не смог бы выжить ни один вид.

По какой бы причине звери ни стремились сбежать — разумной или безумной, хулителям зоопарков следовало бы знать: животные бегут не *куда-то*, а *откуда-то*. Значит, они чего-то испугались на своей территории: не то враг объявился, не то более сильный сородич, а может, тревожный шум послышался. Отсюда и реакция — с места в карьер. Зверь пускается наутек. Я удивился, когда однажды в Торонтском зоопарке — прекрасный зоопарк, должен заметить, — прочел, что леопарды могут подпрыгивать на восемнадцать футов. У нас же, в Пондишери, загон с леопардами окружала стена высотой *шестнадцать* футов. И подозреваю, Рози с Подражалой

не помышляли перемахнуть через нее не потому, что им не хватило бы прыти, а просто им было незачем. Звери-беглецы меняют привычную обстановку на незнакомую, а неизвестности-то зверь и не выносит больше всего. Беглецы обычно затаиваются в первом же попавшемся закутке, который им кажется безопасным, и если и угрожают кому, то лишь тем, кто ненароком окажется у них на пути к новообретенному убежищу.

11

Вспомним историю про пантеру, сбежавшую из Цюрихского зоопарка зимой 1933 года. Хоть она и была новичком, тамошний самец-старожил вроде бы ее принял. Но вот на лапах у нее появились раны — выходит, отношения между супругами разладились. Никто и не спохватился, чтобы их наладить, — самка сама все решила: обнаружив в крыше клетки пролом, она как-то ночью попросту исчезла. Когда прослышали, что по Цюриху разгуливает хищная зверюга, в городе поднялся страшный переполох. Всюду понаставили капканов, по следу беглянки пустили охотничьих собак. Но те лишь избавили округу от редких бездомных псов. Пантеру не могли найти целых *десять недель*. Наконец какой-то работяга случайно наткнулся на нее под сараем, в двадцати пяти милях от города, и застрелил. Неподалеку валялись обглоданные кости косули. Тот факт, что большая тропическая кошка, да еще черная, ухитрилась выжить швейцарской зимой больше двух месяцев, притом что ее никто не заметил и она сама ни на кого не напала, говорит сам за себя: звери, сбежавшие из зоопарка, — не

опасные рецидивисты, а безобидные дикари, ищущие, где бы понадежнее затаиться.

И случай этот далеко не единичный. Если взять Токио, перевернуть вверх дном да еще как следует встряхнуть, вы диву дадитесь, сколько зверья посыпется наружу. А посыпятся не только кошки с собаками, верно говорю. Но и удавы, комодские драконы, крокодилы, пираньи, страусы, волки, рыси, кенгуру, ламантины, дикобразы, орангутаны, кабаны — такой вот «живнотворный» дождь обрушится вам на зонтик. Где еще такое увидишь — ха! В дебрях мексиканских джунглей, полагаете? Ха-ха! Вот смеху-то, просто потеха! И о чем только люди думают?

12

Иногда он начинает горячиться. Но не оттого, что говорю я (я больше помалкиваю). Его берет за живое собственная история. Память — океан, и он плещется в его волнах. Боюсь, как бы он не остановился. Но история из него так и хлещет. И он все говорит и говорит. Сколько лет прошло, а Ричард Паркер никак не выходит у него из головы.

Он — сама любезность. Каждый раз к моему приходу устраивает настоящее южноиндийское вегетарианское пиршество. Я сказал, что люблю все острое. Даже не знаю, кто меня за язык тянул. Это же полная чушь. И вот я глотаю йогурт ложку за ложкой. Но все без толку. Каждый раз одно и то же: язык перестает ощущать вкус и как будто отмирает, я краснею, как помидор, на глазах выступают слезы, голова превращается в полыхающую огнем домну, а желудок начинает судорожно сжиматься и разжиматься, как удав, заглотивший газонокосилку.

13

Так что, свались вы в львиный ров, лев разорвет вас не потому, что он голодный — будьте спокойны, зверей в зоопарке кормят до отвала — или кровожадный, а потому, что вы вторглись на его территорию.

Между прочим, как раз поэтому в цирке дрессировщик всегда выходит на арену первым, чтобы львы это видели. Таким образом он показывает, что арена — *его* территория, а не их, и утверждает свои права собственника, раз-другой прикрикнув, топнув ногой или щелкнув кнутом. И на львов это действует как ничто другое. Потеря преимущества их подавляет. Заметьте, как львы выходят: эти грозные хищники, эти «цари зверей» жмутся к краям арены, поджав хвосты, а та, как известно, круглая — никуда не денешься. Ну а рядом сильный, властный самец, «суперальфа», — воле его приходится подчиниться. И вот они уже послушно разевают пасти, садятся на задние лапы, прыгают через бумажные кольца, ползут по трубам, пятятся, кувыркаются. «Что за чудной лев, — с горечью думают они. — Никогда не видали такого. И как лихо нас окрутил. Да

и кормушки у нас всегда ломятся, а повадки у него — и впрямь не соскучишься. Но что толку дрыхнуть целыми днями напролет. Ведь нас не гоняют на велосипедах, как бурых медведей, и не заставляют ловить тарелки, как шимпанзе».

Дрессировщик обязан всегда оставаться «суперальфой». Если, не ровен час, дать слабину, можно дорого поплатиться. Зачастую звери ведут себя злобно или агрессивно оттого, что чувствуют свою беззащитность. Зверь, оказавшийся перед вами, должен четко понимать, каково его положение — выше или ниже вашего. Социальный ранг — вот что для зверя главное. Только так зверь определяет, с кем и как себя вести, где и когда есть, отдыхать, пить и тому подобное. Пока зверь не поймет, какого он ранга, жизнь его будет беспорядочной и невыносимой. Он будет нервничать и метаться, а это небезопасно. К счастью для цирковых дрессировщиков, социальный ранг у высших животных далеко не всегда завоевывается силой. Так, в 1950 году Хедигер писал: «Когда встречаются два зверя, тот из них, кто сможет запугать другого, и займет высший ранг; так что положение в зверином сообществе не всегда зависит от исхода поединка — порой все решается одним только взглядом». Вот что говорит

Хедигер, большой знаток животных. Он не один год проработал директором зоопарка — сперва в Базеле, потом в Цюрихе. И в звериных повадках разбирается как никто другой.

Побеждает разум — не физическая сила. Цирковой дрессировщик одерживает психологическую победу. Чужая обстановка, прямая осанка, невозмутимость, пристальный взгляд, наступательная тактика, предостерегающие команды (например, щелчок кнутом или резкий свист) — вот те многочисленные уловки дрессировщика, что ввергают зверя в смятение и страх и ставят его на место, а зверю только того и надо. И вот уже «второй» безропотно пасует, а «первый» оборачивается к публике и возглашает: «Представление продолжается! А сейчас, дамы и господа, прыжки через *настоящие* огненные кольца…»

14

Что интересно, лучше всех по команде дрессировщика проделывает трюки лев низшего ранга в стае — аутсайдер. Он же и больше выигрывает от частого общения с дрессировщиком-«суперальфой». Но дело тут даже не в дополнительных поощрениях. Подобное обхождение означает для него и защиту от сильных сородичей. Этот-то зверь, не уступающий партнерам ни размерами, ни нарочитой свирепостью, по крайней мере на публике, но на деле самый робкий из стаи, и становится гвоздем программы, в то время как сильнейших своих верноподданных дрессировщик заставляет сидеть на цветастых барабанах по краям арены.

То же самое и с другими цирковыми животными, да и в зоопарке та же картина. Звери низшего ранга куда настойчивее заигрывают со смотрителями. Силясь доказать свою преданность, они делаются покладистыми, ласковыми. Так ведут себя и большие кошки, и бизоны, и олени, и гривастые бараны, и обезьяны, и многие другие животные. И зоологи это хорошо знают.

15

Дом его — храм. В прихожей на стене висит картинка в рамке: Ганеша, бог с головой слона. Он сидит и глядит прямо перед собой, краснощекий пузан, улыбчивый венценосец, и держит в трех руках разные вещицы, а четвертую простирает вперед — в знак благословения и приветствия. Он непревзойденный сокрушитель препятствий, бог удачи, бог мудрости, покровитель знаний — просто душка. Гляжу на него, и рот у меня тоже расплывается в улыбке. У ног его — верная крыса. Вместо коня. Случись Ганеше тронуться в путь — он седлает крысу. А на противоположной стене — обыкновенное деревянное распятие.

В гостиной, на столе рядом с софой, — маленькая иконка Девы Марии Гваделупской, тоже в рамке: из-под распахнутой мантии ливнем сыплются цветы. Возле нее — обрамленная фотокарточка Каабы в черном убранстве, исламской святыни, которую обступает десятитысячная толпа правоверных. На телевизоре — бронзовая статуэтка Шивы в обличье Натараджи, космического повелителя танца, управляющего движением Вселенной и ходом времени. Он

танцует над поверженным демоном тьмы, театрально простерев все четыре руки и упершись одной ногой демону в спину, а другую удерживая в воздухе. Когда Натараджа опустит эту ногу, время, говорят, остановится.

Алтарь — на кухне. Он помещается в буфете, где вместо дверцы — резная арка. За дверцей — желтая лампочка, чтобы по вечерам алтарь подсвечивался изнутри. За маленьким алтарем — две картинки: сбоку — все тот же Ганеша, а посередине, в широкой рамке, — улыбающийся синий Кришна играет на флейте. У обоих на лбу, поверх стекла, — точки из красно-желтого порошка. На медном блюде, на алтаре, — три серебряные статуэтки-мурти. Он называет их по именам: Лакшми, Шакти, богиня-мать, в обличье Парвати, и Кришна, на сей раз в образе игривого младенца на четвереньках. Между богинями — каменный лингам Шивы в йони, похожий на половинку авокадо с торчащим изнутри обрубком фаллоса, — индуистский символ мужского и женского космических начал. По одну сторону блюда — маленькая раковина на подставке, по другую — серебряный колокольчик. Рассыпанные рисовые зерна и полуувядший цветок. Многие вещицы помечены теми же желто-красными

точками.

На нижней полке — разные культовые предметы: кувшин с водой; медная ложка; лампадка с фитильком, свернутым колечком в масле; курительные палочки и блюдца с красно-желтым порошком, рисовыми зернами и кусками сахара.

В столовой — еще одна Дева Мария.

Наверху, в кабинете, рядом с компьютером, — медный Ганеша, сидящий скрестив ноги; на стене — деревянный Христос на кресте, из Бразилии; а в углу — зеленый молитвенный коврик. Христос поразительный: Он и впрямь страдает. Коврик лежит просто так, вокруг — пусто. Поодаль от него на низкой полке — книга в матерчатом переплете. На обложке — единственное арабское слово из четырех букв: алеф, лям, лям и га. Слово это означает по-арабски «Бог».

16

Все мы рождаемся как будто свободными — разве нет? — от всего и вся, даже от религии, и так и живем, пока какой-нибудь добрый дядя не возьмет нас за руку и не приведет к Богу. Однако для большинства из нас на этом все и заканчивается. А если продолжается, то скорее во вред, чем во благо: со временем многие и впрямь теряют веру в Бога. У меня же — другая история. Вместо упомянутого «доброго дяди» была старшая матушкина сестра, дама далеко не самая современная, — она-то и привела меня в храм, еще совсем младенцем. Тетушка Рохини с восторгом приняла новорожденного племянника и тут же решила поделиться радостью с Богиней-Матерью. «Пусть это будет его первый выход в свет, — сказала она. — Вот и самскара!» Спору нет — символично. Дело было в Мадураи[7] — так и началась моя жизнь бывалого странника, с семичасового путешествия на поезде. Впрочем, не это главное. С поезда мы отправились прямиком к индуистскому святилищу: матушка несла

[7] Примечания: 7
Мадураи — город в штате Тамилнад, на юге Индии.

меня на руках, а тетушка то и дело ее подгоняла. Я мало что помню о том первом моем хождении в храм — разве только легкий запах благовоний, смутную игру света и тени, зыбкое пламя светильников, размытые цветные блики, духоту и ощущение тайны, исходившее отовсюду. В душу мне заронили зерно святой веры, размером с горчичное семя, и оставили вызревать. Так оно и прорастает во мне — по сей день.

Я индуист, и причиной тому — пирамидки из кум-кумовой пудры и корзины, полные крупиц драгоценной желтой куркумы; гирлянды цветов и скорлупа битых кокосов; колокольный перезвон, возвещающий о Богоявлении; жалобный плач тростниковых надасварамов и барабанный бой; дробный топот босых ног по каменному полу мрачных коридоров, куда проникает редкий солнечный луч; аромат благовоний; пламя светильников для церемонии арати, кружащее во тьме; сладкозвучные бхаджаны; слоны, благодарно кивающие головами; красочные истории на живописных фресках; всевозможные знаки на лбу, говорящие об одном и том же — о *вере.* Я запомнил эти яркие картины еще до того, как узнал, что они означают и для чего нужны. Запомнил по велению сердца. В индуистском храме

я чувствую себя как дома. И всякий раз угадываю Присутствие — но не обращенное лично к тебе, как оно обычно бывает, а всеобъемлющее. У меня все так же учащенно бьется сердце, стоит только взглянуть на мурти Господа Восседающего — там, в святая святых храма. По правде сказать, я будто попадаю в священную космическую колыбель, где возникло все и вся, и любуюсь жизнью, бьющей оттуда ключом. Руки мои складываются в благоговейном жесте. Душа просит прасада, сладостного дара Богу, — дара, который потом возвращается к нам в виде благословенного угощения. Хочется ощутить ладонями тепло священного пламени и омыть им глаза и лоб.

Но религия — больше, чем обряд или ритуал. Она — то, ради чего существуют обряды и ритуалы. Говорю это опять же как индуист. Я и мир воспринимаю глазами индуиста. Есть Брахман, душа мира, опора, вокруг нее ткется и сплетается ткань всего сущего — одежда, расшитая узорами пространства и времени. А есть Ниргуна-Брахман — у него нет ни свойств, ни качеств, он непостижим, неописуем и недосягаем; с нашим скудным словарным запасом мы можем украсить его лишь такими скромными эпитетами, как Один, Истина, Единство, Абсолютное начало, Высшая

реальность, Основа бытия, — костюмчик вроде бы сносный, да вот только на Ниргуна-Брахмане он трещит по швам. И тут уж ничего не попишешь. Но есть еще Сагуна-Брахман — вот у кого всяких качеств с лихвой, да и костюмчик сидит на нем хоть куда. Как только мы его не зовем — и Шивой, и Кришной, и Шакти, и Ганешей; его до некоторой степени можно постичь; его можно наделить определенными качествами: любящий, милостивый, ужасный — и даже считать нашим родственником, хоть и с натяжкой. Сагуна-Брахман — это проявление Брахмана, доступное нашему убогому пониманию; это — Брахман, воплощенный не только в богах, но и в людях, животных, деревьях, в горстке земли, ибо все на земле отмечено божественной печатью. И правда жизни в том, что Брахман ничем не отличается от атмана, нашей внутренней духовной силы, или, проще говоря, души. Душа каждого человека связана с душой мира точно так же, как любой родник — с потоком подземных вод. И то, на чем стоит мир, непостижимый, не выразимый никакими словами, и то, что составляет нашу суть и рвется к самовыражению, — в сущности, одно и то же. Конечное в бесконечном и бесконечное в конечном. Спроси вы меня, как именно соотно-

сятся между собой Брахман с атманом, я скажу так: как Отец, Сын и Святой Дух, — таинственным образом. Впрочем, тут ясно одно: атман стремится воплотиться в Брахмана, слиться с Абсолютным началом, вот он и странствует по этой жизни, как паломник, рождается и умирает, и снова рождается, и снова умирает — вновь и вновь, до тех пор, пока наконец не сбросит с себя личину странника. Путей к освобождению великое множество, хотя берега, стесняющие путеводный поток, одинаковы на всем его протяжении, и называются они Берегами Кармы; там-то и выясняется, достойны мы освобождения или нет: все зависит от наших прошлых деяний и поступков.

Таков в священной своей сути индуизм, а я был и остаюсь индуистом. И через понятия индуизма определяю свое место в этом мире.

Впрочем, довольно об этом! Чтоб им пусто было — всяким там фундаменталистам да буквоедам! Помню одну историю — про Господа Кришну, только в ней он еще не бог, а пастух. Каждую ночь зазывает он пастушек в лес — потанцевать. Те приходят и танцуют. Ночь черна, костер посреди круга гудит и трещит, музыка играет все быстрее, пастушки танцуют и танцуют со своим любимчиком, а тот, полный сил, готов приголубить

каждую. Но стоит любой из них подумать, что Кришна будет принадлежать лишь ей одной, как он тут же с глаз долой. Так что не стоит ревновать к Богу.

Здесь, в Торонто, я знаю одну женщину, которая очень дорога мне. Она — моя приемная мать. Я зову ее Тетушкой-джи, и ей это нравится. Родом она из Квебека. И хотя живет в Торонто уже добрых три десятка лет, а то и больше, думает все так же по-французски и английскую речь иногда просто не воспринимает. Так вот, когда она в первый раз услыхала «Харе Кришна», то ей почудилось «Хайрлес[8] Христиане» — и так чудилось много лет. Разъяснив ей, в чем тут собака зарыта, я сказал, что по большому счету она права: любвеобильные индусы — те же христиане, только наголо остриженные. Так и мусульмане, видящие Бога везде и всюду, — те же индусы, только бородатые, а набожные христиане — те же мусульмане, только в шляпах.

[8] Примечания: 8
Хайрлес (Hairless) — по-английски «лысый».

17

В первый раз чудо потрясает до глубины души — потом оно лишь обрастает новыми впечатлениями. Я обязан индуизму врожденной широтой религиозного воображения, вместившего в себя города и реки, поля битв и леса, священные горы и морские бездны, где боги, святые, злодеи и простой люд живут вместе и вместе же решают, кто мы и каков наш удел. О великой космической силе любви и добродетели я услыхал впервые здесь, на индийской земле. Об этом поведал мне Господь Кришна. Я слушал его и послушался. И тогда мудрый Господь Кришна, проникшись ко мне глубочайшей любовью, свел меня с одним человеком.

Мне было четырнадцать лет, когда я, уже вполне сформировавшийся индуист, повстречал Иисуса Христа — во время каникул.

Отец редко брал отпуск — дела в зоопарке не позволяли, но однажды он все-таки решил отдохнуть, и мы отправились в Муннар, что в штате Керала. Муннар — маленький горный поселок, затерянный среди самых высокогорных чайных плантаций в мире. Дело было в начале

мая — муссон еще не пришел. На тамилнадских равнинах стояло адское пекло. В Муннар мы прибыли из Мадураи, одолев пятичасовой переезд в машине по извилистой горной дороге. Тамошняя прохлада обдала нас приятной свежестью, точно холодок от мятной конфеты. Мы жили как туристы. Побывали на Татайской чайной плантации. Катались в лодке по озеру. Заглянули на скотный двор. В национальном парке кормили солью нилгирийских таров — родственников бородатых козлов. («У нас в зоопарке тоже есть такие. Добро пожаловать и к нам в Пондишери», — зазывал отец компанию швейцарских туристов.) Мы с Рави лазили по чайным плантациям, прилегавшим к поселку. Лишь бы чем-нибудь заняться от скуки. А отец с матушкой располагались вечерами в уютной чайной при гостинице, как кот с кошкой у окна на солнышке. Матушка читала, а отец беседовал с нашими соседями.

Муннар раскинулся на трех холмах. Они не такие высокие, как горы, обступающие поселок со всех сторон, но, судя по тому, что я успел заметить в первое утро, за завтраком, было у них что-то общее: на каждом виднелся храм. На холме справа от гостиницы, на другом берегу реки, возвышалось индуистское святилище; на среднем

холме, чуть поодаль, приютилась мечеть, а холм слева венчала церковь.

На четвертый день нашего пребывания в Мунаре, поздним вечером, я взобрался на левый холм. Хоть моя школа официально и считалась христианской, в церкви я не был ни разу, да и сейчас не собирался. Я вообще мало что знал про христиан. Слыхал только, что богов у них раздва и обчелся, а жестокости хоть отбавляй. Зато школы — что надо. Я обошел церковь кругом. Это было здание с толстыми, гладкими светло-голубыми стенами и высокими узкими окнами, через которые ничего не разглядеть. Настоящая неприступная крепость.

Я направился к домику священника. Дверь была открыта. Я спрятался за углом и огляделся. Слева от двери висела дощечка, на ней было написано: «Приходской священник» и «Помощник священника». Против каждого — выдвижная табличка. Священник с помощником были ДОМА, о чем говорили золоченые буквы на табличках, хотя это и так было видно. Один сидел у себя в кабинете, спиной к эркерам, а другой — на скамье за круглым столом в просторной прихожей, служившей, должно быть, одновременно и приемной. Сидел он лицом к двери и окнам, в руках

у него была книга — никак Библия, смекнул я. Почитав немного, он отрывал взгляд от книги, потом снова принимался за чтение и опять поднимал глаза. Движения его были размеренными, сосредоточенными, спокойными. Через какое-то время он закрыл книгу и отложил в сторону. Сложил руки на столе и так и сидел — в полном умиротворении: ни воодушевления, ни тени покорной смиренности на лице.

Стены в прихожей были чистые, белые, стол со скамьями — деревянные, черные, а на священнике была белоснежная сутана, — словом, все опрятно и просто, без излишеств. И на душе у меня тоже стало спокойно. Но больше всего поражала не окружающая обстановка, а смутная догадка: вот он сидит тут, доступный всем и каждому, и терпеливо ждет, когда кто-нибудь — да кто угодно — захочет поговорить с ним, и он с любовью выслушает — поможет облегчить душу, свалить камень с сердца, очистить совесть. Он — тот, чей удел любить, утешать и направлять по мере сил и возможностей.

Я расчувствовался. Открывшаяся моим глазам картина глубоко запала мне в сердце, всколыхнула душу.

Он встал. И я подумал: вдруг сейчас возьмет и

перевернет свою табличку. Но ничего такого не случилось. Он прошел вглубь дома, и только, а дверь из прихожей в другую комнату осталась открытой, как и входная. Точно помню, обе двери были настежь. Значит, заходи любой — к нему и к его собрату.

Я пошел прочь — и вдруг решился. И вошел в церковь. Тут у меня схватило живот от страха. А ну как выскочит какой-нибудь христианин да как гаркнет: «Ты что здесь забыл? Как посмел осквернить святыню, негодник ты этакий? Вон отсюда, сейчас же!»

Но никто не выскочил. И впрямь — чудно, как и все вокруг. Я прошел еще дальше и заметил в глубине алтарь. На нем было что-то нарисовано. Может, мурти? Наверное, человеческое жертвоприношение. Злой бог, жаждущий крови. Изумленная женщина возвела глаза к небу, а в небе порхают пухленькие младенцы с крохотными крылышками. И какая-то чудная птица. Кто же из них бог? Рядом с алтарем — размалеванная деревянная скульптура. Еще одна жертва — побитая, истекающая яркими красками. Я посмотрел на ее колени. Сплошь в ссадинах. Содранная розовая кожа свисает клочьями, как лепестки у цветка, оголив огненно-красные коленные ча-

шечки. Как же не похожа эта изуверская картина на ту, что в домике священника.

На другой день, в то же время или около того я был уже там — ДОМА.

Католики славятся строгостью нравоучений, давящих непосильным бременем. Но ничего такого про отца Мартина я сказать не могу. Он был очень добрый. Принес мне чаю с печеньем — целый сервиз, где все позвякивало да побрякивало, стоило только до чего-нибудь дотронуться. Говорил он со мной, как со взрослым, и даже рассказал историю. Вернее — Историю, потому как христиане уж больно любят заглавные буквы.

Ту еще историю. Сперва я не поверил ни единому слову. Что-что? Люди грешат, а Сын Божий за них за всех расплачивается? Представляю, как папа говорит: «Писин, сегодня лев забрался в загон к ламам и двух задрал. А другой разорвал вчера черную антилопу. На прошлой неделе два льва сожрали верблюда. А за неделю до того досталось пестрым журавлям и серым цаплям. Ну а кто слопал бразильского агути — попробуй угадай? В общем, дело дрянь. Надо что-то решать. Вот я и решил — скормлю-ка львам тебя, только тем они и искупят свои грехи».

«Да, папа, пожалуй, так оно верней и справед-

ливей. Дай только схожу помоюсь».

«Аллилуйя, сын мой».

«Аллилуйя, папа».

Да уж, странная история. Странная и непонятная.

Я попросил рассказать еще какую-нибудь историю. Ведь наверняка у этой религии есть и другие истории; у религий полно всяких историй. А отец Мартин объяснил, что все другие, предыдущие истории — а их много — про то, как возникли христиане, только и всего. У их же религии всего лишь одна История, и они вспоминают ее снова и снова, без конца. Тем и довольствуются.

В тот вечер я сидел в гостинице тише воды ниже травы.

То, что у Бога хватало врагов, еще понятно. Индуистским богам тоже приходилось несладко от всяких там разбойников, жуликов, грабителей и захватчиков. Да и что такое «Рамаяна»? Не что иное, как описание одного злополучного дня Рамы. Враги — да. Злой рок — понятно. Коварство — не без того. Но *унижение? Смерть?* Даже не представляю, как Господь Кришна смог бы позволить, чтобы с него сорвали одежды, высекли, насмеялись, протащили по улицам и в довершение распяли, и все это — руками про-

стых смертных. Никогда не слыхал, чтобы хоть один индуистский бог умер. Брахман Явленный не может умереть. Демоны и чудовища, как и люди, умирали тысячами и тысячами — оно и понятно. Да и материя распадалась в прах. Но богам смерть нипочем… Нет, неправильно это. Мировая душа не может умереть, да и никакая ее часть не может. Неправильно поступил этот самый христианский Бог, когда отдал Свою аватару на смерть. Это все равно что умертвить половину Себя. Ведь если Сын принял смерть, то настоящую. Если Бог на кресте притворяется, что страдает за всех людей, выходит, он и Страсти Христовы превращает в комедию. Смерть Сына должна быть настоящей. И отец Мартин сказал — так оно и было. Но если Бог умер, значит, навсегда, хоть он и воскрес. И привкус смерти должен остаться на устах Сына на веки вечные. Печать смерти должна лежать и на Троице, и на деснице Бога Отца. Ужас, да и только. И зачем Богу все это было нужно — на Свою-то голову? Почему бы не оставить смерть смертным? Зачем марать то, что красиво, и портить то, что совершенно?

От любви. Вот что ответил отец Мартин.

А Сын-то что? Есть одна история про маленького Кришну, которого оговорили его дружки, — сказа-

ли, что он наелся грязи. Тогда кормилица Яшода пришла к нему и погрозила пальцем. «Нельзя есть грязь», — пожурила она. «А я и не ел», — как ни в чем не бывало отвечал владыка всего сущего, шутки ради прикинувшийся испуганным чадом человеческим. «Ах ты! Ох ты! А ну-ка, открой рот!» — велела Яшода. Кришна сделал, что было велено. Открыл рот. Яшода так и ахнула. Увидела она во рту у Кришны целый мир, без начала и конца, все светила небесные, и планиды, и дали, их разделяющие, увидела и земли все, и моря, и жизнь, их наполняющую; увидела она прошлое и будущее; увидела все помыслы человеческие и чувства, печали все и надежды, и три составные части материи увидела; ни один камушек, ни один огонек свечи, ни одна тварь живая, ни одна деревня и ни одно звездное скопление не ускользнули от ее взора, как и она сама, Яшода, и вся грязь земная. «Закрой рот, о повелитель», — благоговейно молвила она.

А есть история про то, как Вишну воплотился в карлика Ваману. И попросил у царя демонов, Бали, столько земли, сколько сможет отмерить своими шагами. Бали рассмеялся, услыхав просьбу жалкого недоростка. Но согласился. А Вишну возьми да и прими истинный свой облик — кос-

мический. Первым шагом он покрыл всю землю, вторым — небеса, а третьим пнул Бали под зад и столкнул в подземный мир.

Даже Рама, единственный человек из аватар, хоть ему и приходилось то и дело напоминать, что он как-никак бог, — и тот не ударил в грязь лицом и отбил свою жену Ситу у Раваны, царя демонов из Ланки. Уж его-то не устрашил бы никакой крест. Как только грянула беда, он превзошел свои человеческие возможности и, исполнившись нечеловеческой силы, взял в руки оружие, которое не удержал бы ни один человек.

Бог должен быть Богом. Великим, всесильным, всемогущим. Только такой Бог может прийти тебе на выручку и уничтожить зло.

А этот Сын, вечно голодный и жаждущий, изнуренный, печальный и тревожный, поруганный и оскорбленный, вынужденный сносить нерадивых учеников и хулителей Своих, — какой же он бог? Самый обыкновенный человек — вот кто. Творил чудеса — ну да, только все больше по целительной части; ну накормил десяток-другой голодных; самое большее — укротил бурю да прогулялся чуток по воде. Разве это чудеса — так, баловство одно, вроде карточных фокусов. Да любой индуистский бог может в сто раз больше.

А этот Сын, тоже мне бог, только и горазд языком чесать, байки Свои *рассказывать*. Сын этот, тоже мне бог, всюду ходил пешком — по эдакой-то жарище, — как какой-нибудь простолюдин, всю дорогу топал сандалиями по камням; а решив раз пустить пыль в глаза, уселся на обыкновенного осла — ничего себе скакун. Сын этот, тоже мне бог, умирал три часа, стеная, задыхаясь и обливаясь слезами. Какой же это бог? И что такого выдающегося в этом Сыне?

Любовь, сказал отец Мартин.

И Сын этот явился лишь однажды, давным-давно, далеко-далеко? К темному народу в тихой заводи на западной окраине Азии, на задворках позабытой империи? А Сам испустил дух еще до того, как седина успела тронуть Его голову? Не оставил ни одного потомка — только скудные, обрывочные воспоминания по себе, только покрывшиеся грязью жалкие закорючки? Погодите-погодите. Это даже не Брахман-отшельник. Это — себялюбивый Брахман, скупой Брахман, несправедливый Брахман, — Брахман, по сути дела, и вовсе не проявленный. Уж коли Брахману суждено иметь одного-единственного сына, отчего бы ему не показать такую же прыть, какой блистал Кришна, резвясь с пастушками, а? Чем

объяснить эдакое божественное убожество?

Любовью, неизменно повторял отец Мартин.

Благодарю покорно, лучше буду и дальше верить в любимого моего Кришну. В своем божественном ореоле он просто неотразим. А вы уж оставьте вашего Сына, вашего потного горемыку-болтуна при себе.

Так-то вот воспринял я того древнего равви-баламута — с недоверием и досадой в сердце.

Мы пили чай с отцом Мартином три дня кряду. И всякий раз, как только чашки наши звякали о блюдца, а ложки — о края чашек, я принимался его расспрашивать.

И ответ всякий раз был один и тот же.

Как же он мне надоел, этот Сын. С каждым днем Он раздражал меня все больше, и все больше недостатков угадывал я в Нем.

Какой же Он *вздорный*! Как-то утром в Вифании Бог проголодался; Богу угодно было покушать. И вот подходит Он к смоковнице. А время плодоносить еще не пришло — нет, стало быть, на дереве плодов. Бог Сын рассержен. И ворчит: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек», — и смоковница чахнет прямо на глазах. Так говорит Матфей, а следом за ним и Марк.

Позвольте, разве виновата смоковница, что

время плодоносить еще не пришло? Зачем было делать так, чтобы неповинное дерево враз зачахло?

Я никак не мог выбросить Его из головы. И сейчас не могу. Целых три дня я только про Него и думал. Чем меньше Он мне нравился, тем глубже западал в душу. И чем больше я узнавал о Нем, тем меньше хотел с Ним расставаться.

В последний день, за несколько часов до отъезда из Муннара, я кинулся бегом на холм — тот, что слева. Поступок, скажу вам, чисто христианский. Христиане вечно спешат. Только поглядите на мир, сотворенный в семь дней. Даже в символическом смысле творение это — жуткий хаос. У любого, кто вышел из лона религии, где борьба за одну-единственную душу похожа на бесконечный марафон длиной в столетия и с участием бессчетных поколений, передающих друг дружке эстафетную палочку, от стремительно-дерзновенной поступи христианства голова пойдет кругом. Если индуизм сродни неспешному течению Ганга, христианство подобно суматохе в Торонто в часы пик. Религия эта легкокрыла, как ласточка, и неудержима, как скорая помощь. Она вспыхивает на пустом месте — и сгорает в одночасье. Еще мгновение — и ты пан или про-

пал. Христианство глядит назад — в прошлое, хотя, в сущности, живет мигом единым, вернее, сегодняшним днем.

Я забрался на холм. Хотя отца Мартина не было ДОМА — увы, табличка его была перевернута, — хвала Богу, он все же оказался на месте.

Едва переведя дух, я выпалил:

— Отец, хочу быть христианином, можно?

Он улыбнулся:

— Ты им уже стал, Писин, — в сердце. Всякий, кто с открытой душой принимает Христа, считается христианином. И ты принял Христа здесь, в Муннаре.

Он погладил меня по голове. Хотя на самом деле — как будто оглушил. Прикосновение его руки гулко отдавалось в голове — БУМ-БУМ-БУМ.

Я думал, от радости у меня разорвется сердце.

— Вот приедешь опять, еще чаю попьем.

— Конечно, отец.

И он добродушно улыбнулся. Улыбкой Христа.

Я зашел в церковь — на этот раз без всякой опаски: теперь это и мой дом. И помолился Христу — живому. Потом опрометью сбежал с холма, того, что слева, и так же быстро взбежал на другой холм, тот, что справа, — и возблагодарил Господа Кришну за то, что он свел меня с Иисусом

Назореем, самым человечным из богов.

18

Ислам не заставил себя долго ждать — не прошло и года. Мне было пятнадцать — самое время познакомиться с родным городом вплотную, облазить все уголки и закоулки. Мусульманский квартал оказался в двух шагах от зоопарка. Тихие узкие улочки, домики с арабской вязью и полумесяцами на фасадах.

Я дошел до Мулла-стрит. Взглянул одним глазком на Джамия Масджид — Великую мечеть. Внутрь, ясное дело, я ни ногой. Ислам, поговаривали, еще хуже христианства: богов и того меньше, жестокости не в пример больше, а уж о мусульманских школах я отродясь доброго слова не слыхал. Так что внутрь, думал я, ни-ни, дураков нет. Правда, там пусто, ну так и что с того? Все равно снаружи все видно. Стены чистые, белые, только по углам зеленая кайма; внутри ни души. Длинные соломенные циновки на полу. Крыши, кажется, вовсе нет, только два стройных желобчатых минарета тянутся к небу на фоне высящихся позади кокосовых пальм. Ничего такого «священного». Да и вообще ничего особенного: уютное, спокойное местечко, и все тут.

С тем я и двинулся дальше. За мечетью лепились друг к другу вдоль улицы обшарпанные лачуги: одинаковые крылечки под навесами, выцветшая зелень оштукатуренных стен. В одном из домишек оказалась лавка. Первым делом мне бросилась в глаза полка, заставленная пыльными бутылками апельсинового «Тамзап», и четыре прозрачные пластиковые банки, до половины засыпанные леденцами. Но по-настоящему тут торговали чем-то другим: какими-то белыми плоскими кругляшами. Я подошел поближе. Смахивало на пресные лепешки. Я ткнул пальцем — тесто сухо хрустнуло. Да им небось в четверг сто лет будет! И кто их купит? Я взял одну и потряс — разломится или нет?

— Хочешь попробовать?

Я аж подпрыгнул от неожиданности. Да и кому не случалось поддаться этой усыпляющей игре светотени: солнечные блики мелькают перед глазами вперемешку с пятнами сумрака, мысли уплывают куда-то вдаль… и в упор не замечаешь, что творится у тебя прямо под носом.

А прямо под носом у меня сидел, скрестив ноги, продавец этих самых лепешек. От испуга я вскинул руки и выронил хлебец. Тот пролетел до середины улицы и шлепнулся прямиком на

свежую кучу коровьего навоза.

— Простите, пожалуйста! Я вас не заметил! — выпалил я, уже собираясь пуститься наутек.

— Ничего страшного, — спокойно сказал продавец. — Корова съест. Вот, возьми другую.

Он разломил лепешку пополам, и мы вдвоем ее съели. Тесто и вправду было черствое, жесткое, как резина, — та еще работенка для зубов, — однако сытное. Я успокоился и подумал, что надо бы поддержать разговор:

— Вы их сами печете?

— Да. Хочешь, покажу?

Продавец поднялся со своего помоста и поманил меня за собой — в дом.

В лачуге оказалось две комнаты: ту, что побольше, почти целиком занимала печь, а спальню от пекарни отделяла лишь хлипкая занавеска. Пол печи был выложен гладкими камнями. Мой новый знакомец начал было объяснять, как выпекают хлеб на этих разогретых камнях, — как вдруг со стороны мечети донесся заунывный клич муэдзина. Я знал, что это призыв к молитве, но не представлял себе, что за этим должно воспоследовать. Памятуя о том, как христиан сзывают в церковь колокольным звоном, я воображал, будто правоверный мусульманин должен все

бросить по этому зову и бежать в мечеть. Как бы не так! Пекарь прервался на полуслове, извинился, юркнул в другую комнату, тотчас вернулся с ковриком, скатанным в трубку, и расстелил его на полу пекарни, взметнув попутно целую мучную бурю. И начал молиться — прямо у меня на глазах, не отходя от печи. Я оторопел: ну разве так можно? Это же просто неприлично! Однако же лишним почувствовал себя я, а не он. Хорошо еще, он молился с закрытыми глазами.

Сначала он постоял, бормоча что-то по-арабски. Приложил руки к ушам, большими пальцами коснувшись мочек, — никак прислушивался: что-то ответит ему Аллах? Потом согнулся в поклоне. Снова выпрямился. Упал на колени и уткнулся головой в коврик. Разогнулся. Снова припал к земле. После чего встал и начал все сначала — по второму кругу.

Вот те на, подумал я, а всего ислама-то — немудрящая гимнастика. Эдакая бедуинская йога со скидкой на жару. Асаны без пота, небеса без хлопот.

А он повторил все четыре раза кряду, не прекращая бормотать. Напоследок повертел головой вправо-влево, замер на секунду-другую в медитации — и все. Открыл глаза, улыбнулся и сошел

с коврика. Скатал его легким мановением руки, выдававшим давнюю привычку, отнес на место и вернулся ко мне:

— На чем я остановился?

Вот так я и увидел впервые мусульманскую молитву — торопливую, неукоснительную, пластичную, невнятную, потрясающую до глубины души. И когда я в очередной раз молился в церкви — безмолвно застыв на коленях перед Христом на кресте, — меня все преследовал тот образ гимнастического единения с Богом посреди мешков с мукой.

19

Я пришел к нему снова.

— Во что вы верите? — спросил я.

Глаза его вспыхнули.

— В Возлюбленного, — ответил он.

Покажите мне такого умника, который ухитрится понять ислам, почувствовать его дух — и не полюбить его. Это прекрасная религия братства и благоговейной любви.

Мечеть и впрямь оказалась без крыши — открытая всем ветрам, распахнутая навстречу Богу. Мы сидели, скрестив ноги, и слушали имама, пока не настал час молитвы. Тогда хаотичный орнамент на полу рассыпался: слушатели, сидевшие где придется, поднялись и выстроились плечом к плечу, ряд за рядом. Ряды сомкнулись — ни одного промежутка, все пространство заполнилось сплошь. Как приятно было коснуться лбом земли! Я сразу же ощутил, как соприкасаюсь в глубине души с чем-то священным.

20

Он был суфием — мусульманским мистиком. Он стремился к *фане* — слиянию с Богом, и с Богом его связывали глубоко личные отношения, проникнутые любовью. «Сделай хотя бы два шага в сторону Бога, — приговаривал он, — и Бог сам побежит тебе навстречу!»

На вид он был совершенно невзрачный: ровным счетом ничего примечательного ни во внешности, ни в одежде. Неудивительно, что в ту первую встречу я не сразу его заметил. Даже и потом, когда наше знакомство переросло в дружбу, я далеко не всегда узнавал его при встрече с первого взгляда. Звали его Сатиш Кумар — имя и фамилия в Тамилнаде очень распространенные, так что совпадению удивляться нечего. Но все-таки забавно было, что этого набожного пекаря, неприметного, как тень, и здорового, что твой бык, зовут точно так же, как и учителя биологии — истового коммуниста и поклонника науки, в детстве тяжело переболевшего полиомиелитом и смахивающего теперь на живую гору на ходулях. Мистер Кумар и мистер Кумар указали мне путь на факультеты зоологии и теологии Торонтского

университета. Мистер Кумар и мистер Кумар были пророками моей индийской юности.

Мы молились вместе и вместе совершали *дхикр* — перечисляли вслух девяносто девять имен Бога, все, кроме сотого, тайного. Мистер Кумар был хафизом, то есть знал Коран наизусть, — и читал его нараспев, медленно и без затей. Арабский я так толком и не выучил, но мне нравилось, как он звучит. Эти долгие, протяжные гласные, перемежаясь гортанными взрывами, струились ручьем почти за гранью моего разумения. Я подолгу вглядывался в воды этого прекрасного ручья. Он был не так уж широк — в один-единственный голос шириной, но глубок, как сама Вселенная.

Я назвал дом мистера Кумара лачугой. Но никакое святилище, никакая мечеть или церковь не внушали мне такого благоговения, как эта пекарня. Выходя оттуда, я, бывало, чуть не разрывался от переполняющей меня благодати. Тогда я садился на велосипед и рассеивал избыток радости в окружающий мир, налегая что было сил на педали.

Однажды я таким образом укатил за город, и на обратном пути, на пригорке, откуда по левую руку открывался вид на море, а впереди далеко-далеко вдаль тянулась дорога, мне вдруг

почудилось, что я в раю. Я проезжал здесь совсем недавно, и само место ничуть не изменилось с тех пор: просто я увидел его по-иному. Страстное, блаженное чувство охватило меня — немыслимая смесь кипучей энергии с глубоким, совершенным спокойствием. Дорога и море, деревья, воздух и солнце, прежде говорившие со мною каждый по-своему, вдруг заговорили на всеобщем языке единства. Дерево не упускало из виду дороги, та не забывала о воздухе, помнившем, в свою очередь, о нуждах моря, у которого оказалось так много общего с солнцем. Каждая частичка этого мира пребывала в гармоничном содружестве со всеми своими соседями, и все вокруг было друг другу сродни. Я упал на колени смертным — а восстал бессмертным. Я был точкой в центре крошечного круга, совпадавшей с центром окружности куда более обширной. Атман слился с Аллахом.

Был и еще случай, когда Бог подошел ко мне так же близко. Гораздо позже, уже в Канаде. Я гостил у друзей за городом. Дело было зимой. Я возвращался домой с прогулки, шагал себе один через участок, а участок у них большой. День выдался ясный, солнечный, а накануне ночью шел снег, и все стало белым-бело. Уже на подходе к дому я обернулся. Там был лесок, а в лесу — прогалина.

Ветка только что качнулась — то ли под ветром, то ли зверь задел, — и мелкий снег закружился в воздухе, сверкая на солнце. И в той золотой пороше на лесной прогалине, расцвеченной бликами света, я увидел Деву Марию. Почему именно ее? Не знаю. Марии я поклонялся постольку-поскольку. Но явилась она. Бледная. В белом платье и синем плаще; помню, как поразили меня все эти струящиеся складки. Когда я говорю, что *увидел* ее, не надо понимать это буквально, хоть у нее и были плоть и цвет. Я *почувствовал*, что вижу ее, — зрением за гранью зрения.

Я остановился и прищурился. Она была прекрасна и необыкновенно величава. Она улыбалась мне с нежной любовью. Через несколько секунд она исчезла. Сердце мое трепетало благоговейным страхом и радостью.

Лицезрение Бога — вот высшая из наград.

21

Я остаюсь в кафе один — сижу, размышляю. Провел с ним почти целый день. После каждой встречи с ним начинаю досадовать на то угрюмое довольство, в котором проходит моя жизнь. Что там из его выражений так меня поразило? Ах да — эти «пресные голые факты действительности», и еще — «история поинтереснее». Я беру ручку и бумагу и записываю:

«Признаки религиозного сознания: духовная экзальтация; устойчивое состояние душевного подъема, восхищения, радости; пробуждение духовного понимания, представляющегося куда более важным, чем познание средствами разума; упорядочение мира в соответствии с духовными, а не интеллектуальными категориями; осознание того, что основополагающий принцип бытия есть то, что мы называем любовью, которая проявляется подчас неясно, не в чистом виде, не напрямую, но всегда неотвратимо».

Я задумываюсь. Что там насчет безмолвия Бога? Все тщательно взвесив, я добавляю:

«Смятение разума, но при этом — проникнутое доверием ощущение божественного присутствия

и высшего смысла».

22

Легко могу представить себе последние слова атеиста: «Бело, бело! Л-любовь! Боже мой!» — и предсмертный прыжок в объятия веры. Что же до агностика, то этот омывающий его теплый свет он обзовет не иначе как «п-п-прекращением п-п-подачи кислорода в м-м-мозг», — ни на что другое просто не хватит фантазии, — и, храня верность своей рассудочной натуре и фактам действительности как они есть, пресным и голым, пропустит в итоге историю поинтереснее.

23

Увы, но то самое чувство общности, что связывает между собой единоверцев, на меня навлекло беду. В конце концов о моих религиозных похождениях прослышали не только те, кого они не волновали нисколечко, а лишь забавляли, но и те, кого они взволновали не на шутку — и нисколечко, надо заметить, не позабавили.

— Что ваш сын делает в капище? — вопросил священник.

— Вашего сына видели в церкви. Он крестился! — объявил имам.

— Ваш сын обратился в мусульманство, — сообщил пандит.

Вот так это все и вывалили на голову бедным моим родителям. Они ведь ничего знать не знали! Они понятия не имели, что я теперь практикую индуизм, христианство и ислам. Подростки всегда что-нибудь да скрывают от родителей — а я чем хуже? У всякого шестнадцатилетнего мальчишки найдутся свои секреты. Но судьба распорядилась так, что в один прекрасный воскресный день на приморском бульваре имени Губерта Салаи отец и матушка встретили трех

волхвов (как я и буду их впредь называть), и тайна моя вышла наружу. Стояла жара, но с моря тянуло прохладой, и Бенгальский залив ярко сверкал под синим небом. По набережной неторопливо прогуливались горожане. Визжали и смеялись детишки. Вокруг пестрели воздушные шары. Мороженое шло нарасхват. Ну скажите на милость, почему бы в такой славный денек не выбросить из головы все дела? Что им стоило просто пройти мимо, улыбнувшись и приветливо кивнув? Но не тут-то было. Надо же, какая незадача! Нас угораздило встретить не кого-то одного, а всех троих, и даже не по очереди, а всех сразу, и притом каждый, заметив нас, почему-то решил, что вот он, удачнейший случай побеседовать с этим светочем пондишерийского общества — директором зоопарка и воздать хвалы его образцовому в своей набожности отпрыску. Завидев первого волхва, я улыбнулся, но к тому моменту, как показался третий, улыбка застыла на моем лице маской ужаса. Когда же все трое недвусмысленно устремились в нашу сторону, сердце у меня подскочило и ухнуло в пятки.

Досада отразилась на лицах моих волхвов, когда они заметили, что все втроем приближаются к одной и той же цели. Должно быть, каждый

подумал, что остальные из вредности выбрали именно этот момент, чтобы потолковать с моим отцом о каких-то других делах — отнюдь не пастырских. И каждый смерил соперников недовольным взглядом.

При виде трех незнакомых священнослужителей, что, расплываясь в улыбках, учтиво заступили им дорогу, родители мои опешили. Да, надо пояснить: с религией мое семейство не имело ничего общего. Отец считал себя истинным гражданином Новой Индии — роскошной, современной и светской, как мороженое. Религиозной жилки он был напрочь лишен. Он был человеком деловым — в смысле, человеком *дела:* работящим, практичным профессионалом. Проблему близкородственного спаривания среди львов он принимал к сердцу куда ближе, чем все на свете моральные и экзистенциальные умопостроения. Правда, каждое новоприбывшее к нам животное благословлял священник, и на территории зоопарка было два святилища — Ганеши и Ханумана. В общем-то, боги в самый раз для директора зоопарка: один со слоновьей головой, другой и вовсе обезьяна. Но отец в этом усматривал пользу сугубо материальную, не имевшую никакого отношения к спасению души, а имен-

но — еще один способ привлечь посетителей. Волнения духовного свойства были ему чужды: его снедали тревоги иного рода — денежного. «Одна эпидемия в зоопарке, — приговаривал он, — и что нам останется? Разве что податься в каменотесы». Матушка же на все вопросы о вере просто отмалчивалась: ей это было скучно. Индуистское воспитание и баптистское образование перечеркнули друг друга в этом отношении, превратив ее в безмятежную безбожницу. Кажется, за мной она подозревала иной взгляд на вещи, но ни словом не возражала, когда в детстве я поглощал комиксы с переложениями «Рамаяны» и «Махабхараты», иллюстрированные Библии для детей и прочие повести о богах. Матушка и сама читала запоем. Ей приятно было видеть, что я сижу уткнувшись носом в книгу, — а уж какая это книга, было неважно, лишь бы не гадкая. Что же до Рави… ну, если бы Господь Кришна лучше владел крикетной битой, чем флейтой, если бы Христос явился ему воочию судьей на поле, а пророк Мухаммед, да пребудет с ним мир, хоть самую малость разбирался в подаче мячей, то, может статься, у брата моего и отверзлось бы духовное око — а так он продолжал дрыхнуть в свое удовольствие.

Неловкое молчание, повисшее после всех положенных «здравствуйте» и «добрый день», нарушил священник. С гордостью в голосе он промолвил:

— Ваш мальчик — примерный христианин. Надеюсь, вскоре он начнет петь в нашем хоре.

Родители, пандит и имам уставились на него удивленно.

— Вы, должно быть, ошиблись. Писин — примерный мусульманин. Он не пропускает ни одной пятничной молитвы, да и в изучении Священного Корана продвигается превосходно, — так сказал имам.

Родители, священник и пандит уставились на него недоверчиво.

Тут вмешался пандит:

— Оба вы ошибаетесь. Он — примерный индуист. Я часто вижу его в храме — он приходит для даршана и совершает пуджу.

Родители, имам и священник уставились на него в полном изумлении.

— Нет, никакой ошибки! — возразил священник. — Я этого мальчика знаю лично. Это Писин Молитор Патель. И он — христианин.

— Я тоже его знаю и могу вас заверить: он — мусульманин! — заявил имам.

— Чепуха! — воскликнул пандит. — Писин родился индуистом, живет как индуист и умрет индуистом!

Три волхва уставились друг на друга с напряженной опаской.

«Господи, отврати от меня их взоры», — взмолился я про себя.

Все взоры разом обратились на меня.

— Писин, как же так? — требовательно вопросил имам. — Индуисты и христиане — идолопоклонники! Многобожники!

— А мусульмане — многоженцы, — не остался в долгу пандит.

Священник глянул на них искоса.

— Писин, — прошептал он, обращаясь ко мне одному, — ты что, забыл? Спасение — только во Христе!

— Вздор! — перебил его пандит. — Христиане ничего не смыслят в религии!

— Верно, — подтвердил имам. — Они сбились с пути Господня давным-давно.

— А где в вашей религии Господь? — огрызнулся священник. — Ваш Аллах даже ни единого чуда вам не явил! Что это за религия такая — без чудес?

— А что это у вас за цирк такой с мертвецами,

которые из гробов скачут? Для нас, мусульман, главное чудо — вот оно: чудо бытия как оно есть! Птицы летают в поднебесье, дождь проливается в свое время, урожай зреет на полях. Каких еще чудес нам желать?

— Перышки и дождички — это, конечно, очень мило, но мы желаем знать, что Бог воистину с нами.

— Ой ли? А что вы сделали, когда Бог и вправду был с вами? Попытались убить его! Приколотили гвоздищами к кресту! Да уж, достойно встретили пророка, ничего не скажешь! Пророк Мухаммед, да пребудет с ним мир, как-то обошелся безо всей этой неприличной чепухи. Принес нам слово Божье и прожил почтенную жизнь. И упокоился в преклонном возрасте.

— Слово Божье?! Этот ваш безграмотный купец?! Тоже мне божественное откровение посреди пустыни! Да на него просто падучая нашла от верблюжьей качки! Или мозги напекло!

— Пророк, да пребудет с ним мир, нашел бы, чем вам ответить, будь он жив, — сощурил глаза имам.

— Да только помер он, вот незадача! Христос-то жив, а ваш старый «да пребудет с ним мир» — помер, помер, помер!

Но тут вмешался пандит, тихо промолвив потамильски:

— Не в этом дело. Вопрос в том, почему Писин связался с этими *чужеземными* религиями.

У имама и священника чуть глаза не выскочили из орбит. Оба были тамилами.

— Бог един для всех! — выпалил священник.

Имам решительно кивнул, переходя на сторону недавнего соперника:

— Есть только один Бог.

— Вот только мусульмане с этим своим единым Богом вечно бунтуют да смутьянят. Ясно как день, что ислам никуда не годится. Мусульманам невдомек, что такое настоящая культура! — провозгласил пандит.

— Что же, настоящая культура должна делить людей на касты? На рабов и господ? — пропыхтел имам. — Индуисты держат народ в рабстве и поклоняются разряженным куклам!

— И золотому тельцу, — подхватил священник. — Ползают на коленях перед коровами!

— А христиане ползают на коленях перед белым человеком! Прихвостни чужеземного бога! Да любому настоящему индийцу на них смотреть тошно!

— Точно, а еще свиней едят. И вообще, людо-

еды, — добавил имам, чтобы все было по-честному.

— Вопрос в том, — проговорил священник с холодной яростью, — что нужно Писину: *настоящая* религия или мифы из книжек с картинками?

— Боги — или идолы? — в тон ему торжественно вопросил имам.

— Наши боги — или боги поработителей? — прошипел пандит.

Раскраснелись все трое — трудно было сказать, кто сильнее. «Того и гляди передерутся», — мелькнуло у меня в голове.

Но тут отец примирительно простер к ним руки.

— Господа, господа, прошу вас! — вмешался он. — Позвольте вам напомнить, что в нашей стране признана свобода вероисповедания.

Три лица, багровые от злости, обратились к нему.

— Вот именно! Вероисповедания — одного! — возопили три волхва в один голос, и каждый наставительно воздел указующий перст, будто пресекая все возможные возражения жирным восклицательным знаком.

Но это невольное единодушие — что в возгласе,

что в жестах — только подлило масла в огонь. Руки тотчас опустились, и каждый служитель веры запричитал и завздыхал уже на свой лад. Отец и мать только смотрели на них, не зная, что и сказать.

Наконец к пандиту вернулся дар связной речи.

— Господин Патель! Набожность Писина достойна всякого восхищения. Всегда отрадно видеть юношу, столь страстно преданного Богу, а в наше беспокойное время — особенно. И все мы с этим согласны. — Имам и священник кивнули. — Но он не может быть индуистом, христианином и мусульманином *одновременно*. Это невозможно. Он должен выбрать что-то одно.

— Не вижу в этом ничего ужасного, но, полагаю, вы правы, — сказал отец.

Волхвы что-то пробормотали в знак согласия и вслед за отцом возвели очи к небесам, откуда, видимо, должно было снизойти решение. Только матушка смотрела на меня.

Тишина тяжко навалилась мне на плечи.

— Гм… ну, Писин? — поторопила меня матушка. — Что ответишь?

— Бапу Ганди сказал: «Все религии истинны». Я просто хочу любить Господа, — выпалил я и, покраснев, потупился.

Смущение мое передалось остальным. Никто не вымолвил ни слова. А мы, надо сказать, стояли неподалеку от статуи Ганди, изображавшей Махатму на прогулке — с тростью в руке, с усмешкой на губах и озорным прищуром. Хочется верить, что он слышал наш разговор, но куда внимательней прислушивался к тому, что творилось в моем сердце.

Отец кашлянул и проговорил вполголоса:

— По-моему, именно это мы все и стараемся делать — любить Господа.

Я чудом не захихикал. Услышать такое от человека, который на моей памяти ни разу не переступил порог храма с подобающими намерениями! Но, как ни смешно, это сработало. В самом деле, нельзя же упрекать мальчика за стремление любить Бога! Натянуто улыбаясь, три волхва отступили и двинулись дальше по своим делам.

Отец смерил меня долгим взглядом, будто хотел что-то сказать, но так и не собрался.

— Кому мороженого? — спросил он и, не дождавшись ответа, поспешил к ближайшему лотку.

Матушка смотрела на меня дольше — взглядом, полным нежного недоумения.

Вот так я и приобщился к межрелигиозному

диалогу. Отец купил три порции мороженого в вафельных стаканчиках, и мы съели его на ходу, продолжая воскресную прогулку в необычном для нас молчании.

24

То-то Рави повеселился, когда обо всем прослышал!

— Ну что, Свами Иисус, собираешься в хадж? — ухмыльнулся он и сложил перед собой ладони в намаскаре. — Мекка зовет небось? — И осенил себя крестом. — Или все-таки в Рим — станешь очередным папой Пием? — И начертал в воздухе греческую букву, дабы смысл насмешки от меня не укрылся. — А в иудеи почему до сих пор не подался? Обрезаться, что ли, никак не выберешься? С твоими темпами недолго и вечный праздник себе устроить. Сам смотри: по четвергам — к индуистам, по пятницам — в мечеть, по субботам — в синагогу, по воскресеньям — в церковь. Еще три религии — и дело в шляпе!

И прочие издевательства — все в том же духе.

25

Но этим дело не кончилось. Всегда найдутся любители встать на защиту Бога — как будто Высшая Реальность, эта неколебимая опора бытия, настолько слаба и беспомощна, что нуждается в их заботе. Такие типы запросто пройдут мимо прокаженной вдовы, вымаливающей несколько пайсов, а на беспризорных детишек в лохмотьях даже и не глянут. Для них это в порядке вещей. Но стоит им только почуять, что Бог в опасности, — и они уже тут как тут. Лица их багровеют, грудь вздымается негодованием, гневные речи так и рвутся с губ. Поразительно, до каких крайностей они доходят в своем возмущении. Страшно представить себе, на что они способны в своей решимости.

Одного они не понимают, эти люди, — того, что защищать Бога надо не снаружи, а внутри себя. Что всю свою ярость им не грех бы обратить на себя самих. Ведь что такое злоба, как не зло, извергшееся из нашей собственной души? И вовсе не на арене общественных дебатов вершится истинная битва добра и зла, а на крошечной площадке сердца. А защита куда нужнее вдовам

и бездомным сиротам, чем Богу.

Однажды какой-то невежа выгнал меня из Великой мечети. Когда я приходил в церковь, священник сверлил меня таким взглядом, что о чувстве благодати Христовой не стоило и мечтать. Не каждый брамин теперь допускал меня к даршану. О событиях моей религиозной жизни родителям доносили глухим, напористым шепотком — будто разоблачая чудовищную измену.

Можно подумать, Богу приятно смотреть на такое крохоборство!

Нет, по мне, религия взывает к нашему достоинству, а вовсе не к людским порокам.

Я перестал ходить в церковь Непорочного Зачатия — сменил ее на церковь Владычицы Ангелов.

Я больше не задерживался среди братьев моих по вере после пятничной молитвы. А в индуистский храм теперь заглядывал только в людные часы, чтобы браминам недосуг было встревать между мною и Богом.

26

Через несколько дней после той встречи на бульваре я собрался с духом и вошел к отцу в кабинет:

— Папа…

— Что, Писин?

— Я хочу принять крещение, а еще мне нужен молитвенный коврик.

Несколько секунд до него доходило. Потом он оторвался от газеты и переспросил:

— Что? Что тебе надо?

— Просто я не хочу пачкать брюки, когда молюсь на улице. А насчет этого… Понимаешь, я же хожу в христианскую школу — а крещения так до сих пор и не принял.

— Но зачем тебе молиться на улице? Постой, зачем тебе вообще молиться?

— Потому что я люблю Бога.

— А-а-а…

Мой ответ, похоже, застал его врасплох — чуть ли не смутил. Повисла тишина. Я уж подумал было: сейчас опять предложит мне мороженого.

— Ну, — протянул он наконец, — Пти-Семинер только по названию христианская школа. Там

полным-полно индуистов учится. Крестись не крестись, все равно научишься тому же, что и все. И Аллаху тут молиться без толку.

— Но я хочу молиться Аллаху! И христианином стать хочу.

— Так нельзя. Надо выбрать что-то одно.

— Но почему?!

— Это разные религии! Между ними даже ничего общего нет!

— Ничего подобного! Авраама и мусульмане, и христиане признают. Бог евреев и христиан — тот же Бог, что и у мусульман, — так они сами говорят. И Давида, Моисея и Иисуса мусульмане почитают как пророков.

— Но нам-то какое до этого дело, Писин? Мы же *индийцы*!

— Христиане и мусульмане уже не первый век живут в Индии! А кое-кто даже утверждает, что Иисус похоронен в Кашмире.

Отец не ответил, только взглянул на меня, наморщив лоб, и, видно, вспомнил, что дела не ждут.

— Поговори с матерью.

Матушку я застал за чтением.

— Мама?

— Что, солнышко?

— Я хочу принять крещение, а еще мне нужен молитвенный коврик.

— Поговори с отцом.

— Уже говорил. Он сказал, чтобы я поговорил с тобой.

— Да? — Матушка отложила книгу и глянула в окно — в сторону зоопарка. Наверняка отец почуял этот леденящий взгляд затылком и содрогнулся, так и не поняв от чего. Матушка привстала и повернулась к книжной полке. — У меня тут есть одна книжка… Тебе понравится! — Рука ее протянулась к томику Стивенсона. Обычная тактика.

— Я это уже читал, мама. Три раза.

— Ох… — Рука ее потянулась левее.

— И Конан Дойла тоже, — сказал я. Рука качнулась вправо.

— А Нараян? Ты же еще не всего Нараяна прочел!

— Мама, я серьезно. Для меня это важно.

— А «Робинзон Крузо»?!

— Мама!

— Да что же это такое, Писин!

Матушка опустилась в кресло. По лицу ее я прочел, что она намерена идти путем наименьшего сопротивления и не свернет с него до конца. Зна-

чит, предстояла борьба не на жизнь, а на смерть. Матушка поправила подушку под боком.

— Твой религиозный пыл — просто загадка какая-то. И папа тоже не понимает…

— Не загадка, а тайна, — поправил я.

— Гм… Я другое имела в виду. Послушай, солнышко, если тебе так уж нужна религия, ты должен выбрать что-то одно. Или индуизм, или христианство, или ислам. Ты же слышал, что тебе сказали — там, на бульваре.

— Не понимаю, почему я не могу исповедовать все сразу. Вот у Мамаджи — два паспорта. Индийский и французский. Почему же я не могу быть индуистом, христианином и мусульманином?

— Это другое дело. Франция и Индия — земные государства.

— А на небе сколько государств?

— Одно, — заявила она, подумав секундочку. — В том-то и дело. Одно государство. Один паспорт.

— Что, на небе — всего одно государство?

— Да. Или вообще ни одного. Такой вариант тоже возможен. Знаешь, сынок, все эти твои штуки — ужасно старомодные!

— Если на небе всего одно государство, разве туда не должны пропускать по всем паспортам?

Тень сомнения легла на ее лицо.

— Бапу Ганди сказал… — начал было я.

Но матушка меня перебила:

— Я уже слышала, что сказал Бапу Ганди. — Она потерла лоб и устало вздохнула: — Ну, как знаешь. Черт с тобой.

27

И вот какой разговор я подслушал тем вечером.

— Ты ему разрешила? — спросил отец.

— По-моему, он и тебя спрашивал. И ты его отослал ко мне, — сказала матушка.

— Разве?

— Да.

— Знаешь, я был ужасно занят…

— Сейчас-то ты не занят. Можно сказать, бездельничаешь в свое удовольствие. Если ты сейчас зайдешь к нему, выдернешь у него из-под ног этот его молитвенный коврик и решишь наконец этот вопрос с крещением раз и навсегда, я возражать не стану.

— Нет-нет… — По голосу я понял, что отец пытается угнездиться в кресле еще глубже. — Он этих религий нахватался, как собака блох, — добавил он. — Ничего не понимаю! Мы ведь современные индийцы, а Индия вот-вот станет по-настоящему современной прогрессивной страной. Как же нас угораздило вырастить сына, который возомнил себя реинкарнацией Шри Рамакришны?

— Если, по-твоему, госпожа Ганди — это со-

временно и прогрессивно, тут я могла бы и поспорить, — заметила матушка.

— Госпожа Ганди — это не навсегда! Ничто не может встать на пути прогресса! Все мы должны шагать под его барабан. Новые технологии полезны, а полезные идеи распространяются вопреки всем препонам, и против этого не попрешь. Если не пользоваться новыми технологиями и не принимать новые идеи, остается только одно — назад к динозаврам! И тут меня никто не переубедит. Госпожа Ганди со всеми своими глупостями уйдет в прошлое. И настанет время Новой Индии.

(Да, госпоже Ганди и впрямь предстояло уйти в прошлое. А Новой Индии в лице одного ее апологета с женой и детьми — принять решение о переезде в Канаду.)

— Ты слышала, что он брякнул? — продолжал между тем отец. — «Бапу Ганди сказал: „Все религии истинны“».

— Да.

— *Бапу*Ганди? То есть он уже с Ганди на короткой ноге! Сегодня — папа Ганди, а завтра что? Дядя Иисус? Да и потом, что это еще за чушь насчет ислама? Он что, заделался *мусульманином*?

— Похоже на то.

— Мусульманин, значит… Набожный индуист

— это куда ни шло, это я могу понять. Христианин в придачу — хоть с трудом, но в голове еще укладывается. В конце концов, христиане здесь уже не первый век: святой Фома, святой Франциск Ксавье, миссионеры все эти… И школы у них хорошие.

— Да.

— Короче, со всем этим я еще могу смириться. Но *ислам*?! Он же совершенно чужд нашим традициям! Мусульмане — чужаки!

— Они здесь тоже не первый век. И потом, их в сотни раз больше, чем христиан.

— Какая разница? Все равно они чужаки.

— Может, Писин шагает под другой барабан.

— Ты что, его защищаешь? Тебя не волнует, что он вообразил себя мусульманином?

— А что мы тут можем поделать, Сантуш? Для него это серьезно, но вреда-то никакого! Может, само пройдет? Уйдет в прошлое — как госпожа Ганди.

— Ну почему бы ему не увлечься чем-нибудь другим, чем положено мальчишке в его возрасте? Вот Рави молодец — думает только о крикете, кино и музыке.

— Думаешь, это лучше?

— Да нет, нет. Ох, не знаю, что и думать. Такой

был трудный день… — Отец вздохнул. — И до чего он, интересно, дойдет с этим своим увлечением?

Матушка хмыкнула:

— На прошлой неделе он дочитал книжку под названием «Подражание Христу».

— *Подражание* Христу?! Ну и ну. Вот я и спрашиваю: до чего он дойдет? — воскликнул отец.

И оба рассмеялись.

28

Свой молитвенный коврик я очень любил. Вообще-то он был самый обычный, но в моих глазах сиял необыкновенной красотой. До сих пор жалею, что он пропал. Любой клочок земли, на котором я его расстилал, становился для меня родным, как и все вокруг. А это, по-моему, — верный признак того, что коврик был и вправду хорош: ведь он напоминал, что вся земля — творение Божье и все, что ни есть на ней, — священно. Украшал его простенький золотой орнамент на красном фоне: узкий прямоугольник с треугольником на одном боку, который полагалось направлять острием в сторону киблы (туда же, куда ты повернут лицом во время молитвы), и плавающие вокруг завитушечки, как кольца дыма или надстрочные знаки какой-то незнакомой письменности. Ворс был мягкий. Когда я падал ниц, лоб мой касался коврика в нескольких дюймах от коротенькой бахромы по одну его сторону, а кончики пальцев на ногах — в нескольких дюймах от бахромы с противоположной стороны. Очень уютно: где б ты ни оказался на этой огромной земле, с таким ковриком сразу

почувствуешь себя как дома.

Я молился под открытым небом — так мне больше нравилось. Чаще всего я расстилал свой коврик во дворе за домом — в уединенном уголке под сенью кораллового дерева и ветвей бугенвиллеи, оплетавших его ствол и ограду. Чудесное было сочетание — пурпурные прицветники бугенвиллеи и красные цветы кораллового дерева. А вдоль стены стояли в ряд горшки с пуансеттиями. В пору цветения дерево так и кишело птицами — сюда слетались вороны и майны, розовые скворцы, нектарницы и попугаи. Справа от меня смыкались под тупым углом стены ограды. Впереди и по левую руку простирался залитый солнцем двор, на который отбрасывало расплывчатую резную тень мое коралловое дерево. Конечно, все менялось с переменой погоды, в разное время года и дня. Но в памяти моей все сохранилось так отчетливо, будто не менялось никогда. Я обращался лицом в сторону Мекки, ориентируясь на линию, которую прочертил там, на бледно-желтой земле, и регулярно подновлял.

Оборачиваясь после молитвы, я иногда замечал, что отец или матушка, а то и Рави подглядывают за мной. Потом им надоело.

С крещением вышло не совсем гладко. Матуш-

ка сыграла свою роль как нельзя лучше, но отец стоял с каменным лицом, а Рави впоследствии не поскупился на пространные отзывы об этой церемонии, хоть и милостиво предпочел ей крикетный матч. Помню, как вода стекала по лицу и шее тонкими струйками: одна-единственная чаша воды освежила меня, как настоящий муссонный дождь.

29

Почему люди переезжают в чужие края? Что заставляет их сниматься с насиженных мест и бросать все нажитое ради великой неизвестности, распростершейся где-то там, за горизонтом? Чего ради они решаются штурмовать этот Эверест формальностей и процедур, от которых начинаешь чувствовать себя нищим попрошайкой? Чего ради они бросаются очертя голову в эти джунгли неизведанного, где все так необычно, странно и сложно?

Ответ всегда один — один для всех: люди переезжают в чужие края в надежде на лучшую жизнь.

В середине семидесятых в Индии наступили беспокойные времена. Я догадывался об этом по морщинам, собиравшимся у отца на лбу всякий раз, когда он разворачивал газету. И по обрывкам его разговоров с матушкой, Мамаджи и другими знакомыми. Не то чтобы я не понимал, к чему они клонят, — нет, просто меня это не интересовало. Орангутаны по-прежнему лопали чапатти так, что за ушами трещало; мартышки никогда не спрашивали, что новенького слышно из Де-

ли; носороги все так же мирно сосуществовали с козами; птицы щебетали; тучи проливались дождем; солнце припекало; земля дышала; Бог просто был и никуда деться не мог, — а значит, все в моем мире оставалось в полном порядке.

Но отца госпожа Ганди все-таки доконала. В феврале 1976-го указом из Дели было смещено правительство Тамилнада. Туда входили противники госпожи Ганди, из числа самых рьяных. Смену власти провели быстро и без шума — глава кабинета министров Карунанидхи «сложил с себя полномочия», то есть, попросту говоря, сел под домашний арест. Кому какое дело было до падения одного местного правительства, когда вот уже восемь месяцев конституция всей страны висела на волоске? Но в глазах отца это событие увенчало собой воздвигнутую госпожой Ганди башню диктатуры. Верблюду в зоопарке было хоть бы хны, но последняя эта соломинка сломала спину отца.

— Скоро она заявится к нам в зоопарк, — воскликнул он, — и скажет, что в тюрьмах уже не хватает места. И спросит: «А нельзя ли посадить Десая со львами?»

Морарджи Десай — это был политик-оппозиционер. Противник госпожи Ганди. Меня так

огорчало, что отец постоянно беспокоился. По мне, так пусть бы госпожа Ганди хоть собственноручно забросала зоопарк гранатами — я бы и бровью не повел, если бы не отец. Но отец места себе не находил, и я тоже. До чего же тяжело, когда твой отец так переживает!

А переживал он ужасно. Всякий бизнес — дело рискованное, а мелкий — в особенности, потому как в этом деле рискуешь не просто так, а самой что ни на есть распоследней рубашкой. Зоопарк — культурное учреждение, вроде публичной библиотеки или музея. Он призван служить народному просвещению и науке, а потому особой прибыли не приносит: Вящее Благо с Вящей Выгодой не сочетались, к вящей досаде отца, никоим образом. Так что богачами мы не были, уж во всяком случае по канадским стандартам. Хоть мы и обзавелись кучей зверья, но дать своим питомцам (да и себе самим, коли уж на то пошло) надежную крышу над головой так и не смогли. Зоопарку, как и его обитателям в природе, опасности грозят со всех сторон. Бизнес этот не настолько крупный, чтобы подняться над законом, но и не настолько мелкий, чтобы уютно устроиться где-то на его задворках. Чтобы зоопарк процветал, необходимы парламентская

система и демократические выборы, свобода слова, печати и собраний, всеобщее равенство перед законом и прочие права и свободы, запечатленные в индийской конституции. Иначе любоваться животными невозможно. И вообще, скверная политика со временем сказывается на любом бизнесе самым скверным образом.

Люди переезжают в чужие края, когда тревога измотает их вконец. Когда не могут больше сносить это гнетущее ощущение: сколько ни вкалывай, а все твои усилия рано или поздно пойдут прахом и все, что ты собирал по крупицам долгие годы, кто-нибудь уничтожит в единый миг. Когда понимают, что у них нет будущего, что сами-то они еще как-нибудь перебьются, но дети их уже обречены. Когда чувствуют, что здесь уже ничего не изменится, что счастье и благоденствие возможны где угодно, но только не здесь.

Новая Индия рухнула и разбилась вдребезги — так, по крайней мере, посчитал отец. Матушка была того же мнения: пора делать ноги.

Нам с Рави сообщили эту новость однажды за ужином. Мы ушам своим не поверили! *Канада!* Да если Андхра-Прадеш,[9] северный наш сосед,

[9] Примечания: 9

Андхра-Прадеш — штат в Индии, в центральной части полуострова Индостан.

и тот был чужедальней землей, а Шри-Ланка — обратной стороной Луны, даром что Полкский пролив[10] обезьяна одним прыжком перемахнет, то можете представить себе, чем была Канада. Пустым звуком, вот чем. Вроде как Тимбукту — такое место, что отовсюду покажется у черта на куличках.

[10] Примечания: 10

Полкский пролив — пролив в Индийском океане, между полуостровом Индостан и северной оконечностью острова Шри-Ланка.

30

Он, оказывается, женат. Я наклоняюсь разуться и слышу вдруг: «Познакомьтесь с моей супругой!» Поднимаю голову — вот так сюрприз! Рядом с ним стоит госпожа Патель. «Здравствуйте! — Она с улыбкой протягивает руку. — Писин о вас много рассказывал». Не могу ответить ей тем же. Я и понятия не имел, что она существует. Она торопится, так что мы успеваем обменяться лишь парой фраз. Она тоже индийка, но, должно быть, во втором поколении — выговор у нее канадский. Она чуть моложе мужа и чуть смуглее. Длинные черные волосы заплетены в косу. Блестящие темные глаза, восхитительно белые зубы. В руках — запечатанный полиэтиленовый пакет с белым халатом, только что из химчистки. Госпожа Патель — фармацевт. «Рад познакомиться, госпожа Патель», — говорю я и слышу в ответ: «Просто Мина, пожалуйста». Чмокнув мужа в щеку, она убегает — у нее рабочая смена, хотя сегодня и суббота.

Итак, этот дом — не просто ящик с иконами. Теперь-то я начинаю замечать следы и приметы

супружеской жизни. Они и раньше были на виду, просто я их не видел — потому что интересовался другим.

Как он застенчив. Жизнь научила его не выставлять самое дорогое напоказ.

Так вот, значит, кто терзал мой желудок южноиндийскими яствами!

— Я приготовил вам чатни, — объявляет он. — По особому рецепту. — И улыбается.

Нет, все-таки не она.

31

Однажды мистеру Кумару довелось встретиться с мистером Кумаром, то есть пекарю — с учителем. Первый изъявил желание посетить зоопарк:

— Столько лет живу оттуда в двух шагах, а так и не побывал ни разу. Может, сводишь меня?

— Конечно, — сказал я. — Почту за честь.

И мы уговорились, что завтра после школы я буду ждать его у главных ворот.

В тот день я просто извелся. И все корил себя: «Дурак ты, дурак! Зачем сказал „у главных ворот“? Ну кто тебя за язык тянул? Там же народу — не протолкнуться! Забыл, какой он неприметный? Тебе же нипочем его в толпе не узнать!» Если я его не замечу и пройду мимо, он обидится. Решит, что я передумал и не хочу показываться на людях с нищим пекарем-мусульманином. И уйдет, так меня и не окликнув. Сердиться он, конечно, не станет — сделает вид, что поверил, будто я ничего не видел против солнца, — но впредь о походе в зоопарк даже не заикнется. Так оно все и будет, как пить дать. Нет, я просто *обязан* его узнать. Спрячусь где-нибудь и буду

смотреть внимательно на всех, кто хоть немного да похож на него, — смотреть, пока не уверюсь, что это точно он. Однако я уже давно заметил: когда сильно стараешься, узнать его еще труднее. От самих усилий я словно слепнул.

В условленный час я встал прямо перед главными воротами и принялся обеими руками тереть глаза.

— Что ты делаешь?

Это был Радж, мой приятель.

— Я занят.

— Чем? Глаза трешь?

— Отстань.

— Пошли на Бич-роуд.

— Я жду одного человека.

— Ты его пропустишь, если будешь так тереть глаза.

— Спасибо за совет. Иди развлекись там, на Бич-роуд.

— А в Правительственный парк не хочешь?

— Сказал же — не могу!

— Да ладно тебе, пойдем.

— Оставь меня в покое, Радж! Я тебя прошу!

Он ушел, а я остался стоять и тереть глаза.

— Привет, Пи! Поможешь мне с домашним заданием по математике?

Аджитх, другой приятель.

— Позже. Уйди.

— Здравствуй, Писин!

Госпожа Радхакришна, мамина подруга. Ее я быстро спровадил.

— Извините, не подскажете, как пройти на Лапорт-стрит?

Незнакомец.

— Вон туда.

— Сколько стоит билет в зоопарк?

Еще незнакомец.

— Пять рупий. Касса — там.

— Тебе что, хлорка в глаза попала?

Мамаджи.

— Привет, Мамаджи. Нет, это я так.

— Отец где-то здесь?

— Наверное.

— Завтра утром увидимся.

— Да, Мамаджи.

— Я тут, Писин!

Я так и замер, не отняв руки от глаз. Этот голос. Привычно странный, странным образом привычный. Губы мои сами собой растянулись в улыбке.

— *Салям алейкум*, мистер Кумар! Как я рад вас видеть!

— *Ва алейкум ассалям*. Что у тебя с глазами?

— Ничего. Просто пыль попала.

— Красные они что-то.

— Ничего страшного.

Он двинулся было к кассе, но я остановил его:

— Нет-нет, учитель. Вам не надо.

Гордо отмахнувшись от билетера, я провел мистера Кумара в ворота.

Он дивился всему — и тому, что высокие жирафы под стать высоким деревьям, и тому, что у хищников есть травоядные, а у травоядных — трава, и тому, как делят между собою день и ночь разные звери, и тому, что острые клювы даны тем, кому нужен острый клюв, а гибкие лапы — тем, кому нужны гибкие лапы. Глядя на его восторги, я радовался от души.

— «Знамения людям разумным», — процитировал он Священный Коран.[11]

Мы подошли к зебрам. Мистер Кумар не то что не видел таких созданий — сроду о них не слышал. Он буквально оцепенел.

— Это зебры, — сказал я.

— Их что, раскрасили кисточкой?

---

[11] Примечания: 11

Коран, глава 2, сура 164: «Поистине, в творении небес и земли, в смене ночи и дня, в корабле, который плывет по морю с тем, что полезно людям, в воде, что Аллах низвел с неба и оживил ею землю после ее смерти, и рассеял на ней всяких животных, и в смене ветров, и в облаке подчиненном, между небом и землей, — знамения людям разумным!»

— Нет-нет, они такие и есть.

— А если дождь пойдет?

— Ну и что?

— Полоски не смоются?

— Нет.

Я в тот день захватил несколько морковок. Осталась одна — крупная, крепкая. Я достал ее и протянул было мистеру Кумару, но тут откуда-то справа донесся скрип гравия. К нам приближался, прихрамывая и переваливаясь по обыкновению, мистер Кумар-учитель.

— Здравствуйте, сэр.

— Здравствуй, Пи.

Пекарь, человек скромный, но всегда державшийся с достоинством, кивнул учителю. Тот кивнул в ответ.

Умница зебра заметила морковку у меня в руке и подошла к заборчику, прядая ушами и негромко притопывая. Я разломил морковку пополам: половину — мистеру Кумару, половину — мистеру Кумару.

— Спасибо, Писин, — сказал один.

— Спасибо, Пи, — сказал другой.

Мистер Кумар первым подошел к заборчику и протянул зебре угощение. Толстые, сильные черные губы сомкнулись на куске моркови. Ми-

стер Кумар не отпускал. Тогда зебра впилась в морковку зубами и перекусила ее. Громко похрустела секунду-другую и потянулась за остатком, обхватив губами пальцы мистера Кумара. Тот наконец отпустил морковь и коснулся мягкого носа зебры.

Настал черед мистера Кумара. Он не стал досаждать зебре лишний раз — отпустил лакомство, как только та ухватила его губами. Половинка моркови тотчас исчезла у зебры во рту.

Мистер Кумар и мистер Кумар были в полном восторге.

— *Зебра,* говоришь? — переспросил мистер Кумар.

— Ага, — кивнул я. — Принадлежит к тому же роду, что осел и лошадь.

— «Роллс-ройс» в мире лошадиных, — добавил мистер Кумар.

— Какое чудо! — сказал мистер Кумар.

— Зебра Гранта, — уточнил я.

— *Equus burchelli boehmi,* — сказал мистер Кумар.

— *Аллах акбар,* — сказал мистер Кумар.

— Очень красивая, — сказал я.

И мы еще немного постояли у загона.

32

Известно множество случаев, когда животные устраиваются в жизни удивительнейшим образом. Звери тоже не чужды антропоморфизму — точнее, зооморфизму: это когда животное принимает человека или другое животное за представителя своего же вида.

Самый известный тому пример, и чаще всего встречающийся, — когда собака включает людей в свой собачий мир до такой степени, что начинает видеть в них подходящих партнеров для случки. Это вам подтвердит любой собачник, которому приходилось оттаскивать своего любвеобильного питомца от ноги оскорбленного гостя.

Наш бразильский агути прекрасно уживался с пятнистой пакой — они даже спали вместе, свернувшись в один клубок, пока агути не украли.

О нашем козо-носорожьем стаде я уже рассказывал, и о цирковых львах тоже.

Подтверждаются истории о том, как дельфины выталкивали на поверхность и поддерживали тонущих моряков — точно так же, как эти морские млекопитающие помогают друг другу.

Еще я читал о горностае, который подружился с

крысой, — притом что других крыс по-прежнему пожирал, как это и положено горностаям.

Такой необъяснимый сбой в отношениях между хищником и жертвой мы однажды наблюдали и сами. Один мышонок продержался в террариуме с гадюками *несколько недель.* Другие мыши и двух дней не могли протянуть, а этот бурый Мафусаильчик успел соорудить себе гнездо и набить несколько кладовок крупой, которую мы ему подсыпали, — и шнырял при этом прямо перед носом у змей. Вот удивительно! Мы даже специальную табличку повесили для посетителей. И кончилась эта история тоже занятно: нашего чудесного мышонка укусила молодая гадюка. Может, она не знала, что он на особом положении? Или не успела к нему привыкнуть, как остальные? Одним словом, укусить-то она его укусила, но не сожрала. А слопала его, причем немедленно, одна из гадюк-старожилов. Молодая только разрушила чары. И все вернулось на круги своя: впредь ни одна мышь не задерживалась в террариуме надолго — все должным образом исчезали в глотках гадюк.

Новорожденных львят в зоопарках иногда выкармливают собаки. Со временем львята становятся крупней и куда опасней своей кормилицы,

но никогда ее не обижают, а она по-прежнему сохраняет спокойствие и чувство власти над выводком. Опять-таки приходится вывешивать специальные таблички, чтобы посетители не подумали, будто собаку бросили львам как живой корм (точь-в-точь как мы повесили табличку, где объяснялось, что носороги — животные травоядные и коз не едят).

Чем же можно объяснить явление зооморфизма? Неужто носороги не в состоянии отличить большое от маленького, грубую шкуру — от мягкой шерсти? Или тот же дельфин: он что, не понимает, как на самом деле выглядят дельфины? По-моему, разгадка кроется в том, о чем я уже упомянул, — в той частице безумия, что движет жизнью странным, но порой спасительным образом. Бразильскому агути, как и носорогам, нужна была компания. Цирковым львам наплевать, что их вожак — хлипкий человечишка: главное, что вера в него гарантирует им прочный социальный статус и спасает от опасностей анархии. А львята перепугались бы до полусмерти, узнай они, что их мать — собака: ведь это означало бы, что они сироты, а что может быть ужаснее для любого теплокровного малыша? Я и насчет той старой гадюки, сожравшей мышонка, убежден: где-то

в недрах ее недоразвитого умишка шевельнулось сожаление — вот, она проворонила что-то важное, упустила случай вырваться из плена одинокой и грубой реальности пресмыкающегося.

33

Он показывает мне семейные реликвии. Первым делом — свадебные фотографии. Свадьба индуистская, но Канада так и лезет в кадр. Он сам — только помоложе, и она — помоложе. Медовый месяц они провели у Ниагарского водопада. Чудесное было время. Улыбки — тому доказательство. Движемся дальше в прошлое. Фото студенческих лет в Торонтском университете: с друзьями; на фоне Сент-Майка; в его комнате; на Джеррард-стрит во время праздника Дивали; в белом облачении за кафедрой церкви Святого Василия; в белом халате в лаборатории зоологического факультета; в выпускной день. На лице — неизменная улыбка, но глаза говорят совсем о другом.

Снимки из Бразилии — трехпалые ленивцы in situ в превеликом множестве.

Мы переворачиваем страницу и переносимся по ту сторону Тихого океана… но там — пустота. Жалкие несколько снимков. Он поясняет, что аппарат исправно щелкал по всем подобающим случаям, но все пропало. То немногое, что сохранилось, собрал — уже после — и переслал ему

почтой Мамаджи.

На одной фотографии — зоопарк, запечатленный в день визита какой-то важной персоны. Незнакомый черно-белый мир предстает моим глазам. Целая толпа, а в центре всеобщего внимания — член Совета министров. На заднем плане — жираф. Чуть в стороне от толпы — господин Адирубасами, еще не старый.

— Мамаджи? — спрашиваю я, указывая на знакомое лицо.

— Да, — отвечает он.

Рядом с министром — представительный мужчина: очки в роговой оправе, прическа — волосок к волоску. Очень может быть, что это и есть господин Патель, вот только лицо у него круглей, чем у сына.

— Ваш отец? — спрашиваю я.

— Нет, я не знаю, кто это, — качает он головой.

И, помолчав, добавляет:

— Отец фотографировал.

На той же странице — еще один групповой снимок. В основном школьники.

— А вот и Ричард Паркер, — показывает он.

Я замираю от удивления. И всматриваюсь внимательно, пытаясь оценить характер по

внешности. Увы, и это фото — черно-белое, да еще и малость смазанное вдобавок. Сделано в лучшие времена, мимоходом. Ричард Паркер смотрит куда-то в сторону. Вообще не замечает, что его снимают.

Вторую страницу разворота целиком занимает цветной снимок плавательного бассейна при ашраме Ауробиндо. Замечательный большой бассейн под открытым небом: искрящаяся на солнце вода, чистое голубое дно, глубокий участок для прыжков в воду.

На следующей странице — ворота Пти-Семинер. Арка украшена девизом школы: Nil magnum nisi bonum. Нет величия без добродетели.

Вот и все. От всего детства — лишь четыре фотографии, да и те случайные.

Лицо его омрачается.

— Хуже всего, — говорит он, — что я уже с трудом припоминаю, как выглядела мать. Пытаюсь вызвать в памяти ее лицо — оно появляется, но тут же исчезает, не могу даже рассмотреть толком. И с голосом — та же история. Все бы вернулось, если бы я еще хоть разок ее увидел — пусть даже мимоходом, на улице. Но это вряд ли. Как же это грустно — когда забываешь, как выглядела твоя мать!

И он закрывает альбом.

34

— Мы пустимся в плавание, как Колумбы! — сказал отец.

— Колумб искал Индию, — хмуро напомнил я.

Зоопарк мы распродали подчистую. К новой жизни на новом месте! Так мы не только обеспечили своим питомцам счастливое будущее, но и наскребли деньжат на переезд, да еще кое-что оставалось, чтобы начать все с нуля в Канаде (правда, теперь, задним числом, сумма кажется смехотворной… вот уж и впрямь, деньги глаза застят!). Можно было распродать зверей индийским зоопаркам, но американские платили щедрее. А тут как раз вступила в силу CITES — Конвенция по международной торговле исчезающими видами, и захлопнулось окошко, позволявшее торговать отловленными на воле дикими животными. Отныне будущее зоопарков целиком и полностью зависело от других зоопарков. Так что Пондишерийский зоопарк вовремя прикрыл лавочку. За нашими зверьми целая очередь выстроилась. В конце концов мы продали почти всех Чикагскому зоопарку имени Линкольна и еще одному, который вот-вот должен был открыться в Миннесоте,

а остатки разошлись по зоопаркам Лос-Анджелеса, Луисвилла, Оклахомы и Цинциннати.

А двух зверей предстояло доставить морем в Канадский зоопарк — меня и Рави. Именно так и виделся нам грядущий переезд. Мы не хотели ехать. Не хотели в страну ураганных ветров и двухсотградусных морозов. К тому же Канады не было на крикетной карте. Впрочем, собирались мы так долго, что успели смириться с неизбежным. На приготовления ушло больше года. Загвоздка была не в нас — в животных. Ну не странно ли? Если учесть, что животным не нужны одежда, обувь и постельное белье, мебель, посуда и туалетные принадлежности, что национальность для них — пустой звук, что плевать они хотели на все паспорта и деньги, рабочие места и школы, цены на жилье и медицинские услуги, — одним словом, если учесть, как легко им живется, просто диву даешься, как трудно их перевезти с места на место. Перевезти зоопарк — все равно что перевезти город.

Писанины было невпроворот. На одну только наклейку марок извели, наверное, литры воды. *Уважаемый господин такой-то* — и так сотни и сотни раз. Предложения о продаже. Вздохи. Сомнения. Пререкания и споры. Запросы в высшие

инстанции. Попытки сойтись в цене. Окончательные договоренности. Подписи обеих сторон. Поздравления. Добывание справок о происхождении. Медицинских справок. Разрешения на вывоз. Разрешения на ввоз. Выяснение карантинных предписаний. Организация перевозки. И каждый раз — уйма денег на телефонные звонки. Есть у работников зоопарка такая шутка, правда, уже навязшая в зубах: бумаги на продажу землеройки весят больше слона, бумаги на продажу слона весят больше кита, но боже упаси вас попытаться продать кита! Такое впечатление, что зануды-бюрократы, эти спецы по ловле блох, выстроились цепью от Пондишери через Дели и Вашингтон аж до Миннеаполиса, и у каждого — свои бланки, свои вопросы и сомнения. Наверное, доставить зверей на Луну и то было бы проще. Отец рвал на себе последние волосы и не раз уже был близок к тому, чтобы сдаться и на все плюнуть.

Случались и неожиданности. Почти всех наших птиц, черепах и змей, равно как и лемуров, носорогов, орангутанов, мандрилов, силенов, жирафов, муравьедов, тигров, леопардов, гепардов, гиен, зебр, гималайских медведей и губачей, индийских слонов и нилгирийских таров оторва-

ли с руками, но кое-кого — да хоть ту же Эльфи — встречали далеко не так радушно.

— Удаление катаракты! — негодовал отец, потрясая письмом. — Возьмут, но при условии, что мы удалим ей катаракту на правом глазу! Это гиппопотамше-то! Может, нам еще и носорогам пластические операции сделать?

Некоторых наших зверей — львов, например, и бабуинов — сочли «слишком обыкновенными». Отец благоразумно выменял их на орангутана из Майсурского зоопарка и шимпанзе — из Манильского. (А Эльфи провела остаток своих дней в зоопарке Тривандрама.) Из одного зоопарка пришел заказ на «настоящую священную корову» — для детского уголка. Отец отправился в джунгли пондишерийского рынка и купил упитанную корову с темными влажными глазами и прямыми рогами, так бодро стоящими торчком, будто она лизнула электрическую розетку. Потом отец выкрасил ей рога в ярко-оранжевый цвет и подвесил на вымя пластмассовые колокольчики — и корова стала совсем как настоящая.

Потом к нам заявилась делегация — три американских гостя. Я смотрел во все глаза: никогда раньше не видел живого американца! Такие розовые, пухлые, дружелюбные, очень сведущие в

своем деле и ужасно потливые. Приехали осмотреть наших животных. Для начала напичкали почти всех снотворным — и вперед! Чего они только не вытворяли. И стетоскопы им к сердцу прикладывали, и мочу и кал изучали, точно гороскопы, и кровь на анализы брали, и все горбы и шишки ощупывали, и зубы простукивали, и в глаза светили фонариками, и за шкуру щипали, и волоски выдергивали. Бедные-несчастные зверушки! Решили небось, что их призывают в армию США. А нам от американцев достались улыбки до ушей и сокрушительные рукопожатия.

В результате животные — как и мы — получили-таки разрешение на выезд. И стали они без пяти минут янки, а мы — без пяти минут канадцы.

35

Мы вышли из Мадраса 21 июня 1977 года на японском сухогрузе «Цимцум», приписанном к панамскому порту. Судно было огромное, величественное. Командный состав — сплошь японцы, а матросы — с Тайваня. В день отъезда из Пондишери я попрощался с Мамаджи, с мистером Кумаром и мистером Кумаром, со всеми своими друзьями и даже с целой кучей незнакомых людей. Матушка нарядилась в свое лучшее сари, а длинную, искусно заплетенную косу уложила на затылке кольцами и украсила жасминовой гирляндой. Какая она была красивая в тот день! Красивая и печальная. Ведь она навсегда расставалась с Индией — с ее жарой и муссонами, рисовыми полями и рекой Каувери, с ее побережьями и каменными храмами, воловьими упряжками и разноцветными фургончиками, с друзьями и знакомыми лавочниками, с улицей Неру и бульваром Губерта Салаи, — да мало ли с чем еще! С такой привычной, такой любимой Индией. Мужчинам (а я тоже воображал себя мужчиной, хотя мне было всего шестнадцать) уже не терпелось пуститься в путь — в душе мы

уже были виннипегцами, — а она все медлила.

За день до отъезда она показала на разносчика сигарет и на полном серьезе спросила:

— Может, купим пару пачек?

— В Канаде тоже есть табак, — резонно заметил отец. — Да и зачем нам сигареты? Мы же не курим.

Да, верно, в Канаде тоже есть табак… Но есть ли там сигареты «Голд Флейк»? Есть ли там мороженое «Арун»? А велосипеды «Хироу»? Телевизоры «Онида»? Автомобили «Амбассадор»? Книжные лавки Хиггинботама? По-моему, именно такие вопросы и крутились у матушки в голове, когда она предложила купить сигарет.

Животным вкололи снотворное, клетки загрузили в трюм и надежно закрепили, нам четверым выделили койки — и вот уже отданы швартовы и отсвистели прощальные свистки. Пока «Цимцум» выводили в открытое море, я стоял на палубе и махал руками как сумасшедший — прощался с Индией. Светило солнце, дул ровный ветер, и чайки вскрикивали у нас над головами. Я был просто сам не свой от волнения.

Все обернулось совсем не так, как мы рассчитывали, — но что тут поделаешь? Жизнь надо принимать такой, какой она тебе достается, — но

уж от этого стараться взять все самое лучшее.

36

Города в Индии огромные и битком набитые — не протолкнешься. Но стоит выбраться за город, на необжитые просторы, — и за целые дни пути, бывает, ни души не встретишь. Помню, я все гадал: куда же попрятались девятьсот пятьдесят миллионов индийцев?

Вот так же и у него дома.

Рановато я пришел. Только занес ногу над цементной ступенькой крыльца, как навстречу мне из дому выскакивает какой-то парнишка. На нем бейсбольная форма, в руках — бейсбольное снаряжение. Торопится, видно. Но при виде меня застывает от удивления — не ожидал. Оборачивается и кричит в открытую дверь:

— Па-ап! Твой писатель пришел.

И мне, уже на бегу:

— Здрасте!

Его отец выходит на крыльцо:

— Доброе утро.

— Это был ваш сын? — спрашиваю я недоверчиво.

— Да. — Он улыбается, довольный. — Жаль, что вы толком не познакомились. Он на тренировку

опаздывает. Его зовут Никхил. Но лучше попросту — Ник.

Вот мы уже и в прихожей.

— Не знал, что у вас есть сын, — говорю.

И тут раздается лай. Пыхтя и пофыркивая, навстречу мне вылетает собачонка — черно-бурая, беспородная. Прыгает вокруг меня на задних лапах.

— Да еще и собака, — добавляю я.

— Она не кусается. Тата, сидеть!

Тата хоть бы ухом повела.

— Здрасте! — снова доносится до меня. Звучит не так отрывисто и напористо, как у Ника, а протяжно, немножко в нос, чуть плаксиво: «Здра-а-а-а-а-а-а-у-у-у-у-сте», — и на это «а-а-а-а-а-а-у-у-у-у» я вздрагиваю и оборачиваюсь, будто меня тронули за плечо или дернули за штанину.

За открытой дверью гостиной стоит, прислонившись к дивану, и застенчиво глядит на меня смуглая малышка в милом розовом платьице. На руках у нее — рыжий кот. Она держит его под грудь: передние лапы торчат вперед, голова втянута в плечи, а остальное свисает до пола. Висит, как костюм на вешалке, но, похоже, ему это даже нравится.

— А это ваша дочь, — догадываюсь я.

— Да. Уша. Уша, солнышко мое, ты уверена, что Мокасину так удобно?

Уша отпускает Мокасина. Тот невозмутимо шлепается на пол.

— Здравствуй, Уша, — говорю я.

Она подходит ближе и глядит на меня из-за папиной ноги.

— Ну что ты, детка? — спрашивает он. — Чего ты прячешься?

Она не отвечает — только смотрит на меня с улыбкой и прячет лицо.

— Сколько тебе лет, Уша? — спрашиваю я.

Молчание.

Тогда Писин Молитор Патель, всем известный попросту как Пи Патель, наклоняется и подхватывает дочку на руки.

— Ты ведь знаешь, как ответить? А? Тебе четыре годика. Один, два, три, четыре.

С каждой цифрой он легонько нажимает ей на носик указательным пальцем. Малышку это страшно смешит. Она хихикает и утыкается лицом ему в шею.

Кончается эта история очень хорошо.

Часть II
ТИХИЙ ОКЕАН

37

Судно затонуло. С гулким, утробным скрежетом — будто рыгнуло. Обломки всплыли, а потом исчезли. Все стонало — море, ветер, мое сердце. Я выглянул из шлюпки и, кажется, заметил…

И воскликнул:

— Ричард Паркер, ты? Не вижу. Скорей бы кончился дождь! Ричард Паркер? Ричард Паркер? Ведь это ты!

Вот уже показалась его голова. Он силился удержаться на плаву.

— Иисус, Мария, Мухаммед, Вишну! Как же я рад тебя видеть, Ричард Паркер! Ну же, держись. Давай к шлюпке. Слышишь, я свищу? *ТРЛИ-И-И-И-И-И! ТРЛИ-И-И-И-И-И! ТРЛИ-И-И-И-И-И!* Молодчина. Плыви, плыви! Ты же классный пловец. Тут не больше ста футов.

Он заметил меня. Вид у него был жуткий, перепуганный. Он поплыл прямо ко мне. Вода вокруг него забурлила. А он казался таким маленьким, таким беспомощным.

— Ричард Паркер, да что же это такое? Неужели страшный сон? Скажи — да. Скажи, ведь я у себя в койке, на «Цимцуме», и, хоть меня швыряет и

качает, я скоро проснусь — и кошмару конец? Скажи, ведь я все такой же молодец? Мама, дорогой мой мудрый ангел-хранитель, где же ты? А ты, папа, любимый мой непоседа? А ты, Рави, неподражаемый герой моего детства? Храни меня, Вишну, храни меня, Аллах, спаси меня, Христос, я этого не вынесу! *ТРЛИ-И-И-И-И-И! ТРЛИ-И-И-И-И-И! ТРЛИ-И-И-И-И-И!*

На мне не было ни царапины, но такой боли я еще никогда не испытывал: нервы и сердце того и гляди лопнут.

Неужели не сможет? Неужели утонет? Он с трудом продвигался вперед — гребки слабые, вялые. Нос и рот уже в воде. Только глаза хватаются за меня цепко-цепко.

— Ну что же ты, Ричард Паркер? Тебе что, жизнь не дорога? Тогда плыви. *ТРЛИ-И-И-И-И-И! ТРЛИ-И-И-И-И-И! ТРЛИ-И-И-И-И-И!* Греби изо всех сил! Греби! Греби! Греби!

Он встрепенулся и поплыл вперед.

— Где же вся моя родня — птицы, звери, змеи, черепахи?.. Утонули. Все самое дорогое в воду кануло. Вот так, без всякой причины? Ответь же, Бог, не то я просто свихнусь. К чему тогда разум, Ричард Паркер? Неужто только для того, чтобы есть, одеваться да жить в тепле и уюте? Поче-

му разум не может ответить на самые главные вопросы? Зачем спрашивать о том, на что нет ответа? Зачем бросать огромный невод, если рыбы раз-два и обчелся?

Голова его едва выглядывала из воды. Глаза смотрели в небо — будто в последний раз. В шлюпке был спасательный круг на крепкой веревке. Я схватил его и бросил далеко-далеко.

— Видишь круг, Ричард Паркер? Видишь? Хватайся! *БУХ!* Еще разок. *БУХ!*

Далековато. Заметив, однако, в воздухе спасательный круг, он воспрял духом. Ожил и отчаянно, изо всех сил забарахтался.

— Вот так! Раз-два. Раз-два. Раз-два. Гляди не захлебнись. Осторожно, волна! *ТРЛИ-И-И-И-И-И! ТРЛИ-И-И-И-И-И! ТРЛИ-И-И-И-И-И!*

В жилах у меня застыла кровь. Какой ужас. Но времени сидеть сложа руки не было. Надо действовать. Не хотелось отрешаться от жизни, все бросить — хотелось бороться до последнего. Не знаю почему, но я вдруг и сам воспрял.

— Как глупо, а, Ричард Паркер? Быть в аду и бояться вечности. Ну же, осталось совсем чуть-чуть! *ТРЛИ-И-И-И-И-И! ТРЛИ-И-И-И-И-И! ТРЛИ-И-И-И-И-И!* Ура! Ура! Ты доплыл, Ричард Паркер, доплыл. Лови! *БУХ!*

Я бросил круг что было мочи. Тот бухнулся почти перед самым его носом. Из последних сил он рванул вперед и вцепился в него мертвой хваткой.

— Держись крепче, сейчас вытащу. Только не отпускай. Тянись ко мне глазами, а я буду тянуть руками. Сейчас втащу на борт, и мы с тобой будем вместе. Погоди-погоди. Вместе? Как *вместе*? Я что, рехнулся?

Только тут я сообразил, что делаю. И рванул веревку в сторону.

— Отцепись от круга, Ричард Паркер! Отцепись, говорю. Ты лишний, понял? Плыви отсюда. Прочь! Пропади пропадом! Сгинь! Да сгинь же!

А он все так же отчаянно бился. Я схватил весло. Попробовал его отогнать. Но промахнулся и выронил весло.

Схватил другое. Вставил в уключину и налег изо всех сил, стараясь отгрести подальше. Но шлюпку только чуть закрутило, и она развернулась носом к Ричарду Паркеру — он был уже совсем близко.

Сейчас расшибу ему башку! Я поднял весло.

Он меня опередил. Подплыл к шлюпке и сам вскарабкался на борт.

— О боже!

Прав был Рави. Вот я и стал следующим козлом. Со мной в шлюпке оказался промокший насквозь, продрогший, нахлебавшийся воды, едва дышащий, фыркающий взрослый, трехгодовалый бенгальский тигр. Ричард Паркер привстал, упираясь лапами в брезентовый чехол и качаясь; глаза его, встретившись с моими, полыхнули огнем, уши прижались к голове. Морда размером со спасательный круг и того же цвета ощерилась.

Я развернулся, перешагнул через зебру и бросился за борт.

38

Не понимаю. Судно шло себе и шло, невзирая на то, что творилось вокруг. Светило солнце, шел дождь, дул ветер, волна катила за волной, море то вздымалось громадными холмами, то проседало глубокими провалами — «Цимцуму» все было нипочем. Несокрушимый как скала, он продвигался все дальше вперед.

Перед выходом в море я купил карту мира. И повесил у нас в каюте на пробковом щите. Каждое утро я узнавал на мостике наше положение и отмечал его на карте оранжевой булавкой. Мы вышли из Мадраса, прошли Бенгальский залив, затем Малаккский пролив, миновали Сингапур и взяли курс на Манилу. Я наслаждался каждой минутой плавания. На корабле было просто здорово. Хотя за животными требовался постоянный уход. И по вечерам мы валились с ног, едва успевая добраться до коек. В Маниле простояли пару дней — принимали свежие продукты и новый груз, а помимо того, как нам сказали, проводили обычный профилактический ремонт машин. Я наблюдал только за погрузкой. В число свежих продуктов вошла тонна бананов, а новым гру-

зом оказался самец конголезского шимпанзе, которого отец купил еще раньше, по случаю. С тонной бананов на борт попал довесок в виде трех-четырех фунтов большущих черных пауков. Шимпанзе похож на маленькую сгорбленную гориллу, правда, не в пример своему большому собрату, он куда побойчее — не такой уныло-добродушный. Дотронувшись до черного паучищи, шимпанзе вздрагивает и от отвращения корчит рожу, как наверняка сделали бы вы или я, а после, в отличие от вас или меня, брезгливо давит костяшками пальцев. Мне казалось, иметь дело с бананами и шимпанзе гораздо приятнее, чем с мерзко громыхающими железяками в мрачном чреве судна. Зато Рави торчал там безвылазно и все следил, как кипит работа. Машины барахлят, говорил он. Может, у них чего-то отсоединилось? Не знаю. Да и, думаю, теперь уже никто не узнает. Это тайна, сокрытая на морском дне под тысячефутовой толщей воды.

Мы вышли из Манилы и вошли в Тихий океан. А на четвертый день, на полпути до Мидуэя,[12] затонули. Судно кануло в бездну, разверзшуюся под булавочным уколом на моей карте. Скала

---

[12] Примечания: 12

Мидуэй — атолл в Тихом океане, в составе Гавайских островов.

рассыпалась у меня на глазах и исчезла у меня из-под ног. Вокруг осталась плавать только рвотная масса, извергнутая нездоровым чревом судна. Меня и самого чуть не вырвало. Я был в ужасе. И ощутил в душе страшную пустоту, которую потом заполнила тишина. А в ушибленную грудь вместе с болью закрался страх — что-то ждет меня впереди.

Кажется, что-то взорвалось. Точно не знаю. Все случилось, пока я спал. Взрыв меня и поднял на ноги. Судно наше было не роскошным лайнером, а видавшим виды работягой-сухогрузом, не рассчитанным на перевозку пассажиров, да еще с комфортом. На борту стоял беспрестанный шум, причем разнообразный. Но он был равномерный, и мы спали как младенцы. То была своего рода тишина, и нарушить ее не могло ничто — ни храп Рави, ни мое бормотание во сне. Поэтому взрыв, если и впрямь что-то взорвалось, был не каким-то новым шумом. Но каким-то странным. Я тут же проснулся, как от грохота воздушного шарика, которым Рави хлопнул у меня над ухом. Глянул на часы. Было немногим больше половины четвертого утра. Рави сопел как сурок.

Я оделся и слез вниз. Обычно я тоже сплю как убитый. А если просыпаюсь, то обычно мигом

засыпаю снова. Не знаю, почему я тогда вскочил среди ночи. Скорее так должен был бы повести себя Рави. Он любил словечко *зов* и наверняка сказал бы, что это «зов приключений», и отправился бы шнырять по судну. Шум снова стал обычным, может, только малость приглушенным.

Я толкнул Рави. И сказал:

— Рави, какой странный шум! Пошли поглядим, что там.

Он посмотрел на меня спросонья. Тряхнул головой и повернулся на другой бок, накрывшись простыней чуть не с головой. Эх, Рави!

Я открыл дверь каюты.

Помню, как пошел по коридору. Там было одинаково темно что днем, что ночью. И я почувствовал, как темнота пробирается и ко мне в душу. Остановился у двери к отцу с матушкой и хотел было постучаться. Но вспомнил про время и не рискнул. Отец не любил, когда его будили. Я решил подняться на главную палубу и там встречать рассвет. Может, падающую звезду увижу. О них-то, падающих звездах, я и мечтал, пока взбирался по трапам. Мы жили на две палубы ниже главной. А про странный шум я и думать забыл.

И только открыв дверь на главную палубу, я увидел, что происходит снаружи. Был ли это

шторм? Конечно, шел дождь, но не так чтоб уж очень сильный. И не обложной, как во время муссонов. Правда, дул ветер. Иногда порывистый. Такой запросто вырвал бы зонт из рук. Но я мог идти без особого труда. Море неистово бурлило, впрочем, «сухопутного моряка» море всегда поражает — как запретный плод, прекрасный и опасный. Волны вздымались все выше, и белая пена, сорванная ветром, хлестала в борт судна. Но такого я уже понасмотрелся — и судно выдержало. Корпус у сухогруза крепкий, остойчивый — подлинное чудо кораблестроения. Он рассчитан на то, чтобы оставаться на плаву и в бурю похлеще. А такой шторм разве может погубить корабль? Не знаю почему, но не успел я закрыть за собой дверь, как буря разыгралась не на шутку. Я двинулся по палубе дальше. Схватился за леер и глянул стихии в лицо. Вот оно — настоящее приключение.

— Канада, я иду! — кричал я, промокший, продрогший. И при этом ощущал себя истинным храбрецом.

Стояла темень, хотя было достаточно светло, чтобы видеть, что творится вокруг. Светло, как в аду. Вот оно — захватывающее представление разбушевавшейся стихии. Передо мной развора-

чивалось действо с участием ветра и моря — оно будоражило, как землетрясение, да так, что Голливуду и не снилось. Впрочем, землетрясение если и было, то там — глубоко-глубоко, а прямо у меня под ногами — надежная палуба, и сам я был зрителем, уютно устроившимся в кресле.

Встревожился я только тогда, когда глянул вверх и заметил, что шлюпка на надстройке мостика висит не прямо, как положено, а провисает между шлюпбалками, накренившись к борту. Я отвел глаза от шлюпки и посмотрел на руки. Костяшки пальцев побелели. Дело в том, что я вцепился мертвой хваткой в леера не от страха перед бурей, а потому, что иначе скатился бы по палубе. Судно кренилось на другой — левый борт. Крен был не очень сильный, но то-то и поразительно. Глянув за борт, я увидел, что он уже не уходит отвесно вниз. А как будто весь выгнулся — огромный и черный.

Меня насквозь пронзило холодом. В конце концов, шторм есть шторм, подумал я. Пора бы вернуться в укрытие. Я отцепился от лееров и бросился к переборке, пробрался вдоль нее и рванул дверь на себя.

Внутри судна все было тихо. Гудело только снаружи. Я оступился и упал. Не беда. Я тут же

поднялся. И, держась за поручни трапа, помчался вниз через четыре ступеньки. Спустившись на одну палубу, увидел воду. Много воды. Дальше идти некуда. Вода прибывала снизу сплошным потоком — грозным, пенным, клокочущим. Ступеньки трапа исчезали одна за другой в водяном мраке. Я глазам своим не верил. Откуда здесь вода? Как она сюда попала? Я стоял как вкопанный и в страхе не знал, что делать. Все мои остались там, внизу.

Я рванул по трапу вверх. Выскочил на главную палубу. Буря все не унималась. Я перепугался насмерть. Теперь-то все ясно и понятно: судно здорово кренилось набок. И не только. Оно заметно осело и на корму. До морской поверхности, казалось, можно было дотянуться рукой. Судно тонуло. Но разум мой отказывался это принимать. Бред какой-то — все равно что пожар на Луне.

Где же помощники капитана с матросами? Что они там делают? Тут я разглядел на носу, во тьме, несколько человек из экипажа: они бегали и суетились. А еще, кажется, заметил каких-то зверей, хотя в темноте, да еще под дождем, мог и обознаться. В хорошую погоду мы снимали только крышки люков с тех отсеков, где помеща-

лись клетки и загоны с животными, — сами же клетки и загоны были наглухо заперты. Тем более что мы везли не домашнюю скотину, а опасных диких зверей. Прямо над головой, на мостике, я, кажется, расслышал крики.

Судно содрогнулось, издав жуткий утробный скрежет. Что это было? Может, один пронзительный крик — людей и животных, не желавших смириться с близкой гибелью? Или, может, само судно испустило дух? Я упал. Но мигом вскочил на ноги. И снова глянул за борт. Море поднималось все выше. Волны были все ближе. Мы стремительно тонули.

Я четко расслышал обезьяньи вопли. Вдруг палуба заходила ходуном. Мимо меня, вырвавшись из пелены дождя, прогрохотал копытами обезумевший от страха гаур — индийский тур, каким-то образом вырвавшийся из загона. Остолбенев, я уставился на него с изумлением. Господи, кто же его выпустил?

Я побежал по трапу на мостик. Там, наверху, были помощники капитана — только они на всем судне говорили по-английски, хранители нашей судьбы; только они и могли исправить положение. Уж они-то все знают. И непременно нас спасут — моих и меня. Я взобрался на мостик,

как раз посередине. На правом крыле не было ни души. Я побежал на левое крыло. Увидел там трех человек из команды. И упал. И снова вскочил. Они смотрели за борт. Я закричал. Они обернулись. Поглядели на меня, потом друг на друга. Они что-то сказали. И кинулись ко мне. Я ощутил, как меня переполняет чувство благодарности и облегчения. И сказал:

— Слава богу, что встретил вас. Что случилось? Я так испугался. На нижних палубах полно воды. Там, внизу, мои родные, я за них боюсь. Мне до них не добраться. Разве все это нормально? Как вы считаете…

Кто-то из моряков перебил меня, сунул мне в руки спасательный жилет и что-то прокричал по-китайски. Я заметил оранжевый пояс — он свисал с жилета. Моряки мне отчаянно кивали. А когда схватили меня своими крепкими руками и подняли вверх, я даже не успел ничего сообразить. Кажется, они хотели мне помочь. Я не сопротивлялся и только благодарил их, пока они несли меня на руках. Сомнения закрались в мою душу лишь после того, как они швырнули меня за борт.

39

Я упал на полураскатанный брезентовый чехол шлюпки, сорока футами ниже, спружинив, как на батуте. И чудом не расшибся. Правда, потерял спасательный жилет — только пояс от него остался у меня в руке. Шлюпку лишь малость приспустили и так и оставили. Она свисала со шлюпбалок, раскачиваясь на штормовом ветру в каких-нибудь двадцати футах от воды. Я поднял глаза. Сверху на меня смотрели двое: они вовсю махали руками, показывая на шлюпку, и кричали. А чего от меня хотели, я не понял. Наверное, собирались прыгать следом за мной. Но тут они в ужасе оглянулись: в воздухе вдруг возникло что-то грациозное и прыткое, под стать скаковой лошади… Зебра угодила мимо брезента. Это был самец Гранта, больше пятисот фунтов весом. Он с грохотом рухнул на последнюю банку, разбив ее вдребезги, отчего шлюпка содрогнулась от носа до кормы. Животное взвыло. Нет, не взревело по-ослиному, как можно было ожидать, и не заржало по-лошадиному. Ничего подобного. Зебра протяжно заскулила — *куа-а-а, куа-а-а, куа-а-а,* — как будто в полном отчаянии. Губы у нее широко

раскрылись, вытянулись кверху и затряслись, обнажив желтые зубы и темно-розовые десны. Шлюпка сорвалась с талей и упала в бушующие волны.

40

Ричард Паркер не стал прыгать за мной в воду. Рядом плавало весло, которое я хотел было использовать как дубину. Я схватился за него и подплыл к спасательному кругу, благо на него больше никто не претендовал. В воде было страшно. Мрачно и холодно — просто жуть. Как на дне осыпающегося колодца. Волны накрывали меня с головой. В глазах саднило. Меня тянуло под воду. Я едва дышал. И если б не круг, то не продержался бы и минуты.

Тут я заметил, как в пятнадцати футах от меня воду рассекает странный треугольник. Акулий плавник. По спине пробежала дрожь — мерзкая, холодная, вязкая. Я что было сил принялся грести к носу шлюпки, поверх которого все так же виднелся брезент. Приподнялся на руках, опершись на круг. Но Ричарда Паркера не заметил. Его не было ни сверху, на брезенте, ни на ближайшей банке. Он притаился на дне шлюпки. Я приподнялся еще разок. И единственное, что успел разглядеть на другом конце, — как дергалась голова зебры. А когда снова спустился в воду, прямо передо мной скользнул плавник второй акулы.

Ярко-оранжевый чехол крепился прочной нейлоновой веревкой, пропущенной между железными люверсами чехла и закругленными гаками по бортам шлюпки. Я подплыл стоя к самому носу шлюпки. Брезент там был закреплен слабовато — его, как видно, просто перебросили через носовую часть, короткую, тупоконечную, и чуть прихватили веревкой, тогда как везде он был натянут втугую. В одном месте, на носу, брезент провисал вместе с веревкой, так же слабо пропущенной через гаки с одного носового борта и с другого. Я вскинул весло, втиснул его рукояткой туда, в спасительную щель. И стал просовывать как можно дальше. Теперь у шлюпки появилось некое, хоть и неказистое, подобие бушприта. Я подтянулся повыше и обхватил весло ногами. Рукоятка его снизу упиралась в чехол, но брезент, веревка и весло выдержали. И я повис в каких-нибудь двух-трех футах над водой. Спину мне лизали гребни больших волн.

Так я и висел на весле, один-одинешенек, посреди Тихого океана: перед носом у меня был взрослый тигрище, подо мной сновали акулы, а вокруг бушевал шторм. Если б я только мог здраво оценить свои шансы на будущее, то наверняка разжал бы руки и ноги и выпустил весло и, может,

утонул бы раньше, чем угодил в пасть акулам. Впрочем, не помню, чтобы хоть на миг задумался об этом тогда — в первые минуты, оказавшись в сравнительной безопасности. Я даже не заметил, как рассвело. И все держался мертвой хваткой за весло, а зачем — одному Богу известно. Через некоторое время я придумал, как приспособить и спасательный круг. Я подтянул его из воды, насадил на весло. И стал дергать на себя, пока не пролез в него изнутри. Так что теперь можно было цепляться за весло только одними ногами. Появись, правда, Ричард Паркер, отцепиться от весла было бы не так-то просто, но уж если боять-ся, то чего-то одного, — лучше океана, чем тигра.

41

Стихия пощадила меня — я остался жив. Шлюпка не затонула. Ричард Паркер где-то затаился. Вокруг шныряли акулы, но не нападали. Волны хоть и обдавали меня брызгами, но уже не накрывали с головой.

Я видел, как с ревом и бульканьем кануло наше судно. Огни вспыхнули — и разом погасли. Я искал глазами своих, кого-нибудь, кто спасся, другую шлюпку — то, что могло дать мне хоть какую-то надежду. Но кругом было пусто. Только дождь, черные хищные океанские волны и среди них плавающие предметы — все, что осталось после трагедии.

Небо прояснилось. Дождь перестал.

Оставаться в прежнем, висячем положении было невозможно. Я продрог до костей. Шея от постоянного напряжения ужасно болела, голова тоже. Спину стерло о круг. К тому же, чтобы разглядеть другие шлюпки, надо было приподняться повыше.

Я потихоньку стал сползать по веслу, покуда не уперся ногами в нос шлюпки. Делать это приходилось предельно осторожно. Я догадывался,

что Ричард Паркер притаился на дне шлюпки под брезентом, спиной ко мне и мордой к зебре, которую он наверняка уже разодрал. Из всех пяти чувств тигры больше полагаются на зрение. Глаз у них на редкость острый — вмиг ухватывает малейшее движение. Слух тоже неплохой. Зато нюх так себе. Я имею в виду — в сравнении с другими животными, конечно. Я же, против Ричарда Паркера, и вовсе был глух, слеп и туг на нюх. Правда, пока что он меня не заметил и не почуял — должно быть, сырость мешала, а вой ветра и рокот волн и подавно, так что, если я буду сидеть тихо, он меня и не услышит. Словом, жить мне осталось до тех пор, пока он меня не учует. А учует — растерзает и глазом не моргнет. Я все гадал, сможет ли он порвать брезент и выбраться наружу.

Но страх и рассудок боролись во мне, мешая прийти к верному ответу. Страх говорил — ДА. Это свирепая хищная громадина. Каждый коготь у него что острый нож. Рассудок говорил — НЕТ. Брезент крепкий — выдержит, не то что японская ширма. Я плюхнулся на него со всего маху. Впрочем, Ричард Паркер распорол бы его когтями в считаные секунды без особого труда, однако выскочить из-под него, как черт из табакерки, не

мог. К тому же он все еще меня не видел. А раз так, то зачем ему распарывать брезент и лезть наружу.

Я сполз еще ниже. Перебросил обе ноги через весло и уперся ими в планширь. Планширь — это верхний край борта, кромка, если угодно. Сполз еще чуть-чуть, чтобы ноги оказались в шлюпке. Все это время я не сводил глаз с брезента. Ричард Паркер мог в любой миг вырваться наружу и наброситься на меня. Несколько раз меня пронзала жуткая дрожь. Сильнее всего дрожали ноги — в них-то мне и не хватало твердости. Вот уже они уперлись в брезент — тугой, как барабан. Лучшего сигнала для Ричарда Паркера и не придумаешь. Дрожь пробежала и по рукам, но мне ничего не оставалось, как только держаться. Потом дрожь прошла.

Перевалившись почти всем телом в шлюпку, я вскочил. И заглянул за дальний край брезента. И, к своему удивлению, увидел, что зебра все еще жива. Она так и осталась у кормы — там, куда упала, и ни на что не реагировала, только бешено вращала глазами. Голова вместе с шеей неловко лежала на проломленной боковой банке и была повернута в мою сторону. Одна задняя нога сломана. И как-то неестественно выгнута. Осколок

кости торчал наружу — из раны сочилась кровь. Лишь тонкие передние ноги зебры, кажется, были в обычном положении. Она их согнула и крепко прижала к скрюченному туловищу. Время от времени зебра дергала головой, подвывала и всхрапывала. А так — лежала неподвижно.

Красивое животное. Окрас яркий — местами белоснежный, местами иссиня-черный. Но страх мой был столь велик, что долго любоваться им я не мог; правда, мне было достаточно и мимолетного взгляда, чтобы восхититься ее безупречно четким, красочным полосатым узором и изящными обводами головы. Впрочем, куда более удивительным и даже странным было другое — почему Ричард Паркер до сих пор ее не убил. В обычных условиях он задрал бы зебру непременно. Так поступают все хищники: добычу они убивают. Хотя в теперешних обстоятельствах Ричард Паркер, похоже, был ошеломлен, и страх его, должно быть, оказался сильнее кровожадности. Иначе он уже давно разорвал бы зебру на куски.

Тут я догадался, почему он ее не тронул. И от этой догадки у меня сперва даже кровь застыла в жилах — правда, чуть погодя все же полегчало. Из-за края брезента показалась голова. Глаза испуганно глядели прямо на меня, потом голова

скрылась, опять поднялась и опять же скрылась, поднялась еще раз и снова исчезла. То была лысая голова пятнистой гиены, похожая на медвежью. У нас в зоопарке их было шестеро: две главные самки и у них в подчинении четыре самца. Их должны были переправить в Миннесоту. Этот же был самец. Я узнал его по правому уху: оно было порвано, хотя потом заросло, но отметина, след былой кровожадности, так и осталась. Только теперь понял я, почему Ричард Паркер не убил зебру: его уже не было в шлюпке. На таком крохотном пятачке им вряд ли удалось бы ужиться вместе — гиене и тигру. Наверное, он свалился с брезента за борт и утонул.

Но как же гиена попала в шлюпку — вот загадка. Не думаю, что гиены умеют плавать, тем более в открытом море. Выходит, она была здесь все время — затаилась под брезентом, вот я ее и не заметил, когда свалился на чехол, спружинив, как на батуте. Понял я и кое-что еще: из-за гиены те моряки и сбросили меня в шлюпку. Они, верно, решили, что гиена набросится на меня и, может, я каким-то образом от нее избавлюсь, чтобы потом им самим завладеть шлюпкой, хоть бы и ценой моей жизни. Теперь-то я знал, почему они так рьяно махали руками, показывая на шлюпку,

перед тем как выскочила зебра.

Никогда не думал, что оказаться на одном пятачке с пятнистой гиеной — радостная штука, ну и дела! Хотя две радости все же были: если б не гиена, моряки вряд ли сбросили бы меня в шлюпку — я остался бы на корабле и вместе с ним пошел ко дну; а раз мне выпало соседство с диким зверем, то пусть уж лучше это будет свирепая собака, чем дюжая, коварная кошка. Я почувствовал некоторое облегчение и перевел дух. Для верности пошевелил веслом. Сел на него верхом, опершись спиной на острый край спасательного круга; левой ногой уперся в носовой выступ, а правой — в планширь. В общем, кое-как устроился, да и шлюпку видел всю целиком.

Я огляделся. Кругом только море и небо. Та же картина и с гребней волн. Море чем-то напоминало изломанную земную поверхность — с холмами, долинами и равнинами, правда, куда более четко выраженными. Вокруг меня будто простирался неоглядный горный край. Только не было в этом краю моих родных. В воде плавали самые разные предметы, но ни один из них не обнадеживал. Не видно было и других шлюпок.

Погода менялась прямо на глазах. Море, такое огромное, такое бескрайнее, теперь подчинялось

единому плавному ритму — волны размеренно катили одна за другой; ветер заметно ослаб, превратившись в легкий бриз; пушистые, отливающие белизной облака поднимались все выше к бездонному бледно-голубому небосводу. Над Тихим океаном занималась заря, обещавшая чудесный день. Майка на мне почти высохла. Ночь канула в бездну так же скоро, как и судно.

Я сидел и ждал. Мысли путались. Я то размышлял, как выжить, стараясь не упустить ни единой мелочи, то вздрагивал от острой боли и беззвучно плакал, открыв рот и обхватив руками голову.

42

Она подплыла на островке из бананов — в сияющем ореоле, такая же прекрасная, как Дева Мария. За спиной у нее всходило солнце. И волосы ее пылали огнем.

Я воскликнул:

— О благословенная Великая мать, Пондишерийская богиня плодородия, дарящая молоко и любовь, дивной дланью своей оберегающая страждущих, карающая пресытившихся, заступница плачущих, видишь ли ты мою беду? Доброта и страх несовместимы — точно говорю. Лучше б ты сразу погибла. Как же горько мне и радостно тебя видеть! Ты несешь мне отраду и горе. Отраду — потому что будешь рядом, а горе — потому что радоваться мне осталось недолго. Что ты знаешь про море? Ничего. А я что знаю про море? Ничего. Без водителя автобус наш, считай, пропал. И нам с тобой конец. Так поднимись же ко мне на борт, если желаешь себе смерти, — она поджидает нас на следующей остановке. Давай сядем вместе. Садись у окна, если хочешь. Правда, вид из него скучноватый. Но будет притворяться. Скажу начистоту: я люблю тебя, люблю, люблю.

Люблю, люблю, люблю. Только никаких пауков, пожалуйста!

Это была Апельсинка — ее так прозвали за страсть к апельсинам, — наша любимица, орангутан-матриарх, прима зоопарка, мать двоих милых мальчиков, а вокруг нее — громадная куча черных пауков, теснящих ее злобных идолопоклонников. Бананы, на которых она плыла, помещались в нейлоновой сетке — той самой, в какой их загрузили в корабельный трюм. Когда она спрыгнула с банановой груды в шлюпку, бананы всплыли и перевернулись. Сетка освободилась. Я подхватил ее чисто машинально, потому что она оказалась у меня под рукой, хотя могла утонуть, и втащил на борт — так, на всякий случай, вдруг пригодится мне во спасение; эта сеть была самым ценным из всего, что у меня осталось.

Банановая груда развалилась. Черные пауки заметались, засуетились, но положение у них оказалось безнадежное. Островок под ними таял. И они утонули — все разом. Какое-то время шлюпка плыла по фруктовому морю.

Я подобрал сеть, в которой вроде бы не было никакого проку, а вот подумал ли я набрать банановой манны? Нет. Ни одного банана не выловил.

Хотя, как ни прискорбно, в некотором смысле плыл посреди банановой коктейля — и море поглотило его целиком. Только позднее ощутил я всю тяжесть понесенной потери. И от глупости своей едва не бился в приступах отчаяния.

Апельсинка совсем растерялась, была как в тумане. Движения замедленные, неуверенные, в глазах полное смятение. Она ничего не соображала. Какое-то время лежала, распластавшись, на брезенте — тихо, неподвижно, потом соскочила на дно шлюпки. И я услышал, как взвизгнула гиена.

43

Последним следом от судна, который я видел, было маслянистое пятно, отсвечивавшее на морской поверхности.

Я не верил, что остался один. Такого просто быть не могло, чтобы «Цимцум» затонул, даже не послав в эфир сигнала бедствия. Наверняка сейчас в Токио, Панаме, Мадрасе, Гонолулу, а может, и в Виннипеге на пультах управления мигают красные лампочки, звучит тревога, глаза у всех широко раскрылись от ужаса, и губы шепчут: «Боже мой, „Цимцум“ затонул!» — а руки тянутся к телефонам. Лампочки мигают все ярче, тревога звучит все громче. Летчики бегут к самолетам, не успев в спешке зашнуровать ботинки. Вахтенные на кораблях крутят штурвалы до полного изнеможения. Подводные лодки и те уходят на погружение, чтобы тоже участвовать в поисково-спасательных работах. Нас скоро спасут. На горизонте вот-вот покажется корабль. У них там наверняка найдется винтовка, чтобы пристрелить гиену, — так что зебра будет в безопасности. Может, и Апельсинку спасут. Я поднимусь на корабль и обниму моих родных. Их, наверное,

снимут с другой шлюпки. Только бы мне самому продержаться несколько часов, пока не придет спасательное судно.

Со своего насеста я дотянулся до сетки. Свернул ее и бросил на середину брезента — какая ни на есть, все же преграда. Апельсинка как будто оцепенела. Похоже, она умирала от потрясения. Однако больше всего меня беспокоила гиена. Я слышал, как она скулит. У меня была слабая надежда, что она позарится скорее на зебру, привычную ей добычу, или на орангутана — совсем непривычную, чем на меня.

Одним глазом я следил за горизонтом. А другим — за тем, что происходило в шлюпке. Кроме гиены, которая беспрерывно завывала, остальные животные не подавали никаких признаков жизни: не было слышно ни царапанья когтей о твердый брезент, ни стонов, ни случайных вскриков. А значит, не было и кровопролития.

В полдень гиена показалась снова. Она уже не завывала, а опять скулила. Вдруг она перемет-нулась через зебру на корму, где боковые банки сходились в одну, треугольную. Место там было незащищенное: высота борта от банки до планширя — дюймов двенадцать. Зверюга с опаской глянула за борт. Вид зыбящейся воды, видно, ей

совсем не понравился: она тут же отдернула голову и спрыгнула на дно шлюпки позади зебры. Там было тесновато: между широкой спиной зебры и воздушными ящиками, размещавшимися по бортам шлюпки, под банками, гиене было не развернуться. Повертевшись какое-то время в тесноте, она перебралась обратно на корму, перемахнула через зебру на середину шлюпки и снова спряталась под брезентом. Так она металась секунд десять, не больше. И теперь оказалась в каких-нибудь пятнадцати футах от меня. Вот когда я замер от страха. А зебра напротив меня только дернула головой и как будто тявкнула.

Я думал, гиена так и останется сидеть под брезентом. Но в следующее мгновение она опять перескочила через зебру на кормовую банку. И какое-то время крутилась там, изредка поскуливая. Интересно, что она собиралась делать дальше. Ответ не заставил себя долго ждать: низко опустив голову, она принялась трусить вокруг зебры, перескакивая с кормовой банки на бортовые, а с них — на поперечную, под брезентом, словно по миниатюрной, двадцати пяти футов в окружности, беговой дорожке с препятствиями. И так круг за кругом — сперва в одну сторону, потом в другую, пока я не сбился со

счета. Все это время она пронзительно скулила — *пи-пи-пи-пи-пи.* Меня снова будто парализовало. Я здорово струхнул, и все, что мог, это просто сидеть и наблюдать. Между тем зверюга знай себе металась по замкнутому кругу; это была не маленькая зверушка, а взрослый самец, весом никак не меньше ста сорока фунтов. Всякий раз, когда он бил лапищами то по одной банке, то по другой, громко царапая когтями, шлюпка начинала ходить ходуном. И всякий раз, как только он спрыгивал с кормы, меня пробирал животный страх. А когда устремлялся в мою сторону, у меня от ужаса волосы вставали дыбом: что, если и правда набросится? Даже Апельсинка его бы не остановила. Ну а наполовину скатанный брезент с мотком сетки посередине — и подавно. Стоило гиене чуть-чуть подпрыгнуть — и она у моих ног. Однако бросаться на меня она, похоже, не собиралась: каждый раз, когда она приближалась к поперечной банке, а потом вскакивала на нее, я видел, как вдоль края брезента юрко проскальзывает верхняя часть ее туловища. И тут-то поведение гиены могло быть совершенно непредсказуемым — она запросто могла накинуться на меня без всякого предупреждения.

Описав таким манером множество кругов, ги-

ена вдруг замерла на кормовой банке и припала на лапы, устремив взгляд вперед и чуть вниз — под брезент. Потом подняла глаза и уставилась на меня. То был типичный взгляд гиены: пустой, открытый, любопытный, но совсем не упрямый; челюсть отвислая, уши огромные, торчком, глазищи черные, сверкающие; и тревожное напряжение в каждой клетке тела, отчего зверюгу трясло как в лихорадке. Я приготовился к смерти. Но рановато. Гиена опять принялась наворачивать круги.

Если зверь на что-то решился, то не станет долго раздумывать. Гиена все утро металась кругами и скулила — *пи-пи-пи-пи-пи.* Лишь несколько раз она ненадолго замирала на кормовой банке, а так все кружила без устали, в одном и том же направлении — против часовой стрелки, с одинаковой скоростью, и все так же монотонно скулила. Этот скулеж, резкий, пронзительный, раздражал меня донельзя. Мне до того надоело — просто осточертело — на нее смотреть, что я невольно отвернулся, хотя все же старался не упустить ее из виду. Даже зебра, которая поначалу всхрапывала всякий раз, когда гиена проскакивала у нее над головой, словно окаменела.

Между тем, как только гиена замирала на кор-

мовой банке, сердце у меня уходило в пятки. И как бы мне ни хотелось следить за горизонтом, я то и дело оглядывался на мечущегося зверя.

Я не из тех, кто относится к каким-то зверям с предубеждением, но факт есть факт: вид у пятнистой гиены на редкость омерзительный. И тут уж ничего не поделаешь. Толстая шея, вздернутые плечи, торчащие назад, как у жалкого подобия жирафа, а грубая лохматая шкура как будто скроена из разных кусков, доставшихся ей от других божьих тварей. Окрас — неприглядная смесь желтовато-коричневого, черного, желтого и серого оттенков, и ничуть не похожий на дивную, безупречно четкую розетковидную расцветку леопарда: пятнистость ее скорее напоминает проплешины, оставшиеся от кожной болезни — какой-нибудь заразной парши. Голова у гиены большая и слишком тяжелая, лоб высокий, как у медведя, только с залысинами, уши — точь-в-точь мышиные, широкие и круглые, если их не порвали в жестокой схватке. Пасть всегда открытая, дыхание тяжелое. Ноздри широченные. Хвост тоненький, но твердый, как палка. Шаг неуклюжий. Словом, если сложить все это вместе, с виду вроде как собака, вот только вряд ли кто захочет держать такую.

Я хорошо запомнил слова отца. Гиены не трусливы и пожирают не только падаль. А если их такими изобразил «Нэшнл джиографик»,[13] то лишь потому, что «Нэшнл джиографик» снимал их днем. На самом же деле день у гиены начинается с восходом луны — вот когда она превращается в охотника, каких поискать. Гиены нападают стаями на любое животное, за которым могут угнаться, и прямо на бегу вгрызаются ему в бока. Они охотятся на зебр, гну, буйволов, причем не только старых или увечных, но и молодых и сильных. Гиены — выносливые охотники: самые страшные пинки и удары им нипочем, они тут же вскакивают и преследуют добычу до последнего. Да и сметки им не занимать: от матери они перенимают все, что только может пригодиться. Излюбленная их добыча — новорожденные гну, хотя львятами и маленькими носорогами они тоже не брезгуют. Гиены не знают устали, когда чуют, что усилия их не пропадут даром. За каких-нибудь пятнадцать минут от зебры остается только череп, но они и его непременно

[13] Примечания: 13

Имеется в виду серия специальных фильмов по естественной истории (National Geographic Special), в том числе про животных, созданная некоторыми американскими кинокомпаниями совместно с Национальным географическим обществом.

утащат с собой в нору — детенышам на забаву. Никаких останков — сжирают даже траву, политую кровью жертвы. Гиены поедают добычу огромными кусками, отчего брюхо у них здорово разбухает. А когда насыщаются вдосталь, то едва передвигают лапы. Переварив же добычу, гиены отрыгивают шерсть твердыми комками, после чего слизывают с них все, что не успело до конца перевариться, а потом по ним же и катаются. Во время пиршества гиены приходят в такое неистовство, что порой впиваются зубами друг в дружку: так, отрывая от зебры кусок плоти, гиена может куснуть своего сородича за ухо или за нос — ненароком, без всякой злобы. И сородич воспримет это как ни в чем не бывало. Он до того поглощен обжорством, что уже ни на что другое не реагирует.

Да, всеядность у гиены поразительная — и впрямь можно диву даться. Гиена мочится туда же, откуда пьет воду. Находит эта зверюга своей моче и другое применение: в жару и засуху, освободив мочевой пузырь, она роет в этом месте землю и валяется в образовавшейся луже, как в освежающей грязевой ванне. Гиены поедают экскременты травоядных, фыркая при этом от удовольствия. Труднее сказать точно, чего гиены

не едят. Жрут они и своих сородичей (в первую очередь съедают уши и носы — как лакомство) — правда, через день после того, как те издохнут, чтобы было не так противно. Гиены бросаются даже на автомобили — на фары, выхлопные трубы и боковые зеркала. Если гиен что и ограничивает, то не степень выделения желудочного сока, а сила челюстей, хоть она у них и вправду невероятная.

Такой вот зверь теперь кружил передо мной. Зверь, при виде которого больно резало глаза, а в жилах стыла кровь.

Все кончилось так, как и должно было кончиться в случае с гиеной. Она застыла на корме и тяжело задышала, словно при одышке. Я мигом вскарабкался по веслу как можно выше и уперся в борт шлюпки только пальцами ног. Зверюга вдруг поперхнулась и закашлялась. И тут ее вырвало. Чуть ли не на спину зебры. Гиена спрыгнула в собственную рвоту. И так в ней и валялась, дрожа, скуля и крутясь из стороны в сторону, будто испытывая самое себя — сколько ей еще осталось страдать и мучиться. Она просидела в своем тесном закутке весь остаток дня. Порой зебра тревожно фыркала, чуя у себя за спиной хищника, но большую часть времени ле-

жала неподвижно — беспомощная, потерянная, молчаливая.

44

Солнце взмыло вверх по небосклону, достигло зенита и покатило к закату. Я весь день просидел верхом на весле неподвижно — если и шевелился, то лишь затем, чтобы не потерять равновесие. Всем своим существом я стремился к горизонту: не появится ли там точка, знак моего спасения. Я пребывал в томительно-тоскливом ожидании. Те первые часы запечатлелись в моей памяти одним звуком, но не тем, о котором вы, наверное, подумали, — не скулежом гиены и не шипением морской волны: это было жужжание мух. В шлюпке оказались мухи. Они появились откуда ни возьмись и, как все мухи, принялись вяло летать широкими кругами, а когда сближались, то закручивали головокружительные спирали и пронзительно жужжали. Некоторые даже осмеливались подлетать ко мне, за борт. Описав вокруг меня петлю-другую, они возвращались обратно, прерывисто гудя, как одномоторные самолеты. Ума не приложу, откуда бы им взяться: то ли они были здесь всегда, то ли попали вместе с одним из животных, скорее всего с гиеной. Как бы там ни было, жужжали они недолго: через пару

дней их как ветром сдуло. Гиена, примостившаяся позади зебры, хватала пастью по несколько мух зараз и заглатывала. Других, должно быть, и впрямь сдуло ветром. А некоторым, возможно, повезло закончить свой век в старости.

С приближением сумерек я забеспокоился. А под конец дня и вовсе стал всего бояться. Ночью корабль вряд ли меня заметит. Ночью гиена наверняка оживится, да и Апельсинка, может, очнется.

Наступила тьма. Луна не взошла. Тучи скрыли звезды. Предметы сделались расплывчатыми. Потом все разом исчезло — море, шлюпка и мое собственное тело. Море было спокойное, ветер ощущался едва-едва, а себя самого я даже не слышал. Я будто парил в черной пустоте. Взгляд мой был устремлен вдаль, где, как мне казалось, простирался горизонт, а уши старались уловить малейший живой звук в шлюпке. Я не верил, что смогу пережить ночь.

Среди ночи время от времени рычала гиена, а зебра тявкала и визжала; слышались и другие звуки — дробные, прерывистые. Я до того перепугался, что от страха, чего греха таить, наложил в штаны. Странные звуки доносились с противоположного конца шлюпки. Но шлюпка

не закачалась — значит, движения на борту не было. Проклятая бестия, похоже, затаилась где-то рядом. Во тьме, совсем близко, послышались громкие вздохи, стоны, ворчание и жалобные всхлипы. При мысли, что Апельсинка очнулась, у меня вряд ли выдержали бы нервы, и я ее отбросил. Взял и прогнал прочь. Подо мной тоже шумело — из воды доносились не то хлопки, не то шлепки, правда, недолго. Там тоже кипела борьба за жизнь.

Ночь тянулась медленно — минута за минутой.

45

Я продрог. Наблюдение, в общем-то, пустое, если бы оно не касалось меня лично. Светало. Быстро и незаметно. Цвет неба с одного края изменился. Воздух стал наполняться светом. Безмятежное море раскрылось передо мной огромной книгой. И внезапно настал день.

Потеплело, правда, только после того, как из-за горизонта выкатило солнце, похожее на сверкающий апельсин, однако мне не пришлось долго ждать, чтобы его почувствовать. С первыми же проблесками света оно ожило во мне надеждой. И по мере того как очертания предметов обретали четкость, все более ощутимой становилась и надежда — и вот уже душа моя запела. Какое счастье греться в лучах надежды! Все, конечно же, образуется. Худшее позади. Я пережил ночь. И сегодня меня непременно спасут. Даже то, что я так думал, складывая эти слова в уме, обнадеживало само по себе. Надежда питает надежду. Когда горизонт обозначился резко очерченной линией, я буквально впился в него глазами. День снова выдался ясный — видимость была превосходная. Я воображал, как Рави сперва бросится

меня поздравлять, а после начнет подтрунивать. «Это еще что такое? — скажет он. — Заграбастал себе здоровенную лодку, да еще целый зоопарк с собой прихватил. Никак в Ноя решил поиграть?» Я увижу отца — взъерошенного, обросшего щетиной. Матушка обратит взор к небу и крепко меня обнимет. Я представил себе с десяток возможностей того, как оно будет на спасательном судне, когда наше счастливое семейство наконец воссоединится. В то утро горизонт как будто расплылся, губы мои тоже расплылись — в улыбке.

Как ни странно, прошла уйма времени, прежде чем я наконец глянул, что же происходит в шлюпке. Гиена напала-таки на зебру. Пасть у твари была вся багровая, а челюсти перемалывали кусок шкуры. Глаза мои стали невольно высматривать место укуса — какую часть урвала себе гиена. И тут я чуть не задохнулся от страха.

У зебры не хватало сломанной ноги. Гиена оторвала ее и утащила на корму, в закуток позади зебры. С оголенной культи свисал только жалкий клок кожи. Рана все кровоточила. Жертва сносила боль терпеливо, не проронив ни звука. Единственным ощутимым свидетельством ее мучений был непрерывный дробный звук: она стучала зубами. Меня обдало волной ужаса,

отвращения и злости. Я возненавидел гиену лютой ненавистью. И стал подумывать, как бы ее прикончить. Но так ничего и не придумал. Да и злость быстро прошла. Скажу по чести, недолго жалел я и зебру. Когда твоя собственная жизнь висит на волоске, жалость тотчас уступает место страшному эгоистическому чувству — жажде самосохранения. Жаль, конечно, что это большое, сильное животное так мучилось — а страдать ему, верно, предстояло долго, — но тут уж ничего не поделаешь. Я пожалел ее, пожалел — и перестал. Не скажу, что горжусь собой. Если честно, мне до сих пор противно об этом вспоминать. Но я не забыл бедную зебру — что ей пришлось пережить. И поминаю ее в каждой молитве.

Между тем Апельсинка по-прежнему не подавала никаких признаков жизни. И я снова принялся пожирать глазами горизонт.

Пополудни ветер чуть окреп, и я сделал кое-какие наблюдения касательно шлюпки: несмотря на загрузку, осадка у нее была совсем небольшая, наверное, потому, что груз весил меньше того, на который она была рассчитана. Надводный борт — если считать от морской поверхности до планширя — выступал из воды целиком, так что залить нас могло только при сильном волнении.

Однако это означало и то, что, каким бы концом шлюпка ни обратилась к ветру, ее все равно развернуло бы лагом — бортом к волне. При малом волнении это еще куда ни шло — волны лишь слегка били в корпус, зато при сильном они колошматили шлюпку почем зря, заваливая то на один борт, то на другой. И от беспрестанной тряски меня здорово мутило.

Наверное, в другом положении было бы полегче. Я соскользнул по веслу вниз и опять примостился на носу. Сел лицом к волнам, так, чтобы вся шлюпка оставалась слева. Так я оказался ближе к гиене, но та вроде притихла.

Покуда я вот так сидел и глубоко дышал, силясь побороть тошноту, я заметил Апельсинку. Мне-то казалось, что она затаилась на носу, под брезентом, прячась от гиены. Но не тут-то было. Она сидела на боковой банке, у того самого места, где носилась гиена, когда наворачивала свои круги. От меня ее скрывал выступ скатанного брезента. Но стоило ей приподнять голову всего на дюйм, как я тут же ее увидел.

Мне стало любопытно. Захотелось рассмотреть ее поближе. Невзирая на качку, я встал на колени. Гиена посмотрела на меня, но не шелохнулась. А вот и Апельсинка. Она сильно сгорбилась,

вцепилась обеими руками в планширь, а голову свесила на грудь. Рот был открыт, язык вывалился наружу. Ей явно не хватало воздуха. Несмотря на свое бедственное положение и на подкатывавшую к горлу тошноту, я не смог удержаться от смеха. То, от чего страдала Апельсинка, можно выразить в двух словах: *морская болезнь*. В голове у меня тут же возник образ нового вида — редкого морского *зеленого* орангутана. Я снова сел. Бедняжка страдала совсем как *человек*! Подмечать человеческие черты у животных — занятие довольно забавное, благо мы с ними так похожи. Обезьяны — наша чистейшая копия, зеркальное отражение в мире животных. Оттого-то они и пользуются таким успехом в зоопарках. И я опять рассмеялся. Да так, что даже за живот схватился, удивляясь самому себе. Ну и ну! Целый вулкан радости извергся из меня этим смехом. Апельсинка не только развеселила меня, но и избавила от морской болезни: теперь она страдала за нас двоих. А я чувствовал себя лучше некуда.

И снова принялся обшаривать глазами горизонт, исполнившись больших надежд.

Кроме морской болезни, Апельсинку больше ничто не беспокоило: как ни странно, на ней не было ни царапины.

Она сидела спиной к гиене, словно чувствуя, что та ей ничем не угрожает. В шлюпке сложилась на редкость причудливая экосистема. Поскольку в естественных условиях гиена с орангутаном не встречаются — гиен на Борнео отродясь не бывало, равно как и орангутанов в Африке, — никто не знает, как они повели бы себя, окажись вместе. И мне казалось совершенно невероятным, даже немыслимым, что эти плодоядные древесные обитатели и плотоядные обитатели саванны могут занять соседние ниши и жить, не обращая друг на друга никакого внимания. Гиена, конечно, почуяла бы в орангутане добычу, после которой еще долго пришлось бы отрыгивать шерсть огромными комьями, зато куда более лакомую, чем какая-нибудь выхлопная труба, да и куда более притягательную, особенно на земле — не на дереве. А орангутан, конечно же, учуял бы в гиене хищника и, всякий раз, слезая с дерева за упавшим наземь плодом дуриана, держал бы ухо востро. Но природа горазда на сюрпризы. И может, все сложилось бы иначе. Уж если козы могут подружиться с носорогами, почему бы орангутанам не ужиться с гиенами? Вот кто стал бы главной достопримечательностью любого зоопарка. Пришлось бы вывесить

специальную табличку. Даже знаю какую: «Уважаемая публика! За жизнь орангутанов просим не беспокоиться! Они сидят на деревьях потому, что там живут, а не потому, что боятся пятнистых гиен. Приходите в час кормежки или на заходе солнца, когда им захочется пить, и вы увидите, как они спускаются с деревьев и без всякой опаски разгуливают по земле под носом у гиен». Папе бы понравилось.

В тот же день я впервые увидел существо, которое потом стало мне добрым, верным другом. В борт вдруг что-то глухо стукнулось и заскреблось. И через несколько секунд рядом со шлюпкой, так близко, что, нагнувшись, можно было достать рукой, возникла большая морская черепаха — бисса: она неспешно пошевеливала плавниками, держа голову над водой. Вид у нее был совсем неприглядный, даже отвратительный: шероховатый, изжелта-коричневый панцирь фута три длиной, местами облепленный водорослями; темно-зеленая остроклювая морда, губ нет, пара плотно прикрытых носовых отверстий и черные глазки, пристально смотревшие на меня. Взгляд — надменный и противный, как у вздорного, выжившего из ума старикашки. Но самым чудным казалось то, что такое пресмыкающееся

существует вообще. В воде она выглядела довольно-таки нелепо, до того неказистой была ее форма в сравнении с гладкими, плавными обводами рыбы. Впрочем, в своей стихии она ощущала себя и впрямь как рыба, чего уж никак нельзя было сказать про меня. Она болталась возле шлюпки несколько минут.

Я ей сказал:

— Плыви и отыщи корабль и скажи им там, что я здесь. Плыви себе, плыви.

Она развернулась и, поочередно отталкиваясь от воды задними плавниками, скрылась с моих глаз.

46

Тучи, сгустившиеся там, откуда я ждал корабль, и день, мало-помалу клонившийся к вечеру, сделали свое дело — улыбку у меня с лица как рукой сняло. Нет смысла говорить, что та или другая ночь была худшей в моей жизни. Я пережил столько ужасных ночей, что выбрать какую-то одну, самую-самую, было бы трудно. И все же вторая ночь в море осталась в моей памяти как сплошной кошмар, совсем не похожий на леденящий страх первой ночи, потому как я стал привыкать к страданиям, да и подавленность моя, сопровождавшаяся горькими слезами и душевными терзаниями, отличалась от уныния, которое ожидало меня в грядущие ночи: у меня еще были силы в полной мере оценивать свои ощущения. Однако перед той кошмарной ночью был еще кошмарный вечер.

Я заметил, что шлюпку окружают акулы. День скрылся за завесой, которую оставило после себя уходящее солнце. Это походило на беззвучный оранжево-красный взрыв, грандиозную цветовую симфонию, невероятных размеров живописное полотно: настоящий, изумительный

тихоокеанский закат, полыхнувший, однако, впустую — во всяком случае, для меня. Акулы, длиной шесть-семь футов, а одна и того больше, были серо-голубые — шустрые острорылые хищницы с торчащими из пасти смертоносными зубами. Я следил за ними с тревогой. Самая большая устремилась прямо к шлюпке, словно собиралась напасть. Ее спинной плавник выступал из воды на несколько дюймов. Но у самой шлюпки она ушла вглубь, проскользнув под днищем с устрашающей грациозностью. Потом вернулась, правда на сей раз держась на расстоянии, и снова исчезла. Остальные акулы еще долго сопровождали нас, скользя на разной глубине: одни плыли у самой поверхности, так, что до них можно было дотянуться рукой, другие — чуть глубже. Среди них мелькали и другие рыбы, большие и маленькие, разных цветов, форм и размеров. Я мог бы разглядеть их поближе, если бы не отвлекся на Апельсинку.

Она повернулась и опустила руку на брезент — в точности как это сделали бы вы или я, положив руку на спинку рядом стоящего стула, — широким спокойным жестом. Впрочем, до спокойствия ей на самом деле было далеко. С выражением глубокой тоски и печали она принялась озираться по

сторонам, медленно поворачивая голову туда-сюда. И забавный образ человекообразной обезьяны тут же исчез. Апельсинка родила в зоопарке двух детенышей, двух самцов-крепышей — одному теперь было пять лет, а другому восемь, — ставших нашей общей с нею гордостью. И сейчас она, как видно, думала о них, вглядываясь в водную ширь с таким же видом, с каким это делал я в течение последних полутора суток. Заметив меня, она никак не отреагировала. Я был всего лишь другим животным, потерявшим все и обреченным на гибель. Мне стало не по себе.

Вдруг послышался отрывистый рык — гиена вышла из оцепенения. Она провалялась в своем закутке весь день. И теперь, упершись передними лапами зебре в бок, вылезла наружу и вцепилась ей зубами в кожную складку. И резко рванула на себя. У зебры с брюха сошла полоска шкуры — словно яркая упаковка с подарка, одним махом, только совсем бесшумно — так, как обычно рвется кожа, поддаваясь с большим трудом. Кровь тут же хлынула потоком. Зебра очнулась и, завывая, фыркая и визжа, приготовилась защищаться. Она взбрыкнула передними ногами, повернула голову и попыталась укусить гиену, но не достала. Тогда она ударила здоровой задней ногой

— и тогда я понял, что за стук слышал прошлой ночью: зебра била копытом в борт шлюпки. Но попытки зебры защититься еще больше раздразнили гиену — она злобно зарычала, ощерилась и прокусила в боку у зебры огромную дырищу. Скоро ей стало неудобно нападать на зебру со спины, и она взобралась ей на бедра. И стала рвать зубами скрученные кишки и другие внутренности. Она грызла все подряд. Куснет здесь, урвет там… Явно ее ошеломило доставшееся ей роскошное пиршество. Сожрав половину печени, она взялась за бледный шарообразный желудок. Но тот не поддавался, и, поскольку бедра у зебры были выше брюха — а тут еще все осклизло от крови, — гиена стала соскальзывать в разверзшееся чрево жертвы. Упершись передними лапами в брюхо, она просунула голову в рану по самые плечи. Потом высунула ее наружу и снова засунула внутрь. В конце концов она примостилась поудобнее, зарывшись в брюхо наполовину. Зебру пожирали заживо изнутри.

Апельсинка уже не могла смотреть на это спокойно. И встала на банку во весь рост. Со своими несообразно короткими ногами и огромным туловищем она напоминала холодильник на погнутых колесиках. Однако же громадные вски-

нутые ручищи придавали ей весьма грозный вид. В размахе они были больше туловища: одна повисла над водой, а другая, простертая во всю ширь шлюпки, почти доставала до противоположного борта. Апельсинка оскалилась, выставив огромные клыки, и *взревела.* Рев был протяжный, мощный, резкий — и тем более странный, что издавшее его животное обыкновенно молчаливо, как жираф. Гиену этот взрыв ярости испугал не меньше моего. Она съежилась и отпрянула. Но ненадолго. Через мгновение она уставилась на Апельсинку, вздыбив шерсть на шее и плечах и вздернув хвост. Она снова вспрыгнула на умирающую зебру. И, оскалив окровавленную пасть, ответила Апельсинке пронзительным воем. Их разделяли фута три — с этого расстояния они впились друг в друга пристальными взглядами, широко раскрыв пасти. От истошных воплей у них содрогались тела. Я даже мог заглянуть гиене глубоко в пасть. Тихоокеанский воздух, еще минуту назад разносивший вокруг только пересвист и перешептывание волн, сливавшиеся в простую мелодию, которую в других обстоятельствах я назвал бы умиротворяющей, вмиг наполнился ужасающим ревом, точно в разгар яростной битвы, сопровождающейся ружейной

пальбой, канонадой и оглушительными взрывами снарядов. Визг гиены заполнял верхние регистры грянувшей какофонии, рев Апельсинки — нижние, а сквозь них, откуда-то из середины, до меня доносились стоны беспомощной зебры. Мне казалось, что уши мои вот-вот лопнут. Я не смог бы сейчас распознать больше ни единого звука.

Меня невольно затрясло. Я не сомневался, что гиена сейчас кинется на Апельсинку.

Я и представить себе не мог, что дело обернется еще хуже. Но так оно и случилось. Зебра отхаркнула сгусток крови за борт. И через миг-другой шлюпка сильно содрогнулась, потом еще раз. Вода кругом закишела акулами. Они метались в поисках источника крови и близкой добычи. Из воды показались не только их хвостовые плавники, но и головы. Шлюпку трясло беспрерывно. Я боялся не того, что мы опрокинемся, — я опасался, как бы акулы не пробили металлический корпус и не потопили нас.

С каждым ударом о борт звери испуганно озирались, однако это не мешало им переругиваться. Я был убежден, что перебранка вот-вот перейдет в схватку. Но вместо этого через несколько минут она внезапно стихла. Апельсинка, раздраженно

причмокивая, отвернулась, и гиена с опущенной головой попятилась, юркнув за истерзанное тело зебры. Акулы, так ничего и не обнаружив, перестали биться о шлюпку и, похоже, уплыли прочь. Наконец-то воцарилась тишина.

В воздухе повис смрад — резкий, отвратительный запах ржавчины вперемешку с экскрементами. Кругом все было в крови, уже сгущавшейся в бурую корку. Где-то прожужжала одна-единственная муха, и звук этот отозвался во мне болезненным, тревожным сигналом. В тот день ни один корабль так и не показался на горизонте, а день между тем подходил к концу. Когда солнце скользнуло за горизонт, умерли не только день и бедняжка зебра, но и мои родные. Второй закат породил сомнения, а они — боль и горе. Все погибли — какой теперь смысл это отрицать. Но как такое понять сердцем! Потерять брата — значит потерять того, с кем вместе ты мог бы расти, кто подарил бы тебе невестку и племянниц с племянниками, — они расцвели бы на твоем древе жизни новыми побегами. Потерять отца — значит потерять верного советчика и наставника, того, кто поддерживал бы тебя, как ствол — ветки. Потерять мать — это… все равно что потерять солнце над головой. Все равно что… впрочем,

простите, лучше не продолжать. Я повалился на брезент и всю ночь напролет лил горькие слезы, обхватив голову руками. Гиена большую часть ночи обжиралась.

47

Наступил день, влажный и хмурый; дул теплый ветер, небо было затянуто плотным серым пологом облаков, будто сшитым из грязных простыней. Море не изменилось. Оно размеренно раскачивало шлюпку вверх-вниз.

Зебра все еще была жива. Уму непостижимо. В боку у нее зияла дыра фута два шириной, похожая на кратер только что извергшегося вулкана; недоеденные внутренности вывалились наружу — они то мерцали, то отливали холодным блеском, — но в главных ее органах жизнь пока теплилась, едва-едва. Зебра лишь подергивала задней ногой да время от времени помаргивала. Я был в ужасе. Никогда не думал, что живое существо может выжить с такими ранами.

Гиена нервничала. Она даже не смогла протиснуться в свой закуток и спрятаться от дневного света. Может, оттого, что обожралась и брюхо у нее разбухло донельзя. У Апельсинки тоже было недоброе настроение. Она тоже нервничала — и все скалилась.

Я оставался на прежнем месте, свернувшись калачиком на носу. У меня не было сил — ни

физических, ни душевных. Я боялся, что если попробую снова взобраться на весло, то не удержусь и свалюсь в воду.

Зебра умерла около полудня. Глаза у нее остекленели, и на очередные наскоки гиены она уже никак не реагировала.

После полудня ярость вспыхнула снова. Напряжение достигло немыслимого предела. Гиена скулила. Апельсинка ворчала и громко причмокивала. В какой-то миг их грозные вскрики слились в один оглушительный ропот. Гиена перескочила через труп зебры и набросилась на Апельсинку.

По-моему, я уже говорил, насколько опасна гиена. Для меня же это было так очевидно, что я распрощался с Апельсинкой еще до того, как она кинулась защищаться. Но я недооценивал ее. Недооценивал ее храбрость.

Она с размаху хватила гадину по башке. Вот это да! Сердце мое дрогнуло — от любви, восхищения и страха. Не помню, говорил ли я, что когда-то она была совсем домашняя? Но бессердечные хозяева из Индонезии отказались от нее. История Апельсинки была как две капли воды похожа на судьбу других домашних питомцев, однажды ставших неугодными своим хозяевам.

А происходит все так: зверушку покупают, когда она еще совсем крохотная — просто очаровашка. Хозяева на нее не надышатся. Потом она подрастает, нагуливает аппетит. И вот выясняется, что держать в доме эдакую громилу решительно нет никакой возможности. Зверь набирается сил — и с ним уже не совладать. В один прекрасный день служанка вытаскивает простыню из его уголка, чтобы простирнуть, или хозяйский сын потехи ради вырывает из лап животного лакомый кусок — но даже из-за таких пустяков зверь злобно оскаливается, пугая всех домочадцев. И на другой день он уже радостно скачет на заднем сиденье в семейном джипе за компанию со своими человекообразными братьями и сестрами. И вот мы в джунглях. Пассажиры млеют от восторга. А вот и полянка. Короткая разминка — пешком. Тут вдруг джип с ревом срывается с места, только комья земли летят из-под колес, — и домашний любимец глядит вслед тем, к кому так привязался, а те провожают его взглядом через заднее стекло удаляющегося джипа. Питомца попросту бросили. Но ему этого не понять. К жизни в лесу он приспособлен ничуть не лучше своих человекообразных сородичей. Он все ждет, когда они вернутся, силясь побороть страх. А их все нет и

нет. Солнце заходит. Он начинает тосковать, да так, что жить не хочется. И через несколько дней погибает от голода, если не какая-нибудь другая напасть. Если не задерут собаки.

Такая же горькая участь ожидала и Апельсинку. Но, к счастью, она вовремя попала в Пондишерийский зоопарк. И осталась доброй и послушной. Помню, когда я был маленький, она обнимала меня своими ручищами и все рылась у меня в волосах пальцами, каждый длиной с мою руку. Она была молодой самочкой — и просто следовала материнским инстинктам. А когда выросла во всю свою природную стать, я уже держался от нее подальше. Думалось, я знал Апельсинку так хорошо, что мог предугадать любой ее жест, — знал не только ее привычки, но и все, на что она вообще способна. Но этот взрыв гнева и неудержимой отваги убедил меня, что я ошибся. Потому как знал ее лишь с одной стороны.

А она взяла и хватила гадину прямо по башке. Да еще как! Голова у гиены хрястнулась о банку, к которой она только что подобралась, да с такой силой, что передние лапы подкосились, — и я решил, что челюсть у нее разлетелась вдребезги вместе с банкой. Но через мгновение гиена снова вскочила, ощерившись, — у меня тоже волосы на

голове встали дыбом, — хотя злобы у нее заметно поубавилось. Она попятилась. Я торжествовал. И радовался за храбрую мою Апельсинку.

Правда, недолго.

Взрослой самке орангутана нипочем не одолеть взрослого самца пятнистой гиены. Доказательством тому — сама жизнь. Да будет это известно всем зоологам. Будь Апельсинка самцом, будь она настолько огромна, как мне того хотелось бы всем сердцем, — другое дело. Однако, хоть она и жила в зоопарке как у Христа за пазухой, ела вдосталь и порядком раздобрела, все равно вес ее едва дотягивал до 110 фунтов. Самки орангутанов раза в два меньше самцов. Но дело даже не в весе и не в грубой силе. Апельсинка сумела бы за себя постоять. Дело скорее в ловкости и опыте. Что плодоядный зверь смыслит в резне? Почем ему знать, куда кусать и как цепко держать? Будь орангутан огромен, как гора, будь ручищи у него крепки, как молоты, и гибки, как плети, а клыки длинны и остры, как клинки, и при этом он не будет знать, как пользоваться этим оружием, — толку от него никакого. Гиена же одолеет человекообразную обезьяну и одними челюстями, потому что знает, чего хочет и как добиться своего.

Гиена вернулась на прежнее место. Вспрыгнула на банку и схватила Апельсинку за запястье раньше, чем та успела ее ударить. Апельсинка жахнула гиену по башке другой рукой, но от удара гадина только злобно зарычала. Тогда Апельсинка принялась кусаться, но гиена оказалась ловчее. Увы, Апельсинка не успевала отбиваться, а если и защищалась, то беспорядочно. Она боялась — и страх был ей только помехой. Гиена, отпустив ее запястье, тут же со знанием дела вцепилась ей в глотку.

Онемев от жалости и ужаса, я глядел, как Апельсинка колошматит гиену куда придется, клочьями вырывая из нее шерсть, в то время как гиена все крепче сжимает челюсти у нее на горле. Апельсинка вела себя, как человек, до последнего вздоха: в глазах — ужас чисто человеческий, да и хрипела она так же — по-человечески. Она попыталась было вскарабкаться на брезент. Но гиена с силой ее одернула. И они вместе рухнули с банки на дно шлюпки. Теперь я слышал только шум возни, а видеть — ничего не видел.

Я — следующий. Это было ясно как день. Я с трудом приподнялся. Но сквозь слезы, застившие мне глаза, почти ничего не видел. Но я оплакивал не моих родных и не грозившую мне смерть. Я

был слишком потрясен, чтобы думать об этом. А плакал я от непомерной усталости — давно пора было перевести дух.

Я решил перебраться подальше на нос. Там брезент был закреплен втугую, а посередине малость провисал; мне же предстояло одолеть по нему три-четыре трудных, пружинящих шага. Надо было переступить через сетку и отвернутый край брезента. А это оказалось не так-то просто: ведь шлюпку качало беспрестанно. В том состоянии, в каком я тогда находился, это было сродни сложнейшему горному переходу. Когда я оперся ногой на среднюю поперечную банку и ощутил ее крепость, меня это ободрило так, как если бы я ступил на твердую землю. Я встал на банку обеими ногами, радуясь, что стою крепко. Правда, у меня кружилась голова, но с приближением решающей минуты в моей жизни от этого все чувства только обострились. Я выставил руки перед собой — как еще было защищаться от гиены? А она уже уставилась прямо на меня. Пасть у нее была в крови. Апельсинка лежала здесь же, рядом с трупом зебры. Руки широко раскинуты, коротенькие ноги сложены вместе и чуть вывернуты. Точь-в-точь Христос на кресте, только обезьяний. И безголовый. Да, головы у нее уже не

было. Из перегрызенного горла била кровь. Глаза мои не могли на это глядеть, разум отказывался это понимать. И я потупился — чтобы собраться с последними силами перед тем, как схватиться с гиеной.

И тут у себя между ног, под банкой, я заметил голову Ричарда Паркера. Она была громадная. Размером с Юпитер — во всяком случае, в моем воспаленном воображении. А лапища — что пара томов Британской энциклопедии.

Я перебрался на прежнее место и затаился.

Всю ночь я бредил: мне чудилось, будто я сплю и просыпаюсь оттого, что увидел во сне тигра.

48

Своим прозвищем Ричард Паркер был обязан одному нерадивому чиновнику. В Бангладеше, в округе Кхулна, неподалеку от Сундарбана, пантера нагоняла страху на все тамошнее население. Как-то она утащила маленькую девчушку. Все, что от нее осталось, — крохотная ручонка с красновато-коричневым узорчиком на ладошке и парой пластмассовых браслетиков. То была седьмая жертва хищницы за два месяца. И на этом дело не кончилось. Следующей жертвой стал крестьянин: зверюга напала на него в поле среди бела дня. Она утащила бедолагу в лес, сожрала большую часть его головы, оторвала кусок правой ноги и слопала все внутренности. Тело же его потом нашли на ветвях дерева. В ту ночь селяне устроили засаду, думая подстеречь и прикончить пантеру, но та как в воду канула. Тогда в Управлении по охране лесов наняли бывалого охотника. Тот засел в подвесной беседке на дереве у реки, где хищница нападала дважды. А к колышку на берегу реки привязали козу. Охотник просидел так не одну ночь. Он-то думал, что стережет старого, дряхлого самца со

стесанными зубами, который только и горазд что нападать на нерасторопного человека. А тут как-то ночью выходит из леса здоровенная тигрица. С одним-единственным тигренком. Коза ну блеять. Тигренок, которому с виду было месяца три, на нее даже не глянул. А потрусил прямиком к реке — и давай пить. Мать — следом за ним. Если взять голод и жажду, то перевесит жажда. Только утолив жажду, тигрица обратила внимание на козу, решив утолить и голод. У охотника было два ружья: одно с боевыми патронами, а другое со снотворными стрелами. Хоть тигрица и не была людоедкой, она объявилась слишком близко от деревни — и могла стать угрозой для местных, тем более что с ней был тигренок. Охотник вскинул ружье, заряженное стрелами. И выстрелил в тот миг, когда тигрица собиралась наброситься на козу. Тигрица пришла в ярость, взревела и кинулась прочь. Снотворные стрелы усыпляют не медленно, как чашка доброго чая, а мгновенно — как бутылка крепчайшего спиртного. К тому же чем больше животное дергается, тем быстрее действует снотворное. Охотник вызвал по рации подручных. Те нашли тигрицу аж за двести ярдов от реки. Она все еще была в сознании. Задние лапы у нее парализовало, но передними она

пока шевелила, и довольно бойко. Когда люди подошли поближе, она хотела пуститься наутек, но не тут-то было. Тогда она повернулась к ним и вскинула одну лапу — в знак угрозы. Но тут же оступилась и рухнула наземь. И вскоре Пондишерийский зоопарк обзавелся парочкой новых тигров. Тигренка подобрали неподалеку, в кустах: он сидел и пищал от страха. Охотник, которого звали Ричардом Паркером, взял его голыми руками и, памятуя, с какой жадностью тот лакал воду в реке, прозвал его Водохлебом. А чиновник из транспортной конторы на станции в Хоуре оказался набитым дураком, притом чересчур старательным. В результате в сопроводительных бумагах, которые мы получили вместе с тигренком, было черным по белому написано, что зовут его Ричардом Паркером, а охотника — Водохлебом по фамилии Бесфамильный. Отец хохотал до упаду, ну а тигренок так и остался Ричардом Паркером.

А вот изловил ли Водохлеб Бесфамильный пантеру-людоедшу — чего не знаю, того не знаю.

49

Утром я не мог пошевельнуться. Так ослаб, будто меня пришпилили к брезенту. В голове все перепуталось. Но я заставил себя думать. Наконец мысли неспешно потянулись друг за другом, как верблюжий караван по пустыне.

День был такой же, как вчера, — теплый и пасмурный; низкие облака, легкий ветерок. Это — первая мысль. Шлюпку покачивало — вторая.

Только сейчас я задумался о еде. За три дня у меня во рту маковой росинки не было, да и глаз я не сомкнул ни на минуту. Сообразив, что в этом-то и есть причина моей слабости, я немного приободрился.

Ричард Паркер был здесь же, в шлюпке. В сущности — прямо подо мной. Как ни странно, это была правда, не нуждавшаяся в подтверждении, однако лишь после долгих размышлений и сопоставлений тех или иных фактов и событий я понял, что это не сон, не бред, не расстройство памяти, не наваждение и не какой бы то ни было обман чувств, а самая что ни на есть суровая правда, вот только осознанная в состоянии сильнейшего нервного возбуждения. Я непременно

это проверю — как только мне полегчает.

Как же меня угораздило проглядеть четырехсотпятидесятифунтового бенгальского тигра? Как я не заметил его за эти два дня в двадцатишестифутовой шлюпке? Просто загадка, но я обязательно ее разрешу, вот только малость окрепну. Как ни крути, Ричард Паркер изловчился стать самым солидным «зайцем» — понятное дело, по габаритам — в истории мореплавания. Если считать от кончика носа до кончика хвоста, он занимал добрую треть судна, на борту которого оказался.

Вы, наверное, решили, что в ту минуту я потерял всякую надежду. И то верно. Впрочем, довольно скоро я воспрял духом. В спорте такое случается сплошь и рядом, правда же? В теннисе слабый соперник бросается в атаку что есть мочи — и быстро сдает. Чемпион выигрывает гейм за геймом. Однако в последнем сете, когда слабаку уже нечего терять, он успокаивается и становится хладнокровным и дерзким. Его словно прорывает — и чемпиону приходится изрядно попотеть, чтобы набрать победные очки. Так же и со мной. Справиться с гиеной в принципе было возможно, не то что с громадиной Ричардом Паркером, — насчет него и беспокоиться не стоило. С тигром

на борту мне точно конец. В таком случае почему бы мне не поискать чего-нибудь съестного, а заодно и жажду утолить?

В то утро я буквально умирал от жажды — она-то, думаю, меня и спасла. Теперь, когда это слово прочно засело у меня в голове, ни о чем другом я уже и помыслить не мог, как будто у самого слова был соленый вкус, и чем чаще я о нем думал, тем больше страдал. Слыхал я, что от удушья люди мучаются куда сильнее, чем от жажды. Но зато недолго. Через несколько минут человек умирает — мучениям приходит конец. А жажда превращается в долгую пытку. Вот вам пример: Христос умер на кресте от удушья, но жаловался только на жажду. И уж если Бог Воплощенный страдал от жажды, то я, простой смертный, и подавно. Впору было даже свихнуться. Еще никогда не приходилось мне испытывать таких физических мук, такого омерзительного, вязкого привкуса во рту, таких спазмов в горле и такого ощущения, словно кровь превращается в густой, тягучий сироп. Вот уж действительно, какой там тигр по сравнению с этими муками.

Я уже не думал о Ричарде Паркере. Забыв о страхе, я принялся шарить в поисках воды.

«Волшебная лоза» в моем мозгу вдруг резко

дернулась, указуя на животворный источник, стоило мне только вспомнить, что я нахожусь в самой что ни на есть настоящей спасательной шлюпке, а в таких шлюпках предусмотрено все жизненно необходимое. В самом деле — вполне разумно. Какой капитан не позаботится о своем экипаже? Какой шипчандлер[14] упустит случай подзаработать под благовидным предлогом спасения человеческой жизни? Сказано — сделано. На борту должна быть вода — остается ее найти.

А значит, хватит сидеть сиднем.

Я перебрался на середину шлюпки — к кромке брезента. С большим трудом. Я словно карабкался по склону вулкана, собираясь заглянуть в его жерло, где клокочет огненная лава. Распластался. И осторожно высунулся наружу. Но ничего такого не увидел. Во всяком случае — Ричарда Паркера. Зато гиену было видно очень хорошо. Она притаилась за останками зебры и поглядывала на меня.

Я уже не боялся гиены. До нее было футов десять, но сердце у меня даже не екнуло. Хоть какой-то прок от Ричарда Паркера. Бояться какой-то уродливой псины, когда у тебя под носом тигр, —

---

[14] Примечания: 14
Шипчандлер — агент по снабжению судна.

все равно что бояться щепок, когда кругом валят лес. Я страх как разозлился на эту тварь. «Мерзкая гадина», — вырвалось у меня. Я не встал и не вышвырнул ее за борт лишь потому, что под рукой не оказалось палки, да и силенок было маловато, а не оттого, что струсил.

Почуяла ли гиена, что я воспрял духом? Может, смекнула: «Вот он, супер альфа, глядит прямо на меня — не лучше ли поджать хвост?» Не знаю. Во всяком случае, она не шелохнулась. А когда опустила голову, мне даже показалось, что ей хочется спрятаться от меня подальше. Но разве тут спрячешься? Твари скоро предстояло отправиться в мир вечной пустыни. Ричард Паркер — вот из-за кого гиена вела себя так странно. Потому-то она и таилась в своем крохотном закутке, позади зебры, и долго выжидала, прежде чем ее разорвать. Она боялась зверя покрупнее, боялась прикоснуться к его добыче. Да и временное напряженное перемирие между Апельсинкой и гиеной, равно как и отсрочка моей смерти, — все это объяснялось тем же: рядом с таким огромным хищником все мы были добычей, и тут уж не до привычных охотничьих повадок. Присутствие тигра, похоже, только и спасло меня от гиены — классический пример того, как можно угодить

из огня да в полымя.

Но громадный зверь вел себя довольно странно — и гиена осмелела. Почему же все-таки Ричард Паркер пролежал тихо-мирно три дня кряду — вот вопрос. Тому могло быть только два объяснения: снотворное и морская болезнь. Отец постоянно пичкал некоторых зверей снотворным, чтобы они вели себя спокойно. Может, он и Ричарда Паркера напичкал незадолго до того, как судно пошло ко дну? Может, встряска при кораблекрушении — шум, гам, падение в море, изнурительный заплыв до шлюпки — усугубила действие снотворного? А тут еще морская болезнь. По-моему, это были единственно возможные причины.

Впрочем, меня уже это совсем не интересовало. Вода — вот что стало главной моей заботой.

И я нашел то, что искал.

50

Шлюпка была три с половиной фута в глубину, восемь футов в ширину и двадцать шесть футов в длину — тютелька в тютельку. Я узнал это из надписи, пропечатанной большими черными буквами на одной из боковых банок. Кроме того, там было написано, что шлюпка рассчитана максимум на тридцать два человека. Вот было бы здорово, если бы все они здесь собрались! Но нас было только трое — и то уже слишком. Шлюпка имела симметричную форму, с одинаково закругленными носом и кормой, так что и не отличишь. К корме крепился маленький руль, размером не больше задней части киля, а на носу, помимо моей собственной фигуры, выступал форштевень, самый неказистый в истории кораблестроения. Алюминиевый корпус, выкрашенный белой краской, был сплошь прошит заклепками. Так шлюпка выглядела снаружи. Однако внутри она была не такая уж просторная, как могло бы показаться, и все из-за боковых банок с воздушными ящиками. Боковые банки тянулись по всей длине шлюпки, сходясь углами на носу и корме и образуя, соответственно, банку носовую и кормовую.

Банки служили крышками герметичным воздушным ящикам. Боковые банки были полутора футов шириной, а носовая и кормовая — фута три глубиной, так что свободного места в шлюпке оставалось не больше двадцати футов в длину и пяти футов в ширину. В результате Ричарду Паркеру досталась территория площадью сто квадратных футов. По всей ширине свободного пространства располагались три поперечные банки, считая ту, которую проломила зебра. В ширину эти банки достигали двух футов, притом что расстояние между ними было одинаковое. Они возвышались на два фута над днищем шлюпки — такой вот зазор был у Ричарда Паркера, и вздумай он забраться под банку, то непременно стукнулся бы о нее, как о потолок. Под брезентом же у него в запасе было еще дюймов двенадцать в высоту, считая промежуток между планширем, к которому крепился брезент, и банками, так что в общей сложности выходило три фута, но и там ему негде было развернуться. Днище, выложенное узкими гладкими досками, было плоское — и вертикальные боковины воздушных ящиков упирались в него под прямым углом. Несмотря на округлые нос, корму и борта, изнутри шлюпка, как ни странно, была прямоугольная.

Очевидно, оранжевый цвет, милый сердцу индуса, считается цветом выживания, поскольку внутри шлюпки оранжевым было все, включая брезент, спасательные жилеты, весла и прочие крупногабаритные предметы. Даже пластмассовые свистки, без шарика внутри, и те были оранжевые.

По обе стороны от носа, на скулах, большими черными буквами было выведено: *ЦИМЦУМ* и *ПАНАМА*.

Чехол был из крепкого пропитанного брезента, грубого на ощупь. Он простирался до заднего края средней поперечной банки. Таким образом, брезент покрывал только одну поперечную банку, за которой как раз и притаился Ричард Паркер; средняя же поперечная банка, под кромкой брезента, была открыта, а третью, проломанную, скрывал труп зебры.

Уключины представляли собой шесть подковообразных вырезов на планшире, с веслом в каждой, — то есть всего пять весел, если учесть, что одно я выронил, когда пытался отогнать Ричарда Паркера от шлюпки. Три весла были уложены на боковой банке по одному борту, четвертое лежало по другому, а пятое послужило мне спасительным насестом. Я думал, весла

вряд ли пригодятся мне в качестве движителей. Шлюпка вам не байдарка. Эта громоздкая прочная конструкция рассчитана на то, чтобы просто удерживаться на плаву, а не путешествовать по морю, хотя если б нас было тридцать два человека и мы дружно налегли бы на весла, то, возможно, смогли бы кое-как продвигаться вперед.

Все это — и многое другое — я заметил далеко не сразу, а со временем, да и то по необходимости. Поскольку я попал в тот еще переплет и будущее представлялось мне самым безрадостным, то любая мелочь, любая деталька вдруг превращалась в нечто значительное, открываясь моим глазам в совершенно новом свете. И это уже была не мелочь, как раньше, а самая важная вещь в мире, потому как от нее, быть может, зависела моя жизнь. И так повторялось со мной не раз. Правду говорят, что необходимость — мать изобретательности, истинную правду.

51

Однако в первый раз, обшаривая шлюпку, я не нашел того, что искал. На корме боковые банки плавно переходили в одну — угловую, как и боковины воздушных ящиков. Плоское днище шлюпки прилегало так плотно к корпусу, что под ним ничего не спрячешь. Ни ящика, ни коробки, ни какой бы то ни было другой емкости — ничего. Кругом одни ровные, гладкие оранжевые поверхности.

Мое доверие к капитанам и шипчандлерам пошатнулось. И надежды на то, что выживу, разом померкли. Осталась только жажда.

А что, если все припасы на носу, под брезентом? Я развернулся и пополз обратно. Мне казалось, что я похож на сушеную ящерицу. Я навалился на брезент всем телом. Без толку — твердый, как доска. Но если его отвернуть, то наверняка можно добраться до провианта, который, верно, под ним и хранится. Однако так можно проделать и дыру в логово Ричарда Паркера.

Впрочем, сомневаться было некогда. Жажда подстегивала. Я достал из-под брезента весло. Натянул спасательный круг себе на пояс, уложил

весло поперек носа шлюпки. Перегнулся через планширь и большими пальцами высвободил из одного гака конец, которым к нему крепился брезент. Попотеть пришлось изрядно. Но после первого гака справиться со вторым и третьим оказалось куда легче. То же самое проделал я и с другого носового борта. И тотчас почувствовал, как брезент у меня под локтями заметно прогнулся. Я распластался сверху, повернувшись ногами к корме.

И малость отвернул брезент. И тут же был вознагражден. Нос у шлюпки был точь-в-точь как корма — с такой же угловой банкой. На ней, всего лишь в нескольких дюймах от форштевня, подобно алмазу, сверкал засов. Похоже — какая-то крышка. Сердце у меня забилось часто-часто. Я отвернул брезент еще больше. И заглянул под него. Крышка была треугольная, с закругленными концами, три фута шириной и два фута глубиной. Тут я заметил что-то большое, оранжевое. И вмиг отдернул голову. Но то, оранжевое, даже не шелохнулось — странно. Я глянул еще разок. Не тигр. Спасательный жилет. В задней части логова Ричарда Паркера лежала целая куча спасательных жилетов.

У меня по телу пробежала дрожь. Через гру-

ду спасательных жилетов я первый раз, точно сквозь листву, ясно и четко разглядел Ричарда Паркера, хоть и не всего целиком. Только задние лапы и часть спины. Рыжевато-коричнево-полосатая громадина. Он растянулся на брюхе, мордой к корме. Лежал неподвижно — только дышал, раздувая бока. Я заморгал, не веря своим глазам: до него было совсем рукой подать. Вот он, прямо подо мной — в каких-нибудь двух футах. В самом деле, я спокойно мог бы достать до него рукой и ущипнуть за ляжку. И между нами — только жалкий брезент.

«Боже, спаси!» Еще ни одна мольба не была столь горячей и столь сдавленной. Я лежал, не смея шевельнуться. Но вода была мне нужна как воздух. Я осторожно просунул руку вниз, бесшумно отодвинул засов. И потянул крышку вверх. Под нею был ящик.

Я уже говорил, что жизнь иной раз зависит от совершенного пустяка. Так и сейчас: крышка держалась на петлях, расположенных примерно в дюйме от края носовой банки, — значит, если ее открыть, можно устроить дополнительную преграду, выиграв двенадцать дюймов свободного пространства между брезентом и банкой, через которую, разбросав спасательные жилеты,

Ричард Паркер мог бы добраться до меня. Я тянул крышку вверх и на себя до тех пор, пока она не опрокинулась на уложенное поперек весло и не уперлась в край брезента. Не спуская глаз со шлюпки, я подобрался к форштевню, опершись одной ногой на край ящика, а другой — на крышку. Вздумай Ричард Паркер напасть снизу, ему пришлось бы сперва откинуть крышку обратно. Такой толчок послужит мне сигналом — и я успею сигануть за борт со спасательным кругом на поясе. Если же он нагрянет с другой стороны — по брезенту, сзади, я тоже замечу его вовремя и успею прыгнуть в воду. Я глянул за борт. Акул вроде не видать.

Я посмотрел себе под ноги. И от радости едва не лишился чувств. В ящике поблескивали разные незнакомые штучки. Как же я обрадовался при виде всех этих вещиц и предметов, созданных руками человеческими! Этот миг зримого откровения привел меня в такой восторг — вобравший в себя и надежду, и удивление, и сомнение, и страх, и благодарность, — какого я не испытывал больше никогда в жизни: ни в Рождество, ни в дни рождения, ни на свадьбе, ни на Дивали, ни в любой другой праздник дароприношений. От радости у меня голова пошла кругом.

Взгляд мой тут же упал на то, что я искал. Емкость с водой ни с чем не спутаешь, будь то бутылка, жестянка или вощеная коробка. На этой шлюпке вино жизни хранилось в отливавших тусклым золотом жестянках, очень удобных для переноски в руках. «Питьевая вода» — кричали черные буквы на марочной этикетке. Виноделы — «ЭЙЧ-ПИ фудс лимитед». Емкость — «500 мл». Жестянки были сложены штабелями и в таком количестве, что сразу не сосчитаешь.

Дрожащей рукой я прикоснулся к одной — и вытащил наружу. Тяжелая, на ощупь холодная. Встряхнул. Внутри забулькало — *буль-буль-буль*. Наконец-то я избавлюсь от смертельной жажды. При мысли об этом у меня заколотился пульс. Оставалось только вскрыть жестянку.

Вот незадача. Как же это сделать?

Уж если я нашел жестянку, значит, непременно найдется и чем ее открыть. Я заглянул в ящик. Чего там только не было. Я перебирал все подряд. И уже начал терять терпение. Должно же это когда-нибудь кончиться! Надо напиться прямо *сейчас* — иначе смерть. А вожделенного орудия нет как нет. Однако времени отчаиваться не было — пустое это занятие. Надо было действовать. Может, ногтями попробовать? Я попробовал. Не

вышло. Зубами? Напрасный труд. Я взглянул на планширь. На гаки, державшие брезент, короткие, тупые, крепкие. Упершись коленями в банку, я наклонился. И, держа жестянку обеими руками, сильно ударил ею о гак. Здоровенная вмятина. Ударил еще раз. Снова вмятина — рядом с первой. Так, удар за ударом, вмятина за вмятиной, я все же добился своего. Из банки сверкающей жемчужиной вытекла капелька воды. Я мигом ее слизал. Потом повернул жестянку другой стороной, крышкой к гаку, чтобы проделать еще одну дырку. Я стучал как одержимый. Пробил дырку побольше. Примостился на планшире. Поднес жестянку к лицу. Открыл рот. И запрокинул жестянку.

Чувства мои, наверное, легче представить, чем описать. С глухим жадным бульканьем чистейшая, вкуснейшая, прекраснейшая хрустальная вода потекла в мое горло, наполняя всего меня живительной влагой. Жидкой жизнью — вот чем. Я осушил золотую жестянку до последней капли и потом еще долго облизывал дырку, скрывавшую, быть может, остатки влаги. Переведя дух, я выбросил пустую банку за борт и достал другую. Я открыл ее так же, как первую, и так же быстро осушил. После того как и она полетела за

борт, я открыл еще одну. Вскоре и та отправилась в океан. Я потянулся за следующей. Только проглотив содержимое четырех жестянок, два литра божественного нектара, я наконец остановился. Вы, верно, решили, что, поглощая воду с такой скоростью после продолжительной жажды, я мог себе навредить. Ерунда! Еще никогда в жизни мне не было так хорошо. Не верите — потрогайте мой лоб! На нем выступил чистый, прозрачный, освежающий пот. Во мне все ликовало — все до мельчайших пор кожи.

Я ощутил, как на меня нисходит благодать. Сухости и жжения во рту как не бывало. Про спазмы в горле я и думать забыл. Кожа сделалась мягкой. И суставам стало заметно легче. Сердце билось ровно и радостно, как бойкий барабан, кровь заструилась по жилам подобно потоку машин, мчащихся со свадебной церемонии под дружный перепев клаксонов. Мышцы снова налились силой и упругостью. В голове прояснилось. Я и впрямь возвращался к жизни, вкусив запах смерти. Чудо, настоящее чудо! Верно говорю, алкогольное опьянение — чистый срам, а опьянение водой — сущий восторг. Какое-то время я наслаждался переполнявшим меня счастьем.

А потом вдруг ощутил пустоту. Пощупал живот.

Он был твердый и полый, как барабан. Теперь бы в самый раз заморить червячка. Масаладосаи с кокосовой приправой чатни — гм-м! — сгодилась бы вполне. А утхаппам — и подавно! Гм! Ух ты! Я поднес руки ко рту — ИДЛИ! Стоило мне про это подумать, как у меня до боли свело зубы и потекли слюнки. Правая рука вдруг задергалась. И машинально потянулась к дивным рисовым лепешкам, возникшим в моем воображении. Пальцы погрузились в еще горячее, дымящееся тесто… Слепили шарик, обмакнули его в соус… И поднесли ко рту… Я принялся жевать… О, какая же сладкая мука!

Я стал рыться в ящике в поисках съестного. И наткнулся на картонные коробки со стандартным аварийным пайком «Севен-Оушенс» из далекого диковинного Бергена, что в Норвегии. Завтрак, который должен был восполнить три пропущенных завтрака, обеда и ужина, не говоря уже обо всяких там вкусностях, перепадавших мне от матушки, заключался в полукилограммовой пачке в герметичной серебристой пластиковой упаковке с инструкциями к употреблению на двенадцати языках. Судя по надписи на английском, паек состоял из восемнадцати питательных пшеничных галет с добавками *животного жира*

и глюкозы, притом что в сутки можно было съедать не больше шести. Жаль, что они с жиром, но, учитывая исключительные обстоятельства, вегетарианцу во мне ничего не оставалось, как смириться.

Сверху на пачке было написано: *Вскрывать здесь*. Черная стрелка указывала на краешек пластиковой упаковки. Надорвать его пальцами оказалось проще простого. Из коробки высыпались девять плоских прямоугольников в вощеной бумаге. Я развернул один. Две почти квадратные галеты, сероватые и ароматные. Я взял одну и надкусил. Господи, кто бы мог подумать? Вот те на! От меня явно утаили: норвежская кухня — лучшая в мире! Галеты — язык проглотишь. Не слишком сладкие и не очень соленые, они приятно ласкали нёбо. И мягко хрустели на зубах. Смешавшись со слюной, они превращались в зернистую массу — на радость языку и рту. Когда же я ее проглотил, желудок мой так и воскликнул — аллилуйя!

Через несколько минут от коробки ничего не осталось, а упаковку унесло ветром. Я хотел было вскрыть еще одну, но передумал. Воздержанность только на пользу. Да и потом, умяв полкило аварийного пайка, я наелся до отвала.

И теперь решил осмотреть сундук с сокровищами более обстоятельно. Ящик на поверку оказался здоровенный — намного больше самой крышки. Спереди он был шириной с корпус шлюпки, а по бокам и сзади сужался точно по боковым банкам. Я уселся на край ящика, опустил ноги внутрь, а спиной прислонился к форштевню. И стал считать коробки «Севен-Оушенс». Одну я съел — осталась тридцать одна. По инструкции, каждая пятисотграммовая коробка была рассчитана на одного человека по крайней мере на три дня. Значит, съестных припасов у меня — 31 * 3 — на девяносто три дня! Согласно тем же инструкциям, потерпевшим кораблекрушение следовало пить не больше полулитра воды в сутки. Я пересчитал жестянки с водой. Их было сто двадцать четыре. По пол-литра в каждой. Стало быть, воды у меня по меньшей мере на сто двадцать четыре дня. Еще никогда простая арифметика не вызывала у меня такой улыбки.

Так, что там еще? Я живо сунул руку в ящик и стал извлекать из него сокровище за сокровищем. При виде каждого из них — неважно, что это было, — душа моя ликовала. Мне так не хватало простого человеческого тепла, что даже ту заботу, с какой был изготовлен каждый из этих

продуктов массового потребления, я воспринимал как знак особого внимания к себе. Я сидел и беспрестанно бормотал: «Спасибо вам! Спасибо! Спасибо!»

52

По завершении тщательного осмотра у меня сложился целый список:

— 192 таблетки от морской болезни;

— 124 жестянки с пресной водой, по 500 миллилитров в каждой, то есть всего — 62 литра;

— 32 пластиковых рвотных пакета;

— 31 коробка с аварийным пайком, по 500 граммов в каждой, то есть всего — 15,5 кило;

— 16 шерстяных одеял;

— 12 солнечных опреснителей;

— 10, или около того, оранжевых спасательных жилетов с оранжевыми свистками, без шариков внутри, на шнурах;

— 6 ампул-шприцев морфина;

— 6 фальшфейеров;

— 5 плавучих весел;

— 4 ракетницы с осветительными ракетами на парашютах;

— 3 прочных ярких пластиковых мешка, каждый емкостью около 50 литров;

— 3 ключа для открывания консервных банок;

— 3 стеклянных стакана-мензурки для питья;

— 2 коробки непромокаемых спичек;

— 2 плавучие оранжевые сигнальные дымовые шашки;

— 2 средних оранжевых пластмассовых ведра;

— 2 плавучих оранжевых пластмассовых черпака;

— 2 универсальные пластмассовые канистры с герметичными крышками;

— 2 желтые прямоугольные губки;

— 2 плавучих синтетических линя, каждый длиной 50 метров;

— 2 обычные синтетические веревки неуказанной длины, но не меньше 30 метров каждая;

— 2 набора рыболовных принадлежностей с крючками, леской и грузилами;

— 2 остроги с острыми, зазубренными по краям наконечниками;

— 2 плавучих якоря;

— 2 топорика;

— 2 дождесборника;

— 2 черные шариковые ручки;

— 1 нейлоновая грузовая сетка;

— 1 твердый спасательный круг с внутренним диаметром 40 сантиметров и внешним — 80 сантиметров, с закрепленным линем;

— 1 большой охотничий нож с массивной рукояткой и заостренным концом; лезвие с одной

стороны острое, с другой — зубчатое; привязан длинным шнуром к кольцу внутри ящика;

— 1 швейный комплект с прямыми и кривыми иглами и мотком белых ниток;

— 1 комплект первой помощи в водонепроницаемой пластмассовой коробке;

— 1 сигнальное зеркало;

— 1 пачка китайских сигарет с фильтром;

— 1 большая плитка черного шоколада;

— 1 руководство по спасению на море;

— 1 компас;

— 1 блокнот из 98 страниц в линейку;

— 1 мальчуган с полным комплектом легкой одежды без ботинка;

— 1 пятнистая гиена;

— 1 бенгальский тигр;

— 1 спасательная шлюпка;

— 1 океан;

— 1 Бог.

Я съел четверть большой плитки шоколада. Осмотрел один дождесборник. Он смахивал на вывернутый зонт с большим водосборным мешком и соединительной резиновой трубкой.

Я скрестил руки на спасательном круге, который так и висел у меня на поясе, опустил голову и заснул мертвым сном.

53

Я проспал все утро. А проснулся от чувства тревоги. Наевшись, напившись вдосталь и как следует отдохнув, я не только окреп и вернулся к жизни, но и ясно осознал, в сколь отчаянном положении оказался. Я очнулся в действительности, ознаменованной присутствием Ричарда Паркера. В шлюпке был тигр. В это верилось с трудом, но я знал — поверить все-таки придется. А значит, придется как-то спасаться.

Я хотел было прыгнуть за борт и уплыть куда глаза глядят, только не смог пошевелиться. До ближайшего берега были сотни, а то и тысячи миль. Такое расстояние мне ни в жизнь не одолеть, даже со спасательным кругом. Что я буду есть? Что буду пить? Как буду отбиваться от акул? Чем буду согреваться? Да и почем я знаю, куда плыть? На этот счет у меня не оставалось ни тени сомнения: бросить шлюпку означало обречь себя на верную гибель. А что будет, останься я на борту? Он подкрадется ко мне по-кошачьи бесшумно. И вопьется в горло своими клычищами, я и глазом не успею моргнуть. Даже пикнуть не успею. Жизнь оставит меня еще до того, как я смогу

сказать последнее прощай. Хотя, быть может, он убьет меня по-другому — одним ударом лапищи.

— Все кончено, — прошептал я дрожащими губами.

Ощущение близкой смерти ужасно, но куда хуже ощущение смерти, отложенной на время, чтобы успеть понять, что ты был и еще мог бы быть счастливым. Вот когда начинаешь особенно четко видеть все, что теряешь. И от этого на душе становится горько как никогда — хуже, чем если на тебя несется машина, готовая раздавить, или перед тобой разверзается бездна, которая вот-вот тебя поглотит. Нет, стерпеть такое никаких сил не хватит. При словах «папа», «мама», «Рави», «Индия», «Виннипег» сердце мое разрывалось на части.

У меня опустились руки. Я бы совсем сдался, если бы вдруг не услышал внутренний голос. Он сказал: «Я не умру. Ни за что на свете. Только бы пережить этот кошмар. Я все одолею, сколь бы тяжкими ни были мои беды. Я жив пока — благодаря чуду. И надо сделать так, чтобы чудо стало обычным делом. Я должен его видеть изо дня в день. Чего бы мне это ни стоило. Покуда во мне жив Бог, я не умру, так-то вот. Аминь».

Невзирая на безрадостное настроение, я ис-

полнился решимости. Нет, я ничуть не кривлю душой: тогда-то во мне и пробудилась страсть к жизни. Ощущение это, судя по моему опыту, довольно смутное. Некоторые из нас отрешаются от жизни со смиренной покорностью. Другие борются за жизнь слабо-слабо — и в конце концов теряют надежду. Третьи — я принадлежу к их числу — никогда не сдаются. Мы все боремся и боремся. Боремся, несмотря ни на что, презрев потери и слабые шансы на победу. Боремся до последнего вздоха. И дело тут не в отваге. А в непреклонности характера, когда просто не можешь отступиться. Быть может, в том-то и заключается безумная жажда жизни.

В это самое мгновение Ричард Паркер зарычал, словно ждал, решусь ли я стать ему достойным противником. От страха у меня перехватило дыхание.

— Ну же, давай пошевеливайся, — прохрипел я.

Надо было позаботиться о собственной жизни. Нельзя терять ни секунды. Нужно устроить себе укрытие — не мешкая. Я вспомнил про бушприт, который соорудил из весла. Но брезент на носу был отвернут — и веслу уже не во что было упереться. Да и потом, мне не очень-то верилось,

что Ричард Паркер не сможет до меня добраться, окажись я и на дальнем конце весла. Еще как доберется — и вмиг слопает. Необходимо придумать что-нибудь понадежнее. Мозг мой лихорадочно заработал.

И я соорудил плот. Весла, если помните, были плавучие. В ход пошли и спасательные жилеты, и крепкий спасательный круг.

Затаив дыхание, я закрыл ящик и пролез под брезент за веслами, лежавшими на боковых банках. Ричард Паркер заметил движение. Я видел его сквозь груду спасательных жилетов. И когда стал вытаскивать одно весло за другим — можете себе представить, с какой осторожностью, — он недовольно зашевелился. Но не повернулся. Я достал три весла. Четвертое лежало поперек брезента. И снова поднял крышку ящика, закрыв таким образом лаз из логова Ричарда Паркера.

У меня было четыре весла. Я разложил их поверх брезента и между ними пристроил спасательный круг. Так что он оказался как бы внутри квадрата, сложенного из весел. Плот смахивал на большое поле для игры в крестики и нолики с «О» посередине, обозначавшим мой первый ход.

И вот началась самая опасная часть игры. Надо было достать спасательные жилеты. Ричард Пар-

кер уже не рычал, а громко ревел, сотрясая воздух. Гиена в ответ только робко, тонко поскуливала — верный признак страха.

У меня не оставалось выбора. Надо было действовать. Я снова опустил крышку. До спасательных жилетов можно было дотянуться рукой. Часть из них лежала прямо за спиной Ричарда Паркера. Гиена вдруг завизжала.

Я дотянулся до ближайшего жилета. Но схватить сразу не смог: рука сильно дрожала. И все-таки я его вытащил. Ричард Паркер, похоже, этого даже не заметил. Я вытащил другой жилет. Потом — еще один. Меня всего трясло от страха. Дыхание перехватило. В случае чего, думал я, прыгну за борт с охапкой жилетов. А вот и последний. Так что всего — четыре.

Я брал одно весло, потом другое и пропускал каждое через проймы жилетов — в одну вставлял, из другой вытаскивал, — так, чтобы затем закрепить их с четырех углов плота. После этого я каждый из них затянул намертво.

Достал из ящика плавучий линь. Разрезал его ножом на четыре части. И крепко связал ими весла на стыках. Ах, если б я только умел вязать морские узлы! Каждый угол я скрепил десятью узлами и все равно боялся, как бы весла не разо-

шлись. Работал я как очумелый, кляня себя за глупость. Еще бы: на борту тигр — а я просидел сложа руки три дня и три ночи, забыв про безопасность!

Я отрезал от плавучего линя еще четыре куска и закрепил ими круг с каждой стороны квадрата. Затем пропустил линь от спасательного круга через проймы жилетов и, обмотав весла, еще раз переметнул его через спасательный круг с каждой стороны плота, чтобы он наверняка не распался.

Гиена уже пронзительно визжала.

Надо было кое-что доделать, совсем чуть-чуть. «Боже, только бы успеть!» — взмолился я. И взял последний кусок плавучего линя. В носовой части шлюпки, в самом верху, было отверстие. Я пропустил через него линь и крепко-накрепко завязал. Оставалось только привязать другой конец линя к плоту — и я спасен.

Гиена притихла. Сердце у меня ушло в пятки — а потом вдруг бешено заколотилось. Я обернулся.

«Иисус, Мария, Мухаммед и Вишну!»

И вот тут-то я стал свидетелем того, что не забуду до конца моих дней. Ричард Паркер вскочил и выбрался из-под брезента. Нас с ним разделяло меньше пятнадцати футов. Ну и громадина!

Гиене скоро конец, а потом и мне. Я окаменел, остолбенел, одеревенел — все сразу, не в силах оторваться от того, что происходило у меня на глазах. По недолгому опыту наблюдения за дикими животными, оказавшимися на свободе, ограниченной бортами спасательной шлюпки, я знал, что, перед тем как в воздухе запахнет кровью, жди оглушительного рева — всплеска ярости. Но все произошло почти бесшумно. Гиена издохла, и пикнуть не успев, да и Ричард Паркер, когда убивал, не издал ни единого звука. Огненно-рыжий хищник, выбравшись из-под брезента, двинулся прямиком на гиену. Та жалась к кормовой банке, за тушей зебры, не в силах сдвинуться с места. Она и не думала ввязываться в драку, а только припала к днищу и вскинула переднюю лапу — в тщетной попытке защититься. Морда у нее исказилась от ужаса. На плечи ей обрушилась огромная лапища. Ричард Паркер сжал челюсти на шее гиены — сбоку. Глаза у нее широко раскрылись. Раздался мягкий треск: трахея и шейные позвонки разом хрустнули. Гиена дернулась. Глаза ее потухли. Все кончилось.

Ричард Паркер разжал челюсти и прорычал. Как будто без всякой злобы — тихо, мирно, совсем негромко. Дышал он тяжело, высунув наружу

язык. Облизнулся. Мотнул головой. Обнюхал издохшую гиену. Высоко вскинул голову и повел носом. Поставил передние лапы на кормовую банку и потянулся. Задние лапы были широко расставлены. Шлюпку покачивало, и это ему явно не нравилось. Он глянул за планширь — на море. Басовито-отрывисто рыкнул. Опять понюхал воздух. И медленно повернул голову. Он все поворачивал ее и поворачивал — до тех пор, пока взгляд его не упал прямо на меня.

Жаль, что не могу описать то, что было потом, — не так, как видел, уж с этим я бы как-нибудь справился, а так, как чувствовал. Я смотрел на Ричарда Паркера под таким углом, что он предстал передо мной во всем своем грозном великолепии — спиной ко мне, чуть приподнявшись, и с повернутой назад головой. Он стоял и словно позировал, нарочито выставляя напоказ свою могучую стать. Какое изящество, какая силища! Живое воплощение грации — непревзойденной, молниеносной. Сплошная груда мышц — при тонких-то задних лапах, — свободно обтянутая лоснящейся шкурой. Тело, светло-коричневатое с рыжиной, в вертикальную черную полоску, было несравненной красоты, а ослепительная белизна груди и брюха в сочетании с черными кольцами

по всей длине хвоста порадовала бы глаз любого портного. Голова большая и круглая, с пышными бачками, изящной бородкой и самыми изысканными в кошачьем мире усами — толстенными, длиннющими, белоснежными. На голове торчали маленькие выпуклые уши правильной дугообразной формы. На морковно-рыжей морде под широкой переносицей розовел нос, отличавшийся тончайшим нюхом. Морду украшали волнистые черные круги, сплетавшиеся в узор, который привлекал внимание не столько сам по себе, сколько тем, что он как бы оттенял не покрытую им часть морды, возле огненно-рыжей переносицы. Белые пятна над глазами, на щеках и вокруг пасти были своеобразными завершающими штрихами к портрету эдакого танцовщика катхакали. Другими словами, раскрасом его морда походила на крылья бабочки, а выражением — на лицо старого китайца. Но когда немигающие янтарные глаза Ричарда Паркера встретились с моими, взгляд их показался мне пронзительным и холодным, не пугливым и не дружелюбным, а скорее сдержанным, но готовым в любой миг полыхнуть яростью. Уши его дернулись раз-другой и прижались к голове. Верхняя губа дрогнула — вверх-вниз, — обнажив желтый клык длиной с

мой средний палец.

От ужаса у меня волосы стали дыбом.

И тут вдруг выскочила крыса. На боковой банке откуда ни возьмись появилась крыса, тощая, дрожащая, задыхающаяся. Ричард Паркер, похоже, оторопел не меньше моего. Крыса вскочила на брезент и ринулась ко мне. При виде ее у меня от жути и изумления подкосились ноги, и я почти целиком провалился в ящик. Я не верил своим глазам, но грызун, перескочив по разным частям плота, прыгнул на меня, взобрался на макушку и впился коготками мне в кожу, цепляясь за свою драгоценную жизнь.

Ричард Паркер не сводил с крысы глаз. Его взгляд замер на моей макушке.

Повернув до конца голову, он медленно развернулся всем туловищем, переставляя передние лапы по боковой банке. И с легкостью опустился всей своей массой на дно шлюпки. Теперь я видел только его темя, спину и длинный выгнутый хвост. Уши были плотно прижаты к голове. Три шага — и вот он уже посередине шлюпки. Верхняя часть его туловища тут же приподнялась, и передние лапы грузно опустились на край скатанного брезента.

Он оказался меньше чем в десяти футах от ме-

ня. Вот она, его голова, вот грудь, а вот лапищи — все такое огромное, просто невероятно! Зубы — целый легион. Он собрался вскочить на брезент. Все, конец.

Но брезент-то был упругий — и это ему совсем не понравилось. Он с опаской надавил на него лапами. Беспокойно вскинул голову вверх — к бездонному, ослепительно-яркому небу, и это ему тоже не понравилось. Да и беспрестанное покачивание шлюпки раздражало его не меньше. На какой-то миг Ричард Паркер застыл в нерешительности.

Я схватил крысу и швырнул прямо в него. Как сейчас вижу: вот она летит по воздуху, выпустив коготки и вздернув хвост так высоко, что видны ее вытянутая мошонка и крошечное заднепроходное отверстие. Ричард Паркер раскрыл пасть, и крыса с писком канула в ее глубине, точно бейсбольный мячик в рукавице принимающего. Последним исчез лысый крысиный хвост: тигр всосал его с хлюпающим звуком, как длинную макаронину.

Жертвоприношение, видно, пришлось ему по вкусу. Он отпрянул назад и снова скрылся под брезентом. Тяжесть в ногах у меня как рукой сняло. Я мигом вскочил и откинул крышку ящика,

перегородив таким образом брешь между носовой банкой и брезентом.

Послышалось громкое фырканье и шум волочащегося тела. От смещения туши шлюпку чуть качнуло. Вслед за тем я услышал чавканье. И украдкой глянул под брезент. Он разлегся посреди шлюпки. И пожирал гиену — жадно, огромными кусками. Другой такой возможности точно не будет. Я нагнулся пониже и подтащил оставшиеся жилеты — всего шесть — с последним веслом. Сгодится, чтобы получше укрепить плот. Мимоходом я уловил странный душок. Нет, не резкий запах кошачьей мочи. А рвоты. На дне шлюпки виднелась зловонная лужа. Должно быть, Ричарда Паркера вырвало. Наверняка от морской болезни.

Я привязал к плоту длинный линь. Теперь шлюпка и плот были плотно соединены. Потом я закрепил по одному жилету с каждой стороны плота, снизу. Пятый жилет втиснул в отверстие спасательного круга — получилось некое подобие сиденья. Из последнего весла соорудил нечто вроде подножки, приладив его с одной стороны плота, примерно в двух футах от спасательного круга, и прикрепив к нему последний жилет. Работал я дрожащими пальцами, дышал часто

и неровно. И то и дело проверял узлы на прочность.

Я оглядел море. Кругом — длинная ровная зыбь. Ни одного пенистого гребня. Ветер слабый, устойчивый. Я глянул вниз. У самой поверхности моря мелькали рыбы: здоровенные рыбины с выпуклыми лбами и длиннющими спинными плавниками — *большими корифенами* называются, — и рыбки поменьше, тощие и длинные — как называются, не знаю, — и совсем крохотные рыбешки… ну и, конечно же, акулы.

Я спустил плот за борт. Если б он, не ровен час, затонул, мне бы точно пришел конец. Но плот держался прекрасно. Благодаря своей плавучести спасательные жилеты буквально выталкивали из воды весла вместе со спасательным кругом. И вдруг у меня оборвалось сердце. Едва плот коснулся воды, как рыбы метнулись врассыпную — все, кроме акул. Они остались. Их было три или четыре. Одна плыла прямо под плотом. Ричард Паркер зарычал.

Я почувствовал себя пленником, которого пираты собираются бросить за борт.

Я подтянул плот как можно ближе к шлюпке, насколько позволяли торчавшие наружу концы весел. Подтянулся сам и обхватил руками спа-

сательный круг. Сквозь «щели» в днище плота — вернее, широченные дыры — я заглянул в бездонную морскую глубь. И снова услышал, как зарычал Ричард Паркер. Я навалился животом на плот. Распластался и так и замер. Мне казалось, плот того и гляди опрокинется. Или на него бросится акула — и прокусит жилеты вместе с веслами. Но ничего такого не случилось. Плот только малость осел, чуть погрузившись в воду, и закачался — концы весел тоже оказались под водой, — однако на плаву он держался все так же ровно. Акулы подплыли совсем близко — но плот не тронули.

Я почувствовал легкий рывок. Плот развернуло. Я вскинул голову. Плот отстал от шлюпки на всю длину линя — футов на сорок. Линь натянулся, целиком показавшись из воды, и повис в воздухе, дергаясь и болтаясь. Зрелище не из самых приятных. Ради спасения своей жизни я бросил шлюпку. Теперь мне захотелось обратно. Уж больно опасна вся эта затея с плотом. Если только акула перекусит линь, или развяжется хоть один узел, или меня накроет волной, — пиши пропало. По сравнению с плотом шлюпка уже казалась мне надежным оплотом — уютным и безопасным.

Я осторожно перевернулся навзничь. И сел. Плот держал хорошо — во всяком случае, пока. Подножка тоже оказалась кстати. Хоть и была маловата. В общем, места хватало, чтобы сидеть, и то с трудом. На таком игрушечном мини-микроплотике впору в пруду плавать, а не в Тихом океане. Я схватился за линь и стал тянуть на себя. Чем ближе подплывал я к шлюпке, тем медленнее тянул линь. А когда подплыл совсем вплотную, то снова услышал Ричарда Паркера. Он все еще чавкал.

Я долго раздумывал.

И остался на плоту. А что дальше — даже себе не представлял. Выбор у меня был не так уж велик: сидеть под носом у тигра или у акул. Я прекрасно знал, насколько опасен Ричард Паркер. А вот акулы в этом смысле пока себя никак не проявили. Я еще раз проверил узлы, которыми линь был привязан к шлюпке и плоту. Потом отпустил его и стал ждать, когда меня отнесет от шлюпки футов на тридцать — на то самое расстояние, которое уравнивало два моих опасения: оказаться слишком близко к Ричарду Паркеру или слишком далеко от шлюпки. Свободный конец линя, длиной футов десять, я намотал на весло-подножку. Так, чтобы, в случае чего, успеть

отмотать его обратно.

Близился вечер. Заморосило. День был пасмурный, но теплый. К вечеру температура упала, а тут еще разошелся дождь, нудный, холодный. Тяжелые капли пресной влаги гулко и попусту шлепались в море, взъерошивая его поверхность. Я опять подтянул линь. Привстал и осторожно заглянул через планширь. Но *его* не заметил.

Я юркнул в ящик. Схватил дождесборник с пятидесятилитровым пластиковым мешком, одеяло, инструкцию по спасению. И захлопнул крышку. Я вовсе не собирался греметь — хотел только прикрыть мои сокровища от дождя, но она выскользнула у меня из руки. Досадная оплошность. Я не только выдал себя, убрав преграду, отделявшую меня от Ричарда Паркера, но и шумом привлек его внимание. Он сидел склонившись над гиеной. Голова его тут же повернулась. Какому зверю понравится, когда его отвлекают от кормежки? Ричард Паркер зарычал. И выпустил когти. Кончик хвоста у него задергался, точно от удара током. Я рухнул на плот, и расстояние между плотом и шлюпкой стало быстро увеличиваться — думаю, не только благодаря ветру и течению, но и охватившему меня ужасу. Я вытравил весь линь до конца. Потому что боялся,

как бы Ричард Паркер, оскалившись и выпустив когти, не сиганул на меня прямо со шлюпки. Я не сводил с нее глаз. И чем дольше смотрел, тем сильнее нервничал.

Он так и не появился.

Между тем я успел промокнуть до костей, пока раскладывал у себя над головой дождесборник, стараясь втиснуть ноги в пластиковый мешок. Одеяло тоже намокло — когда я свалился на плот. И все же я закутался в него.

Ночь надвинулась незаметно. Все вокруг разом кануло в непроглядную тьму. И только по равномерному подергиванию линя я догадывался, что плот мой по-прежнему связан со шлюпкой. Море, хоть и невидимое, билось о плот всего лишь в нескольких дюймах подо мной. Так что снизу меня тоже обдавало водой, прорывавшейся сквозь щели в днище плота.

54

Дождь шел всю ночь. Я не сомкнул глаз ни на минуту — ужас какой-то. Кругом все бурлило. Дождь барабанил по дождесборнику и вокруг меня; он с шипением прорывал мрачную пелену, и мне чудилось, будто я сижу в змеином гнезде, среди злобных ползучих тварей. Порывистый ветер беспрестанно менял направление, и те части моего тела, которые начинали было согреваться, намокали вновь и вновь. Я передвинул дождесборник — но через несколько минут, когда ветер опять изменился, был неприятно удивлен. Я старался, чтобы у меня осталась теплой и сухой хотя бы грудь, где я пригрел инструкцию по спасению, но всепроникающая сырость добралась и сюда. Так что всю ночь напролет у меня зуб на зуб не попадал. К тому же я боялся, как бы не оторвало плот, если развяжутся узлы, соединявшие его со шлюпкой, и как бы не напала акула. Я то и дело ощупывал узлы и стяжки, пытаясь определить, как слепой по шрифту Брайля, не разболтались ли они, крепко ли держат.

Дождь разошелся не на шутку, море штормило. Линь, привязанный к шлюпке, уже не просто

дергало, когда он натягивался как струна, а рвало, мотало и крутило, и плот здорово раскачался. Оставаясь на плаву, он взлетал на гребень то одной волны, то другой, однако, поскольку у него не было борта, буруны с каждой новой волной накрывали его целиком, вместе со мной, словно река, бьющаяся о валун на стремнине. Море было теплее дождя, но какая разница — я все равно вымок с головы до пят.

По крайней мере, хоть вдоволь напился. Хотя жажда меня совсем не мучила, я заставлял себя пить через силу. Дождесборник походил на перевернутый зонт — вернее, зонт, вывернутый наизнанку от ветра. Дождевая вода собиралась посередине, где было отверстие. Оно соединялось резиновой трубкой с водозаборным мешком из прочного прозрачного пластика. Сперва вода отдавала резиной, но скоро дождесборник начисто промыло, и на вкус она оказалась просто замечательной.

В эту долгую, промозглую, темную ночь, под шум и грохот дождя и под шипение морских волн, мотавших меня по-всякому, я думал только об одном — о Ричарде Паркере. И даже придумал не один план, как от него избавиться, чтобы стать полноправным хозяином шлюпки.

План номер один: столкнуть его со шлюпки. Но что это даст? Даже если мне удастся спихнуть за борт свирепого зверя весом четыреста пятьдесят фунтов, да еще живьем, что толку: ведь тигры отлично плавают. В Сундарбане они, известный факт, одолевали вплавь пять миль по открытой бурной воде. Так что, окажись Ричард Паркер за бортом, он без труда забрался бы обратно, и уж тогда-то за мое коварство мне точно несдобровать.

План номер два: усыпить его шестью шприцами морфина. Только как они на него подействуют — вот вопрос. Хватит ли такой дозы, чтобы свалить его замертво? Да и как я смогу вколоть ему этот самый морфин? Допустим, как-нибудь подсижу, как когда-то было с его матерью, но хватит ли мне времени, чтобы всадить ему *шесть* шприцев подряд? Вряд ли. Единственное, что успею, так это раз ткнуть его иглой, а он за это одним ударом снесет мне голову с плеч.

План номер три: напасть на него со всеми подручными средствами. Смешно. Я же не Тарзан. А тщедушный слабак и к тому же совсем не кровожадный. В Индии на тигров охотятся с громадных слонов да с крупнокалиберными винтовками. Ну а мне-то как быть? Пальнуть ему в морду из сигнальной ракетницы? Или наброситься с то-

пориком в каждой руке и с ножом в зубах? Или, может, до смерти истыкать прямыми и кривыми швейными иголками? Если я хотя бы разок его *уколю*, это уже подвиг. А он в отместку разорвет меня на части, на жалкие, мелкие кусочки. Тем более что самый опасный — не здоровый зверь, а раненый.

План номер четыре: придушить его. Благо линь под рукой. Если я перекину его с носа на корму и наброшу ему на шею петлю, то успею затянуть ее до того, как он меня сцапает. Прорываясь ко мне, он сам же себя и задушит. Великолепный план — только для самоубийцы.

План номер пять: отравить его, спалить заживо, убить током. Но как? И чем?

План номер шесть: взять измором. Единственное, что мне нужно, так это привести в действие безжалостные законы природы, пустив все на самотек, — и я спасен. Даже пыжиться не надо — сиди и жди, пока он не ослабнет и не издохнет. Припасов у меня не на один месяц. А у него? Жалкая дохлятина, да и та вот-вот протухнет. И что потом? Хуже того: что он будет пить? Ну, несколько недель без еды еще протянет, а вот без воды — ни за что, как и любой зверь.

В моей душе забрезжил слабый лучик надеж-

ды, точно свеча в ночи. У меня родился план, и неплохой. Остается только самому не пропасть до того, как он осуществится.

55

Наступил рассвет, но легче от этого не стало. Теперь, когда тьма рассеялась, я воочию увидел то, что прежде только ощущал: как из поднебесной выси мне на голову обрушивается сплошная пелена дождя, а волны, одна за другой, нещадно колошматят меня со всех сторон.

А я все сидел и ждал, уставившись в одну точку, то дрожа, то цепенея, одной рукой придерживая дождесборник, а другой цепляясь за плот.

Чуть погодя дождь перестал, причем так внезапно, что наступившая вслед за тем тишина казалась и впрямь мертвой. Небо расчистилось, а вместе с тучами как будто исчезли и волны. Все разом изменилось до неузнаваемости, словно меня вдруг перенесли из одной страны в совершенно другую. В самом деле, океан было не узнать. Вскоре в небе осталось только солнце, и похожая на глянцевую кожу морская гладь засверкала мириадами зеркальных бликов.

Я был до того разбит, измотан и обессилен, что даже не мог поблагодарить судьбу, что она оставила меня в живых. Мысленно я все твердил, как мантру: «План номер шесть, план номер шесть,

план номер шесть», — и мне немного полегчало, хотя в чем, собственно, заключался этот самый план номер шесть, вспомнить не мог, хоть тресни. Тепло мало-помалу проникло в каждую клетку моего тела. Я сложил дождесборник. Закутался в одеяло, свернулся калачиком, так, чтобы меня не залило ни с какого боку. И уснул. Не знаю, как долго я проспал. Проснулся где-то около полудня; стало совсем жарко. Одеяло почти высохло. Сон был хоть и короткий, зато глубокий. Я оперся на локоть и приподнялся.

Вокруг меня простиралась бескрайняя ровная ширь — бесконечная синева. Даже глазу не за что зацепиться. Один только вид неоглядной водной пустыни сразил меня, словно удар в солнечное сплетение. И я завалился на спину, едва дыша. Какой же он жалкий — мой плотик. Всего ничего: несколько палок да кусков пробки, перевязанных веревкой. Вода хлещет через все щели. Глубина под ним такая, что и у орла голова закружится. А шлюпка — только поглядите! Не крепче ореховой скорлупы. Держится на плаву разве что на честном слове — как пальцы за выступ скалы. Собственный же вес и утянет ее на дно — это лишь вопрос времени.

А вот и мой собрат по несчастью. Навис над

планширем и глядит на меня во все глаза. Нежданное появление тигра испугает где угодно, а здесь и подавно. Своим ярко-рыже-полосатым окрасом он резко выделялся на мертвенно-белом фоне шлюпки, и этот резкий контраст буквально завораживал. Я снова сжался в комок. Каким бы безбрежным ни был простиравшийся вокруг нас Тихий океан, он вдруг сузился до размеров рва, не огороженного ни решетками, ни стенами.

«План номер шесть, план номер шесть, план номер шесть», — забил тревогу мой мозг. Но что такое план номер шесть? Ах, ну да. Борьба на измор. Игра в кто-кого-пересидит. Палец-о-палец-не-ударь. Все — на самотек. Безжалостные законы природы. Неумолимый ход времени при жесткой экономии припасов. Таков план номер шесть.

Тут меня будто гневно окликнули: «Дурак, идиот! Кретин бестолковый! Обезьяна безмозглая! *Хуже твоего плана номер шесть ничего не придумаешь!* Это сейчас Ричард Паркер боится моря. Оно же чуть не стало его могилой. Но когда он обезумеет от жажды и голода, то одолеет страх и сделает все, чтобы утолить свой кровожадный инстинкт. Он обратит этот ров в мостик. И проплывет любое расстояние, лишь бы добраться до плота и сцапать вожделенную добычу. А что до

воды, разве ты забыл, что сундарбанские тигры пьют и соленую воду? Так неужели ты думаешь, будто протянешь дольше, чем выдержат его почки? Попомни, затеешь борьбу на измор — проиграешь! И *погибнешь*! ПОНЯТНО?»

56

Теперь несколько слов о страхе. Он — единственно настоящий враг жизни. Только страх может победить жизнь. Он — хитроумный, коварный противник, уж я-то знаю. Ему неведомы приличия, законы и традиции, он беспощаден. Страх выискивает у вас самое слабое место — и находит его точно и легко. А зарождается он всегда в сознании. Только что вы спокойны, владеете собой и чувствуете себя счастливым. Но вот страх в виде ничтожного сомнения, точно шпион, закрадывается в ваше сознание. Сомнение порождает недоверие — и оно пытается прогнать прочь сомнение. Но недоверие сродни слабо вооруженному пехотинцу. Так что сомнение одолевает его без особого труда. И вот вас уже охватывает тревога. На вашу сторону встает разум. И вы снова обретаете уверенность в себе. Разум сполна вооружен самыми современными военными технологиями. Но к вашему удивлению, невзирая на тактическое превосходство и число былых безоговорочных побед, разум терпит поражение. Вы чувствуете, как теряете силы и твердость духа. Тогда-то тревога и перерастает

в страх.

Вслед за тем страх овладевает всем вашим телом — а это уже сигнал, что с вами далеко не все в порядке. Дыхание превращается в птицу, взмахнувшую крыльями и улетевшую прочь, живот — в змеиное гнездо. Язык падает замертво, как опоссум, а зубы начинают отбивать дробь, как ретивые скакуны. Уши глохнут. Мышцы дрожат, точно в лихорадке, колени ходят ходуном, словно в пляске. Сердце разрывается, сфинктер расслабляется. То же самое и с остальными частями тела. Каждая клеточка так или иначе распадается. Только глаза не сдают. Они-то ощущают страх лучше всего.

И вот вы уже принимаете опрометчивые решения. Отвергаете последних своих союзников — надежду и веру. И в этом — залог вашей гибели. Страх, сводящийся, по сути, к обычному впечатлению, побеждает.

Это трудно описать словами. Однако страх, настоящий страх, тот, который потрясает до самого основания, подкрадываясь к вам, когда вы встречаетесь лицом к лицу со смертью, укореняется в вашей памяти, как гангрена: он стремится поразить все, даже слова, которыми вы пытаетесь его выразить. Вот почему страх так трудно

описать. Вам приходится изрядно потрудиться, чтобы объяснить его понятными словами. Но если вам это не удастся, если страх превратится в безмолвный мрак, которого вы избегаете или стараетесь забыть, то он будет терзать вас и дальше, поскольку вы так и не сокрушили врага, уже раз одержавшего над вами победу.

57

Успокоил меня Ричард Паркер. Самое забавное в этой истории то, что благодаря существу, сперва до смерти меня напугавшему, я в конце концов обрел покой, благоразумие и даже, смею сказать, внутреннюю цельность.

Он не сводил с меня глаз. Потом я узнал этот взгляд. Ведь мы выросли вместе. То был взгляд довольного зверя, взирающего из клетки или рва так, как я смотрел бы из-за стола в ресторане после сытного обеда, когда самое время поговорить и поглядеть на других. Ясное дело, Ричард Паркер вполне насытился останками гиены и вдоволь напился дождевой воды. Он уже не дергал губой, не скалился, не рычал и не сопел. А просто смотрел — наблюдал за мной, спокойно, беззлобно. Он только водил ушами и головой. Словом, вел себя совсем *по-кошачьи.* Он и впрямь походил на здоровенного, раздобревшего домашнего кота — четырехсотпятидесятифунтового полосатого котяру.

Но вот он как будто всхрапнул. Я навострил уши. Снова всхрапнул. Поразительно. *Прух-х-с?*

Тигры издают разные звуки. Они ревут и ры-

чат на все лады, и громче всего у них выходит рыкающий вздох — что-то вроде громоподобного *ар-р-н-х* — в период спаривания, причем как у самцов, так и у самок. Рык этот разносится далеко-далеко. А тот, кто услышит его вблизи, так и столбенеет. Тигры фыркают, издавая короткое, резкое злобное *уф*, если застать их врасплох, и тут уж ноги сами уносят вас вприпрыжку, ежели, конечно, смогут оторваться от земли. Нападают тигры с гортанным ревом, похожим на прерывистый кашель. А угрожают гортанным рыком. Тигры шипят и воют по-всякому, смотря что хотят выразить, и тогда их звуки напоминают либо громкий шелест опадающей осенней листвы, либо, если они чем-то недовольны, скрип тяжелой двери, медленно поворачивающейся на ржавых петлях, — но и в том и в другом случае у вас по спине пробегают мурашки. Тигры издают и другие звуки. Ворчат и стонут. Или мурлыкают, хоть и не так благозвучно и не так часто, как маленькие кошки, причем только на выдохе. (Лишь маленькие кошки мурлыкают и так и эдак. Это одно из свойств, отличающих больших кошек от маленьких. Другое отличие в том, что рычат только большие кошки. И это совсем не плохо. Боюсь, любовь к домашним кошкам прошла

бы довольно скоро, если б эти милые крошки в знак неудовольствия вдруг принялись рычать.) Тигры даже *мяукают*, притом с интонациями, свойственными домашним кошкам, — только громко и басовито, так что вам вряд ли захочется нагнуться и взять их на руки. Наконец, тигры умеют молчать — просто и величаво.

И все эти звуки я слышал с детства. Кроме *прух-х-с*. Этот звук я узнал только потому, что мне рассказывал про него отец. А он, в свою очередь, узнал из книг. Хотя слышал его всего лишь однажды, когда во время деловой поездки в Майсурский зоопарк побывал в тамошней ветеринарной лечебнице, где как раз выхаживали молодого тигра, подхватившего воспаление легких. *Прух-х-с* — самый тихий тигриный звук: он похож на сопение и выражает дружеские, вполне миролюбивые чувства.

Ричард Паркер снова *пруххснул* и повел головой. Он словно о чем-то меня спрашивал.

Я смотрел на него со страхом и изумлением. Но ведь он совсем не угрожал — и вот я уже задышал спокойнее, сердце перестало рваться из груди, и от души отлегло.

Надо бы его приручить. Я понял это только сейчас. И вопрос даже не в том, он или я, — а

он *и* я. Ведь мы с ним, буквально и фигурально, оказались в одной лодке. А стало быть, жить — или умирать — нам вместе. Может, он погибнет случайно или по какой другой, естественной причине, но уповать на случай глупо. Вероятнее всего, произойдет самое худшее: со временем его звериная сила возобладает над моей человеческой слабостью. Только приручив тигра, я, может, сумею сделать так, чтобы он умер первым, если все и впрямь обернется худо.

Но суть даже не в этом. Скажу начистоту. Открою тайну: я был даже рад за Ричарда Паркера. И совсем не хотел, чтобы он умирал, потому что, если б он умер, я остался бы наедине с отчаянием, а оно будет пострашнее тигра. Если я все еще хотел жить, то только благодаря Ричарду Паркеру. Он отвлекал меня от мысли о моих родных и о беде, в которую я попал. Он заставлял меня жить. А я ненавидел его за это и вместе с тем был благодарен. Я благодарен ему и *сейчас.* Истинная правда: если б не Ричард Паркер, меня бы уже не было в живых и я не смог бы рассказать вам мою историю.

Я оглядел горизонт. Разве не похож он на идеальную цирковую арену — безупречно круглую, без единого угла, где он мог бы спрятаться? Я

посмотрел на море. Чем не кладезь лакомств, которыми можно его задобрить? Я заметил свисток, свисавший со спасательного жилета. Чем не хлыст, с помощью которого он станет как шелковый? Чего же мне не хватает, чтобы укротить Ричарда Паркера? Времени? Пройдет, быть может, не одна неделя, прежде чем меня заметит корабль. Так что у меня уйма времени. Смелости? Но как раз крайняя нужда и делает человека смелым. Опыта? Но разве я не сын директора зоопарка? Награды? Но разве можно желать награды большей, чем жизнь? И наказания хуже смерти? Я взглянул на Ричарда Паркера. Без малейшего страха. Моя жизнь — в моих руках.

Пусть грянут трубы. И забьют барабаны. Представление начинается. Я встал. Ричард Паркер это заметил. Держать равновесие было непросто. Я глубоко вдохнул и воскликнул:

— Дамы и господа, мальчишки и девчонки, спешите занять места! Живей, живей. А то опоздаете. Сядьте, откройте пошире глаза, распахните души и приготовьтесь к чуду. Итак, для всеобщего увеселения и наставления, на радость и во благо всем вам начинаем представление, которого вы ждали всю жизнь, — ВЕЛИЧАЙШЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В МИРЕ! Так вы готовы к чуду?

Да? Отлично: к вашему удивлению, *они* встречаются где угодно. И в холодных, заснеженных лесах умеренного пояса. И в непролазных тропических муссонных джунглях. И в полузасушливых кустарниковых пустынях. И в солоноватых мангровых болотах. Воистину они везде и всюду. Но вы еще никогда не встречали их там, где увидите сейчас! Дамы и господа, мальчишки и девчонки, без лишних слов, но с радостью и честью представляю вам… ПЛАВУЧИЙ ИНДО-КАНАДСКИЙ, ТРАНСТИХООКЕАНСКИЙ ЦИР-Р-Р-К ПИ ПАТЕЛЯ!!! *ТРЛИ-И-И-И-И-И! ТРЛИ-И-И-И-И-И! ТРЛИ-И-И-И-И-И! ТРЛИ-И-И-И-И-И! ТРЛИ-И-И-И-И-И! ТРЛИ-И-И-И-И-И!*

На Ричарда Паркера я произвел впечатление. Едва заслышав свист, он сжался и зарычал. Ха! Пускай прыгает в воду, если хочет! Пускай попробует!

— *ТРЛИ-И-И-И-И-И! ТРЛИ-И-И-И-И-И! ТРЛИ-И-И-И-И-И! ТРЛИ-И-И-И-И-И! ТРЛИ-И-И-И-И-И! ТРЛИ-И-И-И-И-И!*

Он взревел и замахал когтистой лапой, словно царапая воздух. Но не прыгнул. Должно быть, он не боялся моря, только когда умирал от голода и жажды, так что пока его страх был мне на руку.

— *ТРЛИ-И-И-И-И-И! ТРЛИ-И-И-И-И-И! ТРЛИ-*

И-И-И-И-И! ТРЛИ-И-И-И-И-И! ТРЛИ-И-И-И-И-И! ТРЛИ-И-И-И-И-И!

Он отпрянул назад и спрыгнул на дно шлюпки. На этом первый урок закончился. С большим успехом. Я перестал свистеть и тяжело опустился на плот, обессиленный, едва дыша.

Да будет так.

План номер семь: пусть себе живет.

58

Я достал инструкцию по спасению. Страницы все еще мокрые. И стал осторожно их перелистывать. Инструкцию составил капитан третьего ранга военно-морского флота Великобритании. Она включала в себя множество полезных рекомендаций, как спасаться после кораблекрушения. В том числе — полезные советы, как то:

— Инструкцию читайте очень внимательно.

— Не пейте ни мочу, ни морскую воду, ни птичью кровь.

— Не ешьте медуз. Рыбу с шипами. И с клювом как у попугая. И ту, которая раздувается, как шар.

— Нажав рыбе на глаза, вы ее обездвижите.

— Тело человека подобно герою в битве. Если потерпевший кораблекрушение поранился, не следует прибегать к неквалифицированной медицинской помощи, даже если она предлагается из самых лучших побуждений. Нет врага хуже, чем невежество, как нет сиделки лучше, чем покой и сон.

— Каждый час вытягивайте ноги вверх хотя бы

минут на пять.

— Не тратьте силы понапрасну. Но помните: безделье — залог смерти. Чтобы отвлечься от горестных мыслей, думайте о чем-нибудь веселом. Самый простой способ развлечься — играть в карты, в «вопросы-ответы» или «подглядки». Пойте вместе — это тоже улучшает настроение. Рассказывайте занимательные истории — и это помогает.

— Зеленая вода, в отличие от синей, — знак того, что глубина под вами небольшая.

— Остерегайтесь далеких горообразных облаков. Присматривайтесь к зеленому цвету. В конечном счете твердую землю вы почувствуете только ногой.

— Не пускайтесь вплавь за чем бы то ни было. Это только отнимает силы. Спасательное судно дрейфует быстро, и вплавь вам за ним не угнаться. Не говоря уже о морских животных, которые к тому же могут быть опасны. Если вам жарко, лучше намочите одежду.

— В одежду не мочитесь. Лучше немного перетерпеть холод, чем подхватить потницу.

— Найдите укрытие. Смерть от перегрева наступает быстрее, чем от жажды или от голода.

— Если вы не потеете и не теряете таким об-

разом влагу, то сможете продержаться без воды недели две. Если вас мучит жажда, сосите пуговицу.

— Легче всего ловятся черепахи, к тому же из них можно приготовить отменные блюда. Можно пить черепашью кровь: она приятная на вкус, питательная и несоленая; черепашье мясо вкусное и сытное; жир можно использовать для самых разных нужд; а черепашьи яйца — настоящий деликатес для потерпевшего кораблекрушение. Только осторожнее с клювом и когтями.

— Не падайте духом. Держитесь, даже если вас что-то испугало. Помните: сила духа — превыше всего. Если хотите выжить, значит, будете жить. Удачи!

Были там и малопонятные советы, касавшиеся мореплавательского искусства и науки. Так, среди прочего, я узнал, что если в безоблачный день горизонт отчетливо виден с высоты пять футов, стало быть, он простирается в двух с половиной милях от вас.

А о том, что нельзя пить мочу, можно было бы и не предупреждать. Кого в детстве дразнили Писуном, вы вряд ли застанете со стаканом мочи у рта, даже одного-одинешенького, в шлюпке, посреди Тихого океана. Ну а гастрономические

советы лишний раз убедили меня, что англичане ничегошеньки не смыслят в еде. В остальном же инструкция больше походила на занимательную брошюру вроде как про то, что делать, чтобы не наступать на грабли. В ней не хватало самого, пожалуй, главного совета — как ужиться с крупными паразитами, если те оказались с вами в одной лодке.

Мне предстояло самому придумать программу дрессировки Ричарда Паркера. Надо внушить ему, что я — вожак, а его место — на дне шлюпки, на кормовой банке или на боковых, позади средней поперечной. Нужно ему втемяшить, что брезент и нос шлюпки, с прилегающей к ним нейтральной территорией, то есть средней банкой, — мои владения и вход ему туда заказан.

Надо бы поскорее наловить рыбы. Ричард Паркер не сегодня завтра слопает последние останки своих собратьев. В зоопарке взрослые львы и тигры съедают за день в среднем по десять фунтов мяса.

Предстоит переделать и кучу других дел. Например — соорудить себе укрытие. Если Ричард Паркер и дальше будет сидеть под брезентом, так оно даже лучше. Да и мне самому постоянно торчать снаружи, под солнцем, ветром, дождем

и морскими брызгами, совсем не с руки: эдак можно и умом тронуться, не говоря уже про всякие телесные болячки. Потом, в инструкции черным по белому написано: от перегрева недолго и умереть — так ведь? Значит, надо устроить себе навес.

А плот придется привязать к шлюпке еще одним линем, в случае если первый оборвется или отвяжется.

Да и сам плот не мешало бы укрепить. На плаву он держится неплохо, вот только сидеть на нем уж больно неудобно. Надо бы благоустроить его на то время, пока я не переберусь в шлюпку насовсем. Что, если придумать какие-нибудь водонепроницаемые переборки? Тем более что я постоянно мокрый и вся кожа от этого пошла морщинами и пузырями. С этим пора решительно кончать. Кроме того, на плоту не помешает устроить что-то вроде склада.

Придется оставить благие надежды, что меня спасет корабль. Вся надежда — только на себя. Моя жизнь — в моих руках. Я на собственном опыте убедился, что главная ошибка потерпевшего кораблекрушение в том, что он больше надеется, чем делает. Борьба за жизнь начинается с внимательного осмотра подручных средств. А сидеть

сиднем и с надеждой смотреть в призрачную даль — все равно что проспать собственную жизнь.

Да уж, скучать мне не придется.

Я оглядел пустой горизонт. Кругом — бескрайняя водная пустыня. А я один. Совсем один.

И тут я заплакал. Закрыл лицо руками и разрыдался. От полной безнадежности.

59

Каким бы одиноким и пропащим я ни был, мне хотелось пить и есть. Я дернул за линь. Он чуть натянулся. Но стоило мне ослабить хватку, как он выскользнул у меня из рук и расстояние между шлюпкой и плотом стало быстро увеличиваться. Выходит, шлюпка дрейфует быстрее, чем плот, — она как бы тащит его на буксире. Я заметил это невольно, но значения пока не придал. Меня больше занимало то, что сейчас поделывает Ричард Паркер.

Судя по всему, он опять затаился под брезентом.

Я тянул за линь до тех пор, покуда не подплыл к носу шлюпки. Вскарабкался на планширь. И когда нагнулся, чтобы незаметно пролезть в ящик с припасами, то вдруг заметил, что качка усилилась, и призадумался. Оказывается, когда плот приблизился к шлюпке вплотную, ее развернуло. Она уже стояла не перпендикулярно к волне, а лагом и сильно раскачивалась, отчего меня опять замутило. Только теперь я понял: на некотором удалении от шлюпки плот действует как плавучий якорь или трал, удерживая ее носом к волне.

Вся хитрость в том, что волны и постоянные ветры обычно сшибаются в лоб. Следовательно, если ветер гонит шлюпку вперед, а плавучий якорь ее удерживает, она будет поворачиваться до тех пор, пока не станет под прямым углом к волне и не окажется на одной линии с ветром, чтобы сопротивление его было наименьшим; в результате она испытывает килевую качку, которую легче переносить, чем бортовую. А когда плот примыкает к шлюпке вплотную, торможение прекращается — и шлюпка уже не может держаться носом по ветру. Ее разворачивает лагом и начинает заваливать с боку на бок.

Скажете, это, мол, пустяк, — но он-то и спас мне жизнь, к явному неудовольствию Ричарда Паркера.

И, словно в подтверждение своей внезапной догадки, я услышал, как он зарычал. Зарычал недовольно, вернее, как-то тоскливо и даже муторно. Может, он и впрямь хороший пловец, зато моряк — никудышный.

Значит, этим нужно воспользоваться.

И тут я получил зловещее предупреждение: не надо-де заноситься, думая, что совладать с ним проще простого. В Ричарде Паркере, похоже, сидел такой сильный жизненный нерв, который

мог подавить любое живое существо, оказавшееся рядом с ним. Я уже почти взобрался на нос — и вдруг услышал тихое шуршание. И увидел, как возле меня в воду плюхнулось что-то совсем крохотное.

Это был таракан. Побарахтавшись миг-другой на поверхности, он угодил в рыбью пасть. Тут в воду шлепнулся еще один таракан. А следом за ним — еще с десяток, только с другого носового борта. И на каждого нашлась рыбья пасть.

Борт покидали последние уцелевшие чужаки.

Я тихонько заглянул через планширь. И первое, что увидел, — затаившегося в складке брезента, над носовой банкой, здоровенного тараканища, должно быть, вожака здешнего тараканьего семейства. Я наблюдал за ним с непонятным любопытством. Решив, что настало время, он расправил крылышки, взлетел и все шуршал ими в воздухе, пока кружил над шлюпкой, с минуту, словно чтобы удостовериться, не забыл ли кого из сородичей, после чего плюхнулся за борт, навстречу своей гибели.

Теперь нас только двое. За пять дней вся шлюпочная живность, включая орангутана, зебру, гиену, крыс, мух и тараканов, вымерла подчистую. За исключением бактерий с червяками,

копошившимися, наверное, в звериных останках, в шлюпке не осталось ни одного живого существа, кроме меня и Ричарда Паркера.

Что ж, радости мало.

Я встал и, затаив дыхание, приподнял крышку ящика. Я сознательно не стал заглядывать под брезент, опасаясь, как бы мой взгляд, точно окрик, не привлек внимание Ричарда Паркера. Лишь опустив крышку на брезент, я осмелился дать волю своим ощущениям.

В нос мне тут же ударил резкий мускусный запах мочи — так несет от каждой кошачьей клетки в зоопарке. Тигры — животные сугубо территориальные, и границы своих владений они непременно помечают мочой. Но сейчас это было мне на руку, тем более что запах исходил только из-под брезента. Территориальные претензии Ричарда Паркера, похоже, ограничивались лишь днищем шлюпки. И это утешало. Если мне удастся завладеть брезентом, может, все еще образуется.

Я склонил голову набок и не дыша глянул через край крышки. На дне шлюпки плескалась вода, глубиной дюйма четыре, — так что у Ричарда Паркера образовалось собственное пресноводное озерцо. Сам он сейчас был занят тем же, чем на его месте занялся бы и я, — лежал себе полеживал

в теньке. Днем стало нестерпимо жарко. Ричард Паркер разлегся на дне шлюпки спиной ко мне, распластав задние лапы подушечками кверху, прижимаясь животом и бедрами, внутренней их частью, к самому днищу. Поза несуразная, но удобная.

Я вернулся к своим насущным заботам. Вскрыл коробку с аварийным пайком и наелся досыта, умяв за милую душу примерно треть упаковки. Просто поразительно, как мало теперь мне было надо, чтобы набить желудок под завязку. Я уже хотел было припасть к мешку дождесборника, висевшему у меня через плечо, чтобы напиться, как вдруг взгляд мой упал на стаканы-мензурки. Уж если не искупаюсь, то хоть отхлебну разок-другой. К тому же запасы воды у меня не вечные. Я достал стакан, нагнулся, опустив крышку ящика пониже, чтобы было сподручнее, и дрожащей рукой окунул стакан в озеро Паркера, в каких-нибудь четырех футах от его задних лап. Повернутые вверх подушечки, облепленные мокрой шерстью, походили на пустынные островки, обрамленные зарослями водорослей.

Мне удалось зачерпнуть целых 500 миллилитров. Вода оказалась мутноватая. В ней плавала какая-то грязь. Боялся ли я подцепить какую-ни-

будь заразу? Да у меня и мысли такой не было. Единственное, о чем я думал, так это о жажде. Я осушил стакан одним махом и с огромным удовольствием.

Природа требует равновесия — и неудивительно, что мне тут же захотелось писать. Я облегчился прямо в стакан. Жидкости из меня вышло ровно столько, сколько я только что в себя влил, хотя после того, как у меня возникла мысль покуситься на водные запасы Ричарда Паркера, не прошло и минуты. Я задумался. Уж больно не терпелось мне еще разок пригубить из стакана. Я поборол искушение. Но с каким трудом! Говорю без шуток: с виду моя моча была просто загляденье! Пока что я не мучился от обезвоживания — и на цвет жидкость была прозрачная. Она играла на солнце, как яблочный сок. И уж точно была свежая, чего нельзя было сказать наверняка про воду в жестянках из моих запасов. И все же я внял голосу разума. Взял и разбрызгал мочу по брезенту, плеснув и на крышку, чтобы обозначить мою собственную территорию.

Я опустошил водные запасы Ричарда Паркера еще на пару стаканчиков, правда, в этот раз сохранил драгоценную жидкость в себе. И тут же почувствовал себя цветком, который только

что полили.

Теперь можно было подумать и о благоустройстве. И я вновь обратился к содержимому ящика, таившему в себе столько надежд и обещаний.

Я достал веревку и привязал ею плот к шлюпке — для страховки.

А потом взялся изучать солнечный опреснитель. Это устройство, предназначенное для получения пресной воды из соленой. Состоит оно из надувного прозрачного конуса, размещенного поверх круглой, похожей на спасательный круг плавучей емкости с черной прорезиненной брезентовой мембраной посередине. Устройство работает по принципу перегонного аппарата: морская вода, собираясь под закрытым конусом, на черной мембране, нагревается солнцем и испаряется, скапливаясь на стенках конуса. Потом эта влага, уже несоленая, стекает в водосток, расположенный по периметру конуса, и оттуда попадает в водозаборный мешок. На шлюпке имелась дюжина таких опреснителей. Я внимательно прочел, как ими пользоваться, — строго по инструкции. Надул все двенадцать конусов и залил каждую плавучую емкость необходимым количеством морской воды — по десять литров в каждую. Потом связал опреснители вместе, в

связку, прикрепив ее с одной стороны к плоту, а с другой к шлюпке так, чтобы ни один из них не потерялся, в случае если развяжется какой-нибудь узел, — и таким образом получил дополнительный страховочный линь, соединивший меня со шлюпкой. Опреснители походили на крепкие поплавки, хотя и казались с виду неказистыми, но можно ли с их помощью добывать пресную воду, я сомневался.

Потом я занялся самым тщательным благоустройством плота. Проверил на крепость все узлы, чтобы удостовериться, что они не развяжутся и плот не развалится на части. Пораскинув малость мозгами, я решил соорудить мачту из того весла, что служило мне подножкой. И тут же отвязал его. Затем взял охотничий нож и зазубренной стороной лезвия сделал круговую зарубку примерно посередине весла, а острием ножа просверлил три дырки в его лопасти. Работа продвигалась хоть и медленно, зато успешно. Да и от мыслей отвлекала. Покончив с этим делом, я установил весло вертикально на одном углу плота лопастью вверх — получилось нечто вроде клотика, — а рукояткой вниз, так, чтобы она целиком ушла под воду. На зарубку я плотно намотал двойную веревку, чтобы весло не

провалилось. После чего продел веревку через дырки в клотике и привязал ее с обоих концов к горизонтальным веслам, чтобы мачта держалась устойчиво и было к чему крепить навес с разными пожитками. Жилет, который был привязан к веслу-подножке, я отвязал и закрепил у основания мачты. С двойной целью: своей плавучестью он должен был восполнить тяжесть мачты и заодно послужить мне сиденьем, слегка возвышавшимся над водой.

Поверх веревок я разложил одеяло. Оно соскользнуло, потому что угол их натяжения оказался слишком большим. Тогда я сложил одеяло пополам, в длину, проделал посередине две дырки, на расстоянии одного фута друг от друга, и пропустил в них кусок веревки, который отрезал от целого мотка. Потом снова перебросил одеяло через двойную веревку, удерживающую мачту, так, чтобы крепежная веревка зацепилась за клотик мачты. Теперь у меня появился навес.

Работа по благоустройству плота заняла большую часть дня. Нельзя было упустить ни единой мелочи, а их оказалось так много. Да и потом, трудиться во время качки, хоть и небольшой, дело не из легких. К тому же приходилось то и дело поглядывать — как там Ричард Паркер. В результате

получилась конструкция, совсем не похожая на галеон. Пресловутая мачта была выше меня всего лишь на несколько дюймов. А на палубе места едва хватало, чтобы сидеть, скрестив ноги, или лежать, свернувшись калачиком. Но жаловаться было грех. Плот прекрасно держался на плаву и, кроме того, служил надежным убежищем от Ричарда Паркера.

К тому времени, когда я закончил трудиться, наступил вечер. Я достал жестянку с водой, четыре галеты из аварийного пайка и четыре одеяла. Закрыл ящик (в этот раз очень осторожно), расположился на плоту и отпустил линь. Шлюпка ушла вперед. Главный линь натянулся струной, а страховочная веревка, которую я специально отмерил побольше, свободно провисла. Пару одеял я подложил под себя, расстелив их так, чтобы они не намокли. А два других набросил на плечи и прислонился спиной к мачте. Слегка возвышавшееся сиденье, которое я смастерил из высвободившегося спасательного жилета, пришлось весьма кстати. Я сидел на нем почти над самой водой, как на большой подушке, лежащей на полу, и думал, что если и промокну, то не насквозь.

Я ел с большим аппетитом и наслаждался сол-

нечным закатом на безоблачном небе. То был миг полного отдохновения. Небосвод расцветился великолепными красками. Звезды рвались озарить его своим свечением — и не успел свернуться красочный покров дня, как они засверкали в обнажившейся темной синеве. Дул слабый теплый ветерок, вода плавно колыхалась; море то бугрилось волнами, то выравнивалось гладью, подобно бесконечному хороводу, когда танцоры то сходятся, подняв руки вверх, то расходятся, опустив их вниз, и так снова и снова.

Ричард Паркер сел. Над планширем выступала только его голова и частично плечи. Он озирался по сторонам. Я крикнул: «Привет, Ричард Паркер!» — и махнул рукой. Он посмотрел на меня. И то ли рявкнул, то ли фыркнул — я не разобрал. Опять это *прух-х-с*. Какой великолепный зверь! Сколько в нем благородства! Не случайно его полное название — *королевский* бенгальский тигр. Мне, можно сказать, повезло. Что, если б я остался вдвоем с каким-нибудь тупым уродцем — тапиром, страусом или индюком? В некотором смысле это превратилось бы в пытку, да еще какую.

Я услышал всплеск. Глянул в воду. И открыл рот от изумления. Мне-то казалось, что я тут один. Тишина, повисшая в воздухе, дивное освеще-

ние, чувство относительной безопасности — все навевало мысль, что так оно и есть на самом деле. Покой обычно ассоциируется с тишиной и одиночеством, верно? Трудно представить себя в состоянии покоя на перегруженной станции метро, так ведь? Ну а здесь что за суета?

Мне хватило и мимолетного взгляда, чтобы понять: море — это огромный город. Прямо подо мной, как и повсюду вокруг, о чем я раньше и не подозревал, тянулись автострады, бульвары, улицы и кружные дороги с довольно бурным подводным движением. В плотной прозрачной воде, подсвеченной мириадами крохотных искрящихся существ — планктоном, сновали в безудержной гонке рыбы, похожие на грузовики и автобусы, легковушки и велосипеды и даже на прохожих, — они сигналили и кричали друг дружке без умолку. И все это — на бескрайнем зеленом фоне. На разной глубине, насколько хватало глаз, то вспыхивали, то гасли гирлянды сверкающих пузырьков — следы проносящихся с бешеной скоростью рыб. Как только угасал один такой огненный шлейф, на его месте тотчас загорался другой. Следы эти простирались в разные стороны и гасли где-то вдалеке. Они напоминали фотоснимки ночных городов, сделанные при

большой выдержке, — с длинными лентами света, брызжущего из задних автомобильных фар. С тем лишь исключением, что здешние машины неслись то выше, то ниже друг друга, словно по многоярусной эстакаде. Да и расцветки у них были самые необыкновенные. Корифены — они проносились под плотом, как патрульные машины, числом не меньше пятидесяти, — отливали ослепительно-золотым и синевато-зеленым свечением. А другие рыбы, которых я не мог узнать, — желтым, коричневым, серебристым, синим, красным, розовым, зеленым и белым цветами во всем многообразии оттенков и окрасов, включая одноцветных, пестрых и полосатых. Только акулы решительно не хотели сверкать красками. Однако какими бы ни были размеры и расцветки этих машин, их объединяло одно — шальной порыв. Они то и дело сталкивались друг с другом — боюсь, нередко со смертельным исходом, — а некоторые, потеряв управление, врезались со всего маху в бордюры на обочинах либо выскакивали из воды и тут же шлепались обратно, вздымая фонтаны искрящихся брызг. Я следил за всей этой подводной суетой, словно из корзины парящего над городом воздушного шара. Это было изумительное, захватывающее

зрелище. Так, должно быть, выглядит Токио в часы пик.

Я все смотрел и смотрел — до тех пор, пока в городе не погасли все огни.

С борта «Цимцума» я видел только дельфинов. Мне всегда казалось, что Тихий океан — огромная необитаемая водная пустыня, где лишь местами попадается рыба, и то редко. Потом я узнал, что сухогрузы гораздо быстрее рыб. И разглядеть морских животных с борта корабля так же невозможно, как лесных обитателей из окна мчащегося по шоссе автомобиля. А дельфины плавают очень быстро, да и порезвиться возле лодок и кораблей они не прочь — совсем как собаки, когда пытаются догнать машину: они бегут за ней и бегут, до полного изнеможения. Так что, если вам захочется посмотреть на лесную живность, ступайте в лес пешком — и никакой суеты. То же самое и в море. Чтобы разглядеть несметные богатства его глубин, по нему нужно, так сказать, пройтись неспешным шагом.

Я улегся на бок. Впервые за пять дней у меня возникло некоторое ощущение покоя. Ко мне вновь вернулась надежда — а сколько труда я на это положил! — хоть и слабая, но вполне заслуженная и совершенно оправданная. И я уснул.

60

Среди ночи я вдруг проснулся. Приподнял край навеса и огляделся. В чистейшем небе сияла четким полумесяцем луна. Звезды сверкали так ярко, что было бы глупо назвать ночь непроглядно темной. Безмятежное море утопало в слабом мерцающем свете, озарявшем простиравшуюся вокруг черноту зыбкими серебристыми отблесками. И в этом свечении все смешалось: и небо надо мной, и море подо мной. Меня охватили волнение и страх. Я чувствовал себя мудрецом Маркандеей, который выбрался из чрева спящего Вишну и узрел Вселенную и все сущее в ней. Но мудрец даже испугаться не успел, как Вишну проснулся и снова его проглотил. Первый раз я заметил — как буду неизменно замечать это потом, во время страданий, между приступами мучительной боли, — что страдаю я на великой сцене. Я увидел свои муки такими, как есть, — преходящими и никчемными, и это меня успокоило. Я понял — страдания мои ничего не стоят. И смирился с этим. Так оно и было. (Только при свете дня душа моя зароптала: «Да нет же! Нет! Мучения мои стоят *многого.* Я хочу жить! Так, чтобы жизнь

моя слилась с жизнью Вселенной. Жизнь — всего лишь глазок, узкий проход в бесконечность, и как же мне не цепляться за это короткое, призрачное видение? Этот глазок — все, что у меня есть!») Пролепетав что-то из мусульманской молитвы, я снова уснул.

61

К утру я лишь подмок, зато набрался сил. Это было поразительно, если учесть, сколько тягот пришлось мне пережить за последние несколько дней и как мало я ел все это время.

День был чудесный. И я решил заняться рыбной ловлей — первый раз в жизни. После завтрака из трех галет и воды из жестянки я стал читать, что про это сказано в инструкции по спасению. Первая незадача: наживка. Я призадумался. В шлюпке еще сохранились звериные останки, но красть добычу у тигра из-под носа — нет уж, увольте. Поди растолкуй тигру, что с его стороны это своего рода вклад, за который ему воздастся сполна. Тогда я решил пожертвовать своим ботинком. У меня остался только один левый. Другой я потерял во время кораблекрушения.

Я осторожно забрался в шлюпку и достал из ящика один из рыболовных комплектов, нож и ведро для будущего улова. Ричард Паркер полеживал на боку. Когда я выбрался на нос, он только шевельнул хвостом, а головой даже не повел. Я оттолкнул плот подальше. Прикрепил крючок к поводку, а поводок — к леске. И привязал к ней

несколько грузил. Я выбрал три, по форме похожие на торпеды. Потом снял ботинок и разрезал его на куски. Еще та работенка: уж больно жесткая была кожа. Я аккуратно насадил кусок кожи на крючок — так, чтобы его кончик не торчал наружу. И опустил леску поглубже. Рыбы вчера было столько, что я надеялся на легкую добычу.

Но просчитался. Башмак исчезал кусок за куском, леска то и дело подергивалась, рыба знай себе поклевывала наживку — а на крючке всякий раз было пусто, и так до тех пор, пока я не извел весь ботинок и у меня ничего не осталось, кроме резиновой подошвы да шнурка. После того как шнурок, хоть и похожий на червя, не оправдал моих надежд, я сгоряча решил пустить в ход последнее средство — всю подошву целиком. Но из этого тоже ничего не вышло. Я почувствовал легкое многообещающее подергивание — но леска тут же ослабла. Все, что я вытащил, так это голую леску. Без наживки, без крючка и без грузил.

Я здорово огорчился. Хотя про запас у меня были в наборе и крючки, и поводки, и грузила, а кроме того — еще один полный комплект рыболовных снастей. Да и потом, рыбачил я не для себя. Съестных припасов у меня было сколько угодно.

Но внутренний голос — тот самый, к которому

мы так не хотим прислушиваться, — отчитывал меня безжалостно: «За глупость приходится расплачиваться. В другой раз будь поосторожней да поумней».

Ближе к полудню появилась вторая черепаха. Она подплыла прямо к плоту. И могла бы запросто тяпнуть меня за зад, если б захотела. Как только она отвернулась, я было схватил ее за плавник, но в ужасе отдернул руку, едва к нему прикоснулся. И черепаха уплыла.

Все тот же внутренний голос, распекавший меня за безуспешную рыбалку, снова принялся выговаривать: «Чем теперь будешь кормить своего тигра? Или считаешь, ему надолго хватит трех звериных туш? Может, тебе напомнить? Тигры — не падальщики. Впрочем, когда приспичит, он и от мертвечины не станет воротить нос. Но, думаешь, перед тем как позариться на разбухший, насквозь прогнивший труп зебры, он не захочет полакомиться свеженьким индийским мальчишкой, до которого можно доплыть в два гребка? А как у нас с водой? Сам знаешь, тигры жажду долго не выносят. Или забыл, как несет у него из пасти? Тихий ужас. Не к добру это. Или думаешь, он в охотку вылакает всю воду в океане и, утолив жажду, отпустит тебя в Америку посуху?

И как только эти сундарбанские тигры умудряются избавляться от излишков соли в организме — просто диво. Наверное, в своих мангровых болотах научились. Но и эти возможности у них не безграничны. Говорят же, что тигр, пресытившийся соленой водой, превращается в людоеда. А вот и он. Легок на помине. Ишь, зевает. Ну и пасть — бездонная розовая пещера. Только глянь на эти желтые сталактиты да сталагмиты — сущие громадины. Может, тебе повезет — и ты угодишь туда прямо сегодня».

Ричард Паркер спрятал язык, размером и цветом похожий на резиновую грелку, закрыл пасть. И сглотнул.

Весь остаток дня я корил себя безжалостно. И старался держаться подальше от шлюпки. Но несмотря на мои горькие предчувствия, Ричард Паркер был совершенно спокоен. Дождевой воды у него была целая прорва, да и от голода он, судя по всему, не страдал. Зато какие только звуки, свои — тигриные, он не издавал: и рычал, и стонал, да так, что мне становилось не по себе. Задача казалась неразрешимой: чтобы рыбачить, нужна наживка, а наживку можно раздобыть, только поймав рыбу. Что же делать? Ловить на палец ноги? Или, может, отрезать себе ухо?

Решение пришло поздним вечером, и самым неожиданным образом. Я подтянул плот к шлюпке. Больше того: я забрался в нее и принялся шарить в ящике, лихорадочно размышляя, как буду спасать свою жизнь. Плот я привязал так, чтобы он находился футах в шести от шлюпки. Я думал, что смогу допрыгнуть до него и, дернув за слабый узел, ускользну от Ричарда Паркера. Пойти на такой риск пришлось от отчаяния.

Не найдя подходящей наживки и не придумав, чем бы ее заменить, я сел, опустив руки, — и тут заметил, что оказался как раз под его пристальным взглядом. Он сидел на другом конце шлюпки, должно быть, возле зебры, повернувшись ко мне, — сидел и как будто ждал, чтобы я обратил на него внимание. Почему я даже не услышал, как он пошевелился? С чего это я взял, что смогу обвести его вокруг пальца? Вдруг меня что-то больно шлепнуло по щеке. Я вскрикнул и зажмурился. Похоже, он со своей кошачьей прытью сиганул через всю шлюпку и напал. Сейчас разорвет мне когтями лицо — такой вот жуткой смертью мне суждено умереть. Боль была до того сильная, что ничего другого я уже не чувствовал. Благословен будь шок! Благословенно будь в нас то, что избавляет от ощущения боли и скорби!

В самом сердце жизни сокрыт предохранитель. Я проговорил: «Ну же, Ричард Паркер, давай, прикончи меня. Только, пожалуйста, побыстрей. Предохранитель долго не выдержит».

Но он медлил. Он сидел у моих ног и урчал. Должно быть, учуял сундук с сокровищами. Я в ужасе открыл один глаз.

Это была рыба. В ящике была рыба. Она билась, как всякая рыба, выброшенная из воды. В длину дюймов пятнадцать, и с крыльями. Летучая рыба. Продолговатая, серо-голубая, с жесткими крыльями, без перьев и с круглыми немигающими глазами. Выходит, по щеке меня шмякнула летучая рыба, а не Ричард Паркер. Он сидел все там же, в пятнадцати футах от меня, и, вероятно, никак не мог понять, что со мной. Правда, рыбу он заметил. Это было видно по его морде, уж больно любопытной. Казалось, он собирался проверить, что к чему.

Я нагнулся, схватил рыбу и швырнул ему. Так-то оно лучше! Крысы перевелись — не беда, обойдусь летучими рыбами. Жаль только, летучка упорхнула. Извернулась в воздухе перед самой пастью Ричарда Паркера — и шлепнулась в воду. Ричард Паркер мотнул головой и захлопнул пасть, клацнув зубами, — но рыба оказалась

шустрее. Ему это явно не понравилось. Он снова посмотрел на меня. «И где же мое угощение?» — казалось, спрашивали его глаза. Я испугался и сник. И уже развернулся в слабой надежде прыгнуть на плот до того, как он на меня набросится.

В это самое время воздух задрожал — и нас атаковала целая стая летучих рыб. Они нагрянули, как саранча. И дело даже не в их количестве, а в том, что шуршанием и потрескиванием крыльев они и впрямь напоминали насекомых. Летучки выпархивали из воды дюжинами, одновременно, причем некоторые из них пролетали по воздуху добрую сотню ярдов, а то и больше. Многие ныряли в воду прямо перед шлюпкой. Другие перелетали через нее. Третьи врезались в борт с хлопками, как при фейерверке. И лишь самым сноровистым удавалось упасть в воду, перелетев через брезент. А менее удачливые плюхались в шлюпку и начинали неистово биться на дне. Были и такие, которые с лету врезались прямо в нас. Отбиваться от них мне было нечем, и я ощущал себя не иначе как святым Себастьяном, мучеником. Каждая рыбина, попадавшая в меня, вонзалась в мое тело, точно стрела. Я схватил одеяло, чтобы хоть чем-то прикрыться, и в то же время пытался ухватить какую-нибудь рыбешку

на лету. Но вместо этого заработал одни синяки да ссадины.

Вскоре выяснилась и причина такого налета: следом за летучими рыбами из воды выпрыгивали корифены. Они были крупнее летучек и сцапать их в воздухе не могли, зато в воде они оказывались куда более проворными и поражали добычу одним молниеносным броском. Им удавалось сцапать летучек, если они успевали угнаться за ними, проплыв под водой и выскочив на поверхность с открытой пастью в тот самый миг, когда те падали в воду. Были и акулы, они тоже выпрыгивали из воды, хоть и не так ловко, как корифены, зато метко — со смертельным исходом для последних. Бойня продолжалась недолго, но все это время вода бурлила и кипела, рыбы метались как угорелые и челюсти клацали без передышки.

Не в пример мне Ричард Паркер не только не дрогнул перед натиском летучих рыб, но и проявил чудеса сноровки. Он взгромоздился перед ними стеной и давай хватать лапами и зубами все, что летело в его сторону. Многих рыб он заглатывал заживо, целиком, и те, угодив к нему в пасть, все еще отчаянно трепыхали крыльями. То был наглядный урок силы и ловкости. Впрочем,

поражала не столько сама ловкость — чисто хищническая, сколько совершенно невозмутимое отношение к происходящему. Такому сочетанию легкости и собранности в данное, конкретное мгновение позавидовали бы самые искусные йоги.

Когда все кончилось, я подвел итоги натиска: не считая того, что я изрядно пострадал, рацион ящика пополнился шестью летучими рыбами, а на дне шлюпки их скопилось и того больше. Я живо завернул одну рыбину в одеяло, прихватил топорик и перебрался на плот.

Теперь я действовал с крайней осторожностью. Недавняя утрата части рыболовных снастей охладила мой пыл. Еще одну такую оплошность я позволить себе не мог. Аккуратно доставая рыбу из одеяла, я придерживал ее рукой, памятуя о том, что она наверняка попытается вырваться на волю. Чем ближе подбирался я к рыбе, тем страшнее и противнее становилось у меня на душе. Вот показалась рыбья голова. Я держал ее таким образом, что она походила на верхушку отвратительного рыбного мороженого, торчащую из рожка, свернутого из шерстяного одеяла. Без воды рыба задыхалась: она медленно хватала воздух, то открывая, то закрывая рот и жабры.

Под рукой я чувствовал, как бьются ее крылья. Я перевернул ведро вверх дном и положил на него рыбу. Взял топорик. И занес его над головой.

Я опускал топорик несколько раз, но довершить дело так и не смог. Такая чувствительность может показаться смешной, если вспомнить все, что я пережил за последние дни, но тогда зверствовали другие — хищники. Конечно, в некотором смысле я был виноват в смерти крысы, но ведь я же только бросил ее Ричарду Паркеру, а убил ее он. И вот теперь мне, прирожденному вегетарианцу, предстояло умышленно отрубить рыбе голову.

Я прикрыл ей голову одеялом и в очередной раз взмахнул топориком. И снова рука застыла в воздухе. При одной лишь мысли, что я вот-вот размозжу топором мягкую голову живого существа, мне становилось не по себе.

И я отложил топорик. Решил свернуть ей шею так, чтобы этого не видеть. Я плотно завернул рыбу в одеяло. И начал сдавливать ее обеими руками. Но чем крепче я давил, тем сильнее она трепыхалась. Я представил, каково было бы мне, если б меня завернули в одеяло и принялись выкручивать шею. Вот ужас! Я уже несколько раз хотел бросить эту затею. Но снова и снова убеждал себя, что так надо и что чем дольше я буду

сомневаться, тем больше рыба будет мучиться.

Обливаясь слезами, я утешал себя до тех пор, пока не услышал хруст и не почувствовал, как у меня под руками перестала биться чья-то жизнь. Я развернул одеяло. Летучая рыба издохла. На голове у нее, сбоку, рядом с жабрами виднелась кровоточащая рана.

И я расплакался над этой маленькой, несчастной, загубленной душой. Это было первое существо, которое я убил в своей жизни. Вот я и стал убийцей. Таким же душегубом, как Каин. Я был ни в чем не повинным шестнадцатилетним пареньком, знавшим жизнь только по книгам и проповедям, и вот уже руки у меня в крови. Какой ужас! Любое разумное существо — священно. Я всегда поминаю эту рыбу в своих молитвах.

Потом стало легче. Мертвая летучая рыба была похожа на самую обыкновенную рыбу, которую я видал на пондишерийских рынках. Она превратилась в нечто другое — то, что уже не принадлежало к числу великих земных творений. Я разрубил ее топориком на куски и сложил все в ведро.

В конце дня я снова попробовал рыбачить. Сперва мне везло не больше, чем утром. Однако удача не заставила себя долго ждать. Рыбы кидались

на крючок одна за другой. Впрочем, клевала одна мелочь, а крючок был слишком велик. Отмотав тогда побольше лески, я забросил ее подальше и поглубже, чтобы мелюзга, шнырявшая возле плота и шлюпки, не добралась до наживки.

И вот, когда я насадил на крючок голову летучей рыбы да подвесил на леску только одно грузило и стал тянуть побойчее, так, чтобы рыбья голова скользила по поверхности, лишь тогда-то я наконец и поймал свою первую добычу. Из воды вынырнула корифена — и кинулась за рыбьей головой. Я попридержал леску, решив убедиться, что корифена действительно заглотила наживку, и затем с силой рванул на себя. Корифена выскочила из воды и так сильно дернула, что я чуть не свалился с плота. Пришлось поднатужиться. Леска натянулась в струну. Это была надежная снасть — так запросто не порвешь. Я начал подтаскивать корифену поближе. Она билась изо всех сил — то выпрыгивала из воды, то плюхалась обратно, поднимая брызги. Вот уже леска врезалась мне в руки. Я обмотал их одеялом. Сердце в груди так и колотилось. Рыбина попалась здоровенная, как бык. И я боялся, что мне ее не вытащить.

Тут я заметил, что другие рыбы, сновавшие вокруг плота и шлюпки, разом исчезли. Верно,

почуяли, какая печальная участь постигла корифену. Я поднажал. На шум возни того и гляди слетятся акулы. Но рыбина сопротивлялась как черт. У меня уже свело руки. Каждый раз, как только я подтаскивал ее поближе к плоту, она начинала биться с таким неистовством, что я сдавался и немного стравливал леску.

В конце концов мне удалось втащить ее на плот. В длину она была больше трех футов. Ведро тут не годилось. Разве что нахлобучить ей на голову вместо шляпы. Я удерживал рыбину, упершись в нее коленями и придерживая руками. Это была сплошная корчащаяся груда мышц, до того огромная, что, даже когда я навалился на нее всем телом, из-под меня все равно торчал ее хвост, которым она нещадно колотила по плоту. Корифена брыкалась подо мной, как необъезженный мустанг под ковбоем. Я вошел в раж, почувствовав себя победителем. Корифена с виду просто прелесть — огромная, мясистая и гладкая, с выпуклым лбом, выдающим в ней упорство, с длинным спинным плавником, торчащим кверху, как петушиный гребень, и с глянцевой чешуей. Мне казалось, что, совладав с таким великолепным противником, я схватил судьбу за рога. Сокрушив рыбину, я бросил вызов морю

и ветру в отместку за все кораблекрушения в мире и за все невзгоды, выпавшие на мою долю. «Спасибо тебе, Господь Вишну. Спасибо! — воскликнул я. — Когда-то ты спас мир, обернувшись рыбой. А теперь ты спас меня, опять же превратившись в рыбу. Спасибо тебе, спасибо!»

Убить ее было просто. Я бы вовсе не стал себя этим утруждать — в конце концов, поймал-то я ее для Ричарда Паркера, так что теперь его забота разделаться с ней со свойственной ему ловкостью, — если б не крючок, который она заглотила. Я радовался, что поймал корифену, но если на крючок попадется еще и тигр, тогда мне уж точно будет не до веселья. Я немедленно взялся за дело. Схватил обеими руками топорик и со всего маху шмякнул рыбу обухом по голове (зарубить ее лезвием я бы не смог — не хватило бы духу). Перед тем как издохнуть, корифена выкинула самый невероятный фортель: она вдруг стала переливаться всеми цветами радуги — быстро-быстро. Цепляясь за жизнь, она синела, зеленела, краснела, золотилась, а то вдруг начинала сверкать холодным неоновым светом. И мне действительно казалось, что я убиваю живую радугу. (Лишь потом я узнал, что чудесный переливчатый окрас появляется у корифены только

перед смертью.) Наконец она замерла и поблекла — теперь можно было достать крючок. Я даже ухитрился выдернуть с ним и кусок наживки.

Вы, верно, немало удивились, с какой легкостью слезы по задушенной тайком летучей рыбе у меня обернулись радостью, когда я до смерти забил обухом корифену. Свои сомнения и горе в первом случае я мог бы объяснить тем, что воспользовался оплошностью летучей рыбы, не рассчитавшей траекторию полета, а огромную корифену я выудил совершенно сознательно — и потому так обрадовался улыбнувшейся мне удаче, хотя и старался не потерять голову от радости. Но истинная причина в другом. Она проста и ужасна: человек ко всему привыкает, даже к убийству.

И вот с чувством гордости, свойственной любому удачливому охотнику, я стал подтягивать плот к шлюпке. Мало-помалу, очень медленно, я подвел его к самому борту. И, поднапрягшись, перебросил корифену в шлюпку. Она тяжело шлепнулась на дно — к вящему недовольству и не меньшему удивлению Ричарда Паркера. Сперва до меня донеслось трубное сопение, а после — громкое чавканье. Я оттолкнулся от шлюпки, не забыв, однако, несколько раз свистнуть в сви-

сток, чтобы напомнить Ричарду Паркеру, кто с такой любезностью подбросил ему свежатинки. Но тут остановился, решив прихватить с собой несколько галет и жестянку с водой. Пять летучих рыб, угодивших в ящик, уже издохли. Я оторвал у них крылья и выбросил, а тушки завернул в священное, окропленное рыбьей кровью одеяло.

Пока я сам отмывался от крови и промывал рыболовные снасти, раскладывал все по местам, а потом сел ужинать, наступила ночь. Тонкая облачная пелена затянула и звезды, и луну, — все погрузилось в непроглядную тьму. Я устал, хотя все еще не мог прийти в себя после того, что пережил за последние часы. Труд — штука чрезвычайно полезная: благодаря труду я и думать забыл про себя и про свое отчаянное положение. Спору нет, коротать время за рыбной ловлей куда лучше, чем плести веревки или играть в подглядки. И я решил, что утром, как только рассветет, снова буду рыбачить.

Я засыпал — сознание мое угасало, мерцая разноцветными бликами, как та умиравшая корифена.

62

В ту ночь я спал беспокойно. Незадолго до рассвета, отчаявшись снова заснуть, я приподнялся на локте. И стал украдкой следить за тигром. Ричард Паркер тоже маялся. Он то стонал, то рычал и все метался по шлюпке. Зрелище не из приятных. Я призадумался. Уж не проголодался ли? Вряд ли, а если да, то не так чтоб уж очень. Может, пить хочет? Язык у него хоть и вываливался из пасти, но сам он дышал вроде бы ровно. Брюхо и лапы — сыроватые. Только малость пообсохли. Верно, в шлюпке осталось не так уж много воды. А стало быть, скоро он действительно захочет пить.

Я глянул на небо. Облачная дымка рассеялась. Лишь далеко на горизонте маячили облачка, а так небо было чистое. Значит, дождя не жди — день снова обещает быть жарким. Волны катили по морю вяло-вяло, словно в предчувствии неизбежного зноя.

Я сел, прислонясь спиной к мачте, и стал раздумывать, как нам быть дальше. На галетах да рыбе мы еще протянем. Но что делать с водой — вот вопрос. Ее кругом сколько угодно, только все без толку: уж больно соленая. Впрочем, пресную

воду можно разбавлять морской — только сперва надо раздобыть побольше пресной. Жестянок на нас обоих едва ли хватит надолго — да и, честно сказать, мне не очень-то хотелось делиться с Ричардом Паркером своими запасами, — а рассчитывать на дождевую воду неразумно.

Оставалось одно — полагаться на солнечные опреснители. Я поглядел на них с сомнением. С тех пор как они болтаются в море, прошло два дня. И один из них, как я заметил, успел прохудиться. Я подтянул линь — проверить, что с ним случилось. И поддул конус. Потом без всякой надежды пощупал под водой водозаборный мешок, скрепленный с круглой плавучей камерой. Тот, как ни странно, оказался полный. Я даже вздрогнул от неожиданности. Но мигом взял себя в руки. Скорее всего, туда попала морская вода. Я отцепил мешок и, следуя инструкции, немного его наклонил, а опреснитель развернул так, чтобы в него не могла просочиться вода из-под конуса. Затем закрыл два крохотных вентиля на соединении с мешком, отцепил мешок и вытащил его из воды. Прямоугольный, из плотного, мягкого желтого пластика, с мерными делениями с одной стороны. Я попробовал воду на вкус. Потом еще разок. Пресная.

— Милая моя морская коровка! — глядя на опреснитель, воскликнул я. — Вот так удой! Молоко просто чудо! Правда, немного отдает резиной, а так грех жаловаться. Ну, гляди, как я пью!

Я осушил мешок за один присест. Он был почти полный — а вмещался в него целый литр. Зажмурившись от удовольствия и переведя дух, я подвесил мешок обратно. Потом проверил остальные опреснители. Вымя у каждого было полным-полно. Я слил весь удой, больше восьми литров, в ведро для рыбы. Эти хитроумные устройства, опреснители, отныне стали мне столь же дороги, как скотина для крестьянина. И то верно: вытянувшись дугой и мерно покачиваясь на волнах, они и впрямь походили на пасущихся на лугу коров. Я позаботился о них на славу — проверил, чтобы в каждом было достаточно морской воды и чтобы конусы с камерами были надуты плотно.

Плеснув немного морской воды в ведро с пресной, я поставил его на боковую банку под брезентом. К полудню потеплело — Ричард Паркер, похоже, устроился где-то внизу. Я привязал ведро к гакам, на которых брезент крепился к бортам шлюпки. И осторожно глянул через план-

ширь. Он лежал на боку. Логово его являло собой поистине жуткое зрелище. Трупы животных были свалены в бесформенную кучу. Из нее торчали ноги, ошметки шкур, наполовину обглоданная голова и множество костей. А вокруг валялись крылья летучих рыб.

Я разрезал летучую рыбу и швырнул кусок на боковую банку. Потом извлек из сундука все, что мне могло пригодиться сегодня, и, перед тем как перебраться на плот, бросил второй кусок на брезент, Ричарду Паркеру под нос. Случилось то, что я ожидал. Отвалив от шлюпки, я увидел, как он выбрался из укрытия и потянулся к рыбе. Повернув голову, он заметил другой кусок, а рядом — какой-то незнакомый предмет. Он встал. И склонил громадную голову над ведром. Я испугался, как бы он его не опрокинул. Но обошлось. С трудом втиснув голову в ведро, он принялся лакать воду. Ведро вмиг опустело и от толчков его языка заходило ходуном. А когда он вскинул голову и посмотрел в мою сторону, я строго поглядел ему прямо в глаза и несколько раз свистнул в свисток. Он скрылся под брезентом.

Я поймал себя на мысли, что шлюпка с каждым днем становится все больше похожей на загон в зоопарке: Ричард Паркер обзавелся собственным

закутком, кормушкой, наблюдательным постом и теперь вот — поилкой.

Температура быстро поднималась. Стало нестерпимо жарко. Остаток дня я просидел в тени под навесом и ловил рыбу. С первой корифеной мне, похоже, просто повезло. За весь день я так ничего и не поймал, как, впрочем, и поздно вечером, когда морской живности кругом собирается прорва. Вот на поверхность всплыла черепаха, в этот раз совсем другая — зеленая, здоровенная, с совершенно гладким панцирем, и такая же любопытная, как бисса. Но я и пальцем не шевельнул в ее сторону, хотя подумал — а надо бы.

Единственное, что доставляло радость в тот жаркий день, так это глядеть на солнечные опреснители, благо все они были на месте. Изнутри каждый конус покрывали капли испарившейся влаги, стекавшей затем струйками в водозаборники.

День закончился. Я подсчитал, что завтра утром будет ровно неделя с тех пор, как затонул «Цимцум».

63

Семья Робертсон провела в открытом море тридцать восемь дней. Капитан Блай и его спутники, с легендарного мятежного «Баунти», — сорок семь дней. Стивен Каллахан — семьдесят шесть. Оуэн Чейз, чей рапорт о том, как кашалот потопил китобоец «Эссекс», вдохновил Германа Мелвилла, дрейфовал в море вместе с двумя матросами восемьдесят три дня, если не считать недельной стоянки на негостеприимном острове. Семья Бейли продержалась сто восемнадцать дней. Слыхал я и про одного моряка торгового флота, корейца по имени Пун, кажется, так он провел в Тихом океане сто семьдесят три дня — дело было в 1950-е годы.

Я же продержался двести двадцать семь дней. Такая вот долгая мне выпала мука: она продолжалась семь месяцев с лишним.

Но я не сидел сложа руки. Потому-то и выжил. В шлюпке, да и на плоту, дел было невпроворот. И обычный мой день, если можно так сказать про человека, потерпевшего кораблекрушение, складывался так.

С рассвета — до полудня:

подъем;

молитвы;

завтрак для Ричарда Паркера;

общий осмотр плота и шлюпки, особенно узлов и стяжек,

обработка солнечных опреснителей (протирка, надувка, доливка воды);

завтрак и осмотр продовольственных запасов;

рыбная ловля и разделка рыбы, если было что разделывать (потрошение, очистка, развешивание длинных ломтей на веревках для вяления на солнце).

С полудня — до середины дня:

молитвы;

легкий обед;

отдых и спокойные занятия (ведение дневника, осмотр ран, затянувшихся и новых, уход за снаряжением, обследование ящика с припасами, наблюдения за Ричардом Паркером, смакование черепашьих косточек и т. д.).

С середины дня — до раннего вечера:

молитвы;

рыбная ловля и заготовка рыбы;

обработка провяленных ломтей (переворачивание, срезание подгнивших частей);

подготовка к ужину;
ужин для себя и для Ричарда Паркера.

На закате:
общий осмотр плота и шлюпки (тех же узлов и стяжек);
сбор и разлив по емкостям воды из опреснителей;
раскладывание по местам съестных припасов и снаряжения;
приготовления к ночи (устраивание постели, подготовка ракетницы, чтобы была под рукой, если появится корабль, и дождесборника, если пойдет дождь);
молитвы.

Ночь:
прерывистый сон;
молитвы.

По утрам обычно было спокойнее, чем по вечерам, когда время будто останавливалось.

Распорядок дня могло нарушить любое происшествие. Если днем или ночью шел дождь, значит, все другие дела побоку: пока он не переставал, приходилось то придерживать заборники, то разливать собравшуюся воду по разным емкостям. Появление черепахи — еще од-

но знаменательное событие. Впрочем, главным возмутителем спокойствия все-таки был Ричард Паркер. Приглядывать за ним было главной моей заботой — я помнил об этом каждую секунду. Его же главной заботой было только есть, пить да спать — и то иной раз он вдруг пробуждался и начинал метаться вокруг своего закутка, сопя и рыча на все лады, причем с явным неудовольствием. Но хвала солнцу и морю: они живо его усмиряли — он всякий раз забирался под брезент и заваливался на бок или на живот, опуская голову на передние лапы.

Но меня связывала с ним не только насущная необходимость. Я мог часы напролет наблюдать за ним просто так — ради развлечения. Любоваться тигром — всегда удовольствие, а когда остаешься с ним один на один — и подавно.

Первое время я только и делал, что высматривал корабль. Но потом, через месяц-полтора, почти перестал.

А еще я выжил потому, что старался забыть все плохое. История моя, по календарю, началась в один день — 2 июля 1977 года и закончилась в другой — 14 февраля 1978 года, а в промежутке не было никакого календаря. Я не считал ни дни, ни недели, ни месяцы. Время — иллюзия, от которой

у человека появляется одышка. И выжил я еще и потому, что напрочь забыл, что оно, собственно, такое — время.

Я помню лишь избранные события, встречи да кое-какие происшествия: это были своего рода вехи — они возникали из океана времени то тут, то там и четко запечатлевались у меня в памяти. Например — запах стреляных ракетных гильз, утренние молитвы, охота на черепах, биологические особенности водорослей. Да кое-что еще. Хотя вряд ли смог бы восстановить все это в строго определенном порядке. Мои воспоминания смешались в одну бесформенную кучу.

64

Одежда моя от солнца и соли пришла в полную негодность. Сперва она стала тонкая, как марля. После разошлась по швам. А потом разошлись и швы. Несколько месяцев я сидел совершенно голый, с одним свистком на шее — он болтался у меня на шнурке.

От соленой воды кожа пошла безобразными болезненными красными нарывами, которые моряки считают сущей проказой. Там, где они прорывались, кожа делалась особенно чувствительной — и при малейшем прикосновении я вскрикивал от нестерпимой боли. Нарывы, понятно, возникали в тех местах, которые чаще всего намокали и которыми я чаще всего соприкасался с плотом, — то есть на ягодицах. В иные дни я даже с трудом мог где-нибудь примоститься, чтобы отдохнуть. Но время и солнце залечивали раны, хоть и очень медленно, — стоило мне промокнуть, как на коже тут же вскакивал новый нарыв.

65

Я потратил не один час, чтобы постичь премудрости навигационной науки по инструкции. Ее составитель так и сыпал простыми, ясными советами, как выжить вдали от суши, предполагая, должно быть, что всякий потерпевший кораблекрушение просто обязан знать основы мореплавания. Как будто в кораблекрушения попадают одни только заправские моряки, которым вполне хватило бы компаса, карты да секстанта, чтобы понять, в какую беду они попали, и главное — найти из нее выход. Потому-то в инструкции и приводились такие советы, как: «Помните, время — то же расстояние. Не забывайте заводить часы» или «Широту в случае необходимости можно измерить пальцами». Часы у меня были, правда, теперь они на дне Тихого океана. Я потерял их во время крушения «Цимцума». Что же касается широты и долготы, да и морского дела вообще, тут мои познания ограничивались лишь тем, кто живет в море, а на то, как плавать по морю, они не распространялись. Ветры и течения были для меня загадкой. Да и звезды ничего не значили. Я не смог бы назвать ни одного созвездия. У нас

в семье знали только одну-единственную звезду — Солнце. Мы засветло ложились и рано вставали. В своей жизни я видел лишь несколько прекрасных звездных ночей, когда природа с помощью двух простых красок и незатейливых мазков создает величественную картину; глядя на нее, я изумлялся и, как все, сознавал свою ничтожность, хотя точно угадывал по ней определенное направление, правда, скорее духовное — не географическое. Я и не знал, что ночное небо может служить путеводной картой. Как звезды, пусть и самые яркие, могут указать мне верную дорогу, если сами они беспрерывно движутся?

И я бросил это занятие. К тому же любые сведения на этот счет вряд ли бы мне пригодились. Я и понятия не имел, как держать тот или иной курс: у меня не было ни руля, ни парусов, ни двигателя — только весла да руки, и то слабоватые. Что проку прокладывать курс, если не можешь им идти? Но даже если б и был прок, как бы я узнал, куда плыть? На запад — туда, откуда мы плыли? На восток — в Америку? На север — в Азию? Или на юг — туда, где лежат судоходные пути? Каждое направление казалось мне заманчивым и в то же время сомнительным.

Оставалось одно — положиться на волю ветра

и волн. Им и решать, куда меня нести. Время стало для меня расстоянием, как и для всех смертных, — я плыл себе по течению жизни, не желая лишний раз и пальцем шевельнуть, а если и шевелил, то вовсе не ради того, чтобы измерить какую-то там широту. Только потом я узнал, что меня несло по узкой стезе — Тихоокеанскому экваториальному противотечению.

66

Я ловил рыбу на разные крючки и на разных глубинах, да и рыба была разная: для большой глубины использовал крючки покрупнее и грузил подвешивал побольше, а на малой глубине ловил на маленькие крючки с одним или парой грузил. Удача ко мне явно не спешила, но я неизменно радовался ей, даже если игра порой не стоила свеч. Время шло, рыба попадалась все больше мелочь, а аппетиты Ричарда Паркера росли как на дрожжах.

В конце концов самыми надежными и дорогими мне орудиями лова оказались остроги. Они собирались из трех насадок: двух полых трубок, образующих древко, — одна с литой рукояткой на конце и с кольцом, к которому крепился страховочный линь, — и наконечника с крючком дюйма два шириной, острым, как игла, на конце. В собранном виде каждая острога достигала в длину пяти футов, будучи при этом легкой и крепкой, как шпага.

Сперва я ловил на открытой воде. Опускал острогу фута на четыре в глубину или около того, иногда с куском рыбы на конце в качестве

приманки, — и ждал. Ждать порой приходилось часами, отчего все тело затекало и начинало болеть. Как только в нужном месте появлялась рыба, я тут же с силой рвал острогу на себя. Счет шел на доли секунды. По опыту я знал, что острогу лучше дергать наверняка, чем наудачу, потому как рыба тоже учится на опыте, — и в следующий раз она уже вряд ли попадет в одну и ту же ловушку.

Когда удача мне все же улыбалась, рыба буквально сама ловилась на острогу, напарываясь на крюк, и тут уж с моей стороны промашки быть не могло. Если же я пытался подцепить большую рыбину за брюхо или за хвост, она чаще всего срывалась с крюка и мигом уплывала прочь. Раненная, она становилась легкой добычей для хищников, которым я, получается, невольно делал подарок. Поэтому, охотясь на крупную рыбу, я старался целить ей повыше брюха, между жабрами и боковыми плавниками, тем более что рыбы инстинктивно стремятся всплыть *вверх*, так и норовя соскочить с крюка, — и я дергал острогу в том же направлении. Все так и было, хотя иной раз рыбу удавалось лишь легонько подцепить на острогу, а не пронзить насквозь, в результате она срывалась с крюка в воду, обдавая мне лицо

брызгами. Я быстро подавил в себе брезгливость от прикосновения к морской живности. И бросил всю эту суету с заворачиванием рыбы в одеяло. Стоило рыбе выпрыгнуть из воды, как ее тут же встречал голодный охотник, готовый хватать добычу чем угодно, хоть голыми руками. Если я чувствовал, что рыба сидит на остроге некрепко, то отпускал острогу — благо она у меня всегда была привязана к плоту — и хватал рыбу руками. Хоть пальцы и не такие острые, как крючья, зато орудовать ими было куда удобнее. И тут-то завязывалась настоящая борьба — быстрая и бурная. Рыба, помимо того что она скользкая, попадалась все больше отчаянная — на моей же стороне было одно только отчаяние. Вот бы мне столько рук, как у богини Дурги: две — чтобы держать острогу, четыре — чтобы подхватывать рыбу, и еще парочку — махать топориками! Но приходилось обходиться двумя. Я продавливал рыбе глаза, просовывал руки в жабры, прижимал ей брюхо коленями, а хвост хватал зубами — словом, чего только не выделывал, лишь бы удержать ее, покуда не дотянусь до топорика и не снесу ей голову.

Со временем я в этом изрядно поднаторел и сделался заправским рыболовом-охотником. Да

и сноровки поднабрался. А с навыком пришло и чутье.

Дела у меня пошли особенно хорошо, когда я пустил в ход обрывок грузовой сетки. Как рыболовная сеть она не годилась: больно жесткая и тяжелая, да и плетение туговатое. Зато лучшей приманки было не сыскать. Она у меня свободно болталась в воде, и, когда мало-помалу обросла водорослями, рыбы слетались на нее как мухи на мед. Некоторые, мелюзга, даже поселились в ней, а другие, те же корифены, проносясь мимо, непременно притормаживали, чтобы поглядеть на невиданное поселение. Но ни местные обитатели, ни гости даже не подозревали, что в сетке спрятан крюк. В иные дни — к сожалению, их было не так много — я мог загарпунить целую прорву рыбы. Но так или иначе вылавливал больше, чем нужно, чтобы наесться до отвала и заготовить впрок; хотя ни места в шлюпке, ни веревки на плоту не хватило бы, чтоб засушить столько корифен, летучек, каранксов, груперов и макрелей, не говоря уже про мой желудок — такого количества ему было просто не переварить. Я оставлял себе столько рыбы, сколько хотел, а все остальное отдавал Ричарду Паркеру. В дни такого изобилия я буквально утопал в рыбе и с

ног до головы был облеплен рыбьей чешуей. Она сверкала серебром, как тилаки — божественные знаки, которые мы, индусы, наносим себе на лоб в виде ярких блесток. Если бы меня тогда увидели моряки, они бы точно решили, что я — морской бог, восседающий на престоле над своим царством, и прошли бы мимо. Славные были дни! Жаль только, их было мало.

Легче всего ловились черепахи, о чем, собственно, и говорилось в инструкции. В разделе «Охота и собирательство» про них упоминалось в главе «Собирательство». Хоть и вооруженные крепкой броней, наподобие танков, пловцы они были никудышные — слабые и неповоротливые: любую можно было спокойно ухватить за задний плавник и одной рукой. Но в инструкции ни слова не говорилось о том, что поймать черепаху — еще не значит удержать. Ее еще надо втащить на борт. А втащить на борт шлюпки стотридцатифунтовую черепаху, да еще трепыхающуюся, совсем не просто. Для эдакой работенки нужны сила и ловкость, как у Ханумана. Обычно я подтаскивал добычу к носу шлюпки, прижимая панцирем к борту, и связывал ей веревкой шею, один передний ласт и один задний. Потом принимался тянуть вверх, и так до тех пор, пока

не отвалятся руки и не начнет ломить голову. С другого носового борта я намотал на гаки побольше веревки, и всякий раз, как только удавалось веревку немного выбрать, я тут же цеплял ее за гак, чтобы она не успела соскользнуть. Так, дюйм за дюймом, я и тащил черепаху из воды. На это уходила уйма времени.

Помню, одна зеленая черепаха проболталась у борта два дня кряду, молотя связанной парой ласт по воде, а другой, свободной, — по воздуху. К счастью, под конец, оказавшись на краю планширя, черепаха уже сама стала невольно мне помогать. Силясь высвободить до боли вывернутые плавники, она пробовала подтянуться на них повыше; если я успевал в тот же миг дернуть за веревку, наши усилия совпадали и все складывалось как нельзя более удачно: черепаха тяжело переваливалась через планширь и соскальзывала на брезент. И я падал рядом с ней, хоть и без сил, зато с радостным сердцем.

В зеленых черепахах мяса было больше, чем у бисс, да и брюшной панцирь у них оказался тоньше. Правда, они куда крупнее бисс — сущие громадины, не под силу такому доходяге, в которого я к тому времени превратился.

Господи, подумать только: я — истый веге-

тарианец! Подумать только: я и ребенком-то вздрагивал каждый раз, когда снимал кожуру с банана, думая, что сворачиваю шею какой-нибудь зверушке. И вот до чего я докатился: стал дикарем, да таким, каким никогда и представить себя не мог.

67

На нижней стороне плота образовалась целая колония морской живности, как и на сетке, правда, совсем крохотная. А началось все с мягких зеленых водорослей, облепивших спасательные жилеты. Чуть погодя к ним присоседились жестковатые водоросли потемнее. Они прекрасно ужились вместе и пошли в рост. Потом появились животные. Первыми, кого я заприметил, были малюсенькие полупрозрачные креветки длиной не больше полудюйма. Следом за ними объявились мелкие рыбки, как будто просвеченные рентгеновскими лучами, потому как сквозь прозрачную кожицу у них проглядывали все внутренности. Затем я заметил черных червей с белой продольной полоской, зеленых желеобразных голожаберных моллюсков с хиленькими конечностями, пестрых брюхастых рыбешек длиной около дюйма и, наконец, бурых крабов от полудюйма до трех четвертей дюйма в поперечнике. Я попробовал на зуб все, кроме червей, — даже водоросли. Но на вкус только крабы не были ни омерзительно горькими, ни солеными. Всякий раз, как только они появля-

лись, я отправлял их в рот одного за другим, как леденцы, пока не съедал всех до последнего. Потому как не мог удержаться. Тем более что нового крабового «урожая» ждать приходилось долго.

На корпусе шлюпки тоже завелась живность — в виде маленьких морских уточек. Я высасывал из них сок. Мясо же их годилось разве что на наживку.

Я привязался к этим морским «зайцам», хотя под их весом плот малость просел. Они развлекали меня так же, как Ричард Паркер. Я часами лежал просто так на боку, отодвинув спасательный жилет на несколько дюймов в сторонку, как штору, чтобы было виднее. А видел я маленький тихий, мирный городок, перевернутый вверх дном, и его обитателей, сновавших туда-сюда легкой ангельской поступью. Это зрелище приятно успокаивало нервы.

68

Мне и спалось теперь лучше. Хотя я то и дело отдыхал, поспать спокойно больше часа, даже ночью, не получалось. Но не из-за беспрестанной качки или ветра: к этому привыкаешь так же, как к скатавшемуся комьями матрасу. Страх и тревога — вот что будило меня неизменно. Как же мало я спал — просто поразительно!

В отличие от Ричарда Паркера. Вот кто был у нас главный соня. Вот кто всю дорогу только и знал, что валяться под брезентом. Правда, в спокойные дни, когда солнце не слишком припекало, или тихими ночами он нет-нет да и выбирался из логова. И принимал свою излюбленную позу, развалившись на кормовой банке так, что брюхо свисало через край, и вытянув передние и задние лапы на боковых банках по обоим бортам. Удивительно, как такой здоровенный тигр мог втиснуться в столь узкий закуток, — может, благодаря тому, что выгибал спину дугой? Когда он спал по-настоящему, то опускал голову на передние лапы, а когда бодрствовал и приоткрывал глаза, чтобы осмотреться, то голову поворачивал вбок и укладывал подбородок на планширь.

Была у него и другая любимая поза: он поворачивался ко мне спиной, прижимаясь задней частью туловища к днищу шлюпки, а передней — к банке; при этом склонял к корме голову, обхватив ее сбоку передними лапами, как будто мы с ним играли в прятки и водить выпало ему. Это была самая смирная его поза, и лишь по легкому подергиванию ушей можно было догадаться, что он не спит.

69

По ночам мне не раз чудилось, будто где-то вдалеке мерцает огонь. И каждый раз я пускал в воздух сигнальную ракету. Когда у меня вышли все ракеты, я пустил в ход фальшфейеры. Может, это были корабли и они меня не заметили? Или, может, это были блики восходящих и заходящих звезд, отражавшиеся на поверхности океана? Или пенные валы, поблескивавшие в лунном свете призрачной надеждой? И каждый раз все впустую — что бы там ни было. Ни ответа, ни привета. Только горькое чувство обманутой надежды, сверкнувшей и тут же угасшей. Так мало-помалу я перестал ждать, что меня спасет какой-нибудь корабль. Если горизонт от тебя в двух с половиной милях, когда ты смотришь вдаль с высоты пяти футов, то сколько же до него миль, когда я сижу, прислонившись спиной к мачте, и держу глаза от силы в трех футах над водой? Возможно ли, что корабль, плывущий через весь огромный Тихий океан, попадет в поле моего зрения — совсем крохотный кружочек? Да и не только это: заметит ли он меня, если даже попадет в этот самый кружочек, — вот что важно.

Нет, нельзя полагаться на человечество, потому как пути его неисповедимы. Моя задача — добраться до земли, твердой, незыблемой, верной.

Я хорошо помню, как пахнет сгоревший фальшфейер. В точности как кмин. Вредный запах. Стоило понюхать обгоревшую пластмассовую трубку, как мне тут же вспоминался Пондишери — и горькое разочарование от того, что ты зовешь на помощь, а тебя никто не слышит, покидало меня, словно по мановению чудесного жезла. Ощущение было довольно сильное — как мираж. Из простого запаха вдруг вырастал целый город. (Теперь, когда я нюхаю кмин, передо мной расстилается Тихий океан.)

Ричард Паркер вздрагивал от каждой шипящей вспышки фальшфейера. Он смотрел, уставившись на огонь неподвижным взглядом, и зрачки его сужались до размеров булавочной головки. Мне же огонь казался слишком ярким — ослепительно-белым, в розовато-красном ореоле. И я старался на него не смотреть. Поднимал фальшфейер как можно выше и медленно водил им из стороны в сторону. С минуту руку мне обдавало жаром, а рядом все озарялось таинственным свечением. Покуда снова не наступал мрак, я успевал разглядеть, что вода вокруг плота так и

кишит рыбой.

70

Разделка черепахи — еще та работенка. Первой моей добычей стала маленькая бисса. Мне захотелось попробовать ее крови, «приятной на вкус, питательной и несоленой», как сказано в инструкции по спасению. Жажда меня просто замучила. Схватив черепаху одной рукой за панцирь, а другой — за задний плавник, я перевернул ее навзничь, прямо в воде, и попробовал втащить на плот. Черепаха не поддавалась. Нет, на плоту с ней не совладать. Оставалось одно из двух: либо ее отпустить, либо попытать счастья в шлюпке. Я глянул на небо. День был жаркий и безоблачный. В такие дни, когда жгло, как в печке, Ричард Паркер, казалось, смирялся с моим присутствием на носу шлюпки и до захода солнца сидел под брезентом, не шелохнувшись.

Удерживая черепаху одной рукой за задний плавник, я стал тянуть другой рукой за линь, привязанный к шлюпке. Забраться в нее оказалось непросто. Когда же мне это удалось, я одним махом вытащил черепаху из воды и завалил спиной на брезент.

Ричард Паркер, как я и ожидал, только рыкнул

раз-другой. В эдакое пекло он и не думал выбираться наружу.

Я собрался с духом. Время, понятно, на вес золота. Я схватился за инструкцию, как за кулинарную книгу. В ней говорилось, что черепаху сперва следует перевернуть на спину. Готово. Потом ей надо «вонзить в шею» нож так, чтобы перерезать все артерии и вены. Я взглянул на черепаху. Какая там шея! Голова у нее спряталась в панцирь — единственное, что виднелось, так это глазки да клюв, весь в кожистых складках. Черепаха искоса поглядывала на меня снизу вверх. Я взял нож и пощекотал ей передний плавник — думал разозлить. Но она только убрала голову глубже. Я решил действовать смелее. И твердой рукой, словно проделывал это уже тысячу раз, ткнул ей ножом под панцирь, правее от головы, под углом. Просунул лезвие поглубже в кожные складки и повернул нож. Черепаха спрятала голову еще глубже, чтобы не достало лезвие, — и вдруг выбросила ее вперед, норовя тяпнуть меня своим клювом. Я отскочил. Тогда черепаха выпустила плавники и попыталась было ускользнуть. Она принялась раскачиваться на спине, бешено молотя по воздуху плавниками и мотая головой из стороны в сторону.

Я вскинул топорик и рубанул ее по шее. Из глубокой раны брызнула алая кровь. Я схватил стакан и нацедил около трехсот миллилитров — столько, сколько вмещалось и в жестянку из-под воды. Я собрал бы больше, может, целый литр, только уж больно острый был клюв у черепахи, а передние плавники — как лопаты, да еще с парой когтей на каждом. Кровь, которую мне удалось нацедить, ничем таким не пахла. Я глотнул. Вкус, если мне не изменяет память, был теплый и какой-то звериный. Хотя первого впечатления уже и не вспомню. Я выпил ее всю до последней капли.

Я думал, крепкий брюшной панцирь придется вскрывать топориком, но обошелся и зазубренной стороной лезвия ножа. Одной ногой я уперся в середину брюха, а другую отставил подальше от шевелящихся плавников. Верхний кожистый покров на панцире, возле головы, срезать было просто, но вокруг плавников он поддавался с трудом. Да и по краям, где спинной панцирь сходился с брюшным, резать было нелегко, тем более что черепаха постоянно трепыхалась. К тому времени, когда я вскрыл весь панцирь по окружности, с меня градом лил пот, да и сил почти не осталось. Я потянул за брюшной панцирь.

Он оторвался с мягким чмокающим звуком, как присоска. Наружу выступили трепещущие черепашьи внутренности — мышцы, жир, кровь, кишки и кости. А черепаха все билась. Я разрубил ей шею до самого позвоночника. Без толку. Плавники у нее так и ходили ходуном. Взмахнув пару раз топориком, я отрубил ей голову совсем. Но она все так же трепыхала плавниками. Хуже того: отрубленная голова хватала клювом воздух, а глаза бешено моргали. Я столкнул ее в море. А пульсирующие останки бросил на территорию Ричарда Паркера. Он засопел и зафыркал, собираясь, как видно, подняться. Учуял, верно, черепашью кровь. Пришлось спешно перебираться на плот.

Я с досадой наблюдал, с каким шумом и восторгом он приветствовал мой дар. Чашка крови вряд ли стоила неимоверных усилий, что требовались на разделку черепахи.

Я серьезно задумался, как быть дальше с Ричардом Паркером. Хотя в жаркие безоблачные дни он вел себя смирно, — может, его просто разбирала лень, — это слабо утешало. Нельзя же бегать от него всегда. Доступ к ящику и верху брезента должен быть свободен в любое время дня и ночи, в любую погоду и невзирая на его настроение. У

меня должно быть на это полное право — и такое право нужно завоевать.

Пришла пора заявить о себе во весь голос и стать хозяином на своей территории.

71

Тем, кому вдруг случится попасть в переплет, в какой попал я, мне бы хотелось посоветовать следующее:

1. Выберите день, когда волнение на море несильное и регулярное. Пусть море проявит всю свою мощь, когда вашу шлюпку развернет лагом; главное — чтобы ее не опрокинуло волнами.

2. Выбросьте подальше плавучий якорь, так, чтобы шлюпка стала остойчивее и раскачивалась более или менее размеренно. Устройте себе надежное укрытие вне шлюпки, если таковое вам понадобится (а оно вам, скорее всего, понадобится). Прежде всего подумайте, чем защитить тело, если нужно. Сгодится все, что угодно. На худой конец прикройте одеждой ноги, руки и голову или закутайтесь в одеяло.

3. Теперь самое трудное: надо спровоцировать зверя, который вам докучает, кем бы он ни был — тигром, носорогом, страусом, кабаном или бурым медведем, — разозлите его. Самый верный способ — подойти к границе нейтральной

территории и с криком вторгнуться на нее. Это я и сделал: подобрался к кромке брезента, сильно топнул ногой по средней банке и свистнул в свисток. Главное — производить одни и те же шумы, чтобы зверь их легко узнавал: таким образом вы покажете, что настроены весьма решительно. Но будьте начеку. Нужно спровоцировать зверя, и только. Ведь вы не хотите, чтобы он тут же на вас набросился. Если набросится — пиши пропало. Он разорвет вас на куски, затопчет, искромсает, а после, скорее всего, сожрет. Вы же этого не хотите? Надо просто разозлить его, раздразнить, взбесить, заставить метаться, но так, чтобы он на вас не кинулся. Ни в коем случае не заступайте на его территорию. Демонстрируйте злость, глядя зверю прямо в глаза, дразните его свистом.

4. Разозлив зверя, выманите его любым способом на свою территорию. По собственному опыту знаю: лучше всего медленно отступать и при этом шуметь. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОТВОДИТЕ ВЗГЛЯД В СТОРОНУ! Как только зверь ступит на нейтральную территорию, считайте, дело сделано. Не будьте слишком придирчивы и педантичны: неважно, опустил он лапу или нет. Быстро покажите, что вы оскорблены. Не сомневайтесь, правильно вы поступили или нет:

быстрота — залог успеха. Важно, чтобы зверь понял — его сосед сверху не уступит ни пяди своей территории.

5. Как только зверь ступит на вашу территорию, разозлитесь уже не на шутку. Перебирайтесь во вспомогательное укрытие, подальше от шлюпки или в самой шлюпке, НАЧИНАЙТЕ СВИСТЕТЬ ЧТО ЕСТЬ МОЧИ И ВЫБИРАТЬ ПЛАВУЧИЙ ЯКОРЬ. Это очень важно. Будьте порасторопнее. Если вам удастся развернуть шлюпку лагом каким-либо другим способом, например с помощью весла, действуйте без промедления. Чем скорее шлюпка повернется бортом к волне, тем лучше.

6. Беспрерывно свистеть в свисток — дело утомительное, особенно для того, кто обессилел после кораблекрушения, но не падайте духом. У потревоженного зверя подступающая тошнота должна непременно ассоциироваться с пронзительным свистом. Вы можете ускорить процесс, если встанете на нос или на корму шлюпки, упершись ногами в планширь с обоих бортов, и начнете раскачиваться в такт волнам. Сколь бы мало вы ни весили и сколь бы тяжела ни была шлюпка, результат будет поразительный. Уверяю вас, и минуты не пройдет, как шлюпка за-

даст такой рок-н-ролл, какой и Элвису Пресли не снился. Только не забывайте все время свистеть да глядите не опрокиньте шлюпку.

7. Не отступайтесь до тех пор, пока ваш противник — тигр, носорог или кто там еще — не позеленеет от морской болезни. Подождите, пока он не начнет задыхаться и его не затошнит. Пусть он завалится на дно шлюпки, пусть лежит себе и дрожит, пусть у него глаза вылезут на лоб, а зубы стучат, как от холода. Свистите не переставая — истязайте зверя до последнего. Если и вас затошнит, пускай, но только не за борт. Рвота — самая верная территориальная метка. Уж лучше пусть вас вырвет на границе вашей территории.

8. Когда зверю станет совсем худо, остановитесь. Морская болезнь скоро начинается, но не скоро заканчивается. Только не перестарайтесь. От тошноты еще никто не умирал, зато волю к жизни от нее можно потерять довольно быстро. Когда поймете, что дело сделано, вытравите плавучий якорь, прикройте чем-нибудь зверя, если он лежит под жарким солнцем, и проследите, чтобы, когда он очнется, у него была вода, куда загодя подмешайте противорвотных таблеток, если они у вас есть. Обезвоживание — штука опасная. Потом оставьте зверя в покое и уйдите

на свою территорию. Вода, отдых и покой, когда качка поутихнет, скоро вернут его к жизни. Пусть зверь оклемается, а после повторите все сначала — с первого пункта по восьмой.

9. Дрессировку повторяйте до тех пор, пока зверь не поймет, что свист грозит ему мучениями и тошнотой. Так что в дальнейшем, вздумай он нарушить территориальные границы или показать свой норов каким-либо другим образом, вы сможете укротить его только свистом. Всего лишь один пронзительный свисток — и зверь весь скорчится, как от боли, и опрометью кинется искать убежище в самом дальнем уголке своей территории. После того как вы добьетесь успехов на этом этапе дрессировки, старайтесь не злоупотреблять свистком.

72

Лично я перед тем, как взяться за дрессировку Ричарда Паркера, смастерил себе из черепашьего панциря щит. Пробил с каждой стороны щита по дырке и пропустил через них кусок веревки. Щит оказался тяжелее, чем хотелось бы, но разве воин волен выбирать себе оружие?

Первая дрессировка закончилась тем, что Ричард Паркер только оскалился, покрутил ушами, утробно рыкнул и набросился на меня. Громад-

ная лапища взметнулась вверх и обрушилась на щит. От такого удара я пробкой вылетел за борт. Оказавшись в воде, тут же выпустил щит. И он утонул — но сперва я успел оцарапать им голень. Да и струхнул не на шутку — не только перед Ричардом Паркером, но и оттого, что очутился в воде. Вдруг на меня нападет акула? Я поплыл к плоту, отчаянно молотя по воде руками и невольно приманивая акул, для которых это было все равно что сигнал к обеду. Но акулы, к счастью, были далеко. Я доплыл до плота, вытравил весь линь до конца и сел, обхватив руками колени и опустив голову, стараясь подавить страх, сжигавший меня огнем. Прошло немало времени, прежде чем мне удалось-таки унять дрожь. Я так и просидел на плоту — весь вечер и всю ночь. Без еды и без воды.

Я рискнул повторить попытку только после того, как поймал другую черепаху. Панцирь у нее был поменьше и полегче — щит получился что надо. И я снова ринулся в бой, затопав ногой по средней банке.

Интересно, правильно ли поймут меня люди, которые слушают мою историю: ведь я вел себя так не потому, что спятил и хотел свести счеты с жизнью, а потому, что так было надо, и все. Или я

сумею его укротить, дав понять, кто здесь Номер Один и кто Номер Два, или погибну в тот самый день, когда случится шторм и я захочу перебраться в шлюпку, а это ему не понравится.

Если я и остался жив после первой попытки заняться дрессировкой дикого зверя в открытом море, то лишь потому, что Ричард Паркер не хотел нападать на меня взаправду. Для тигров, как, впрочем, и для всех остальных зверей, кровожадность — далеко не самый излюбленный способ сводить счеты. Когда звери дерутся, то стремятся поразить противника насмерть лишь постольку, поскольку понимают, что иначе их самих ждет смерть. Любая схватка обходится дорого. Потому-то у зверей и существует целая система предупредительных сигналов, чтобы избежать драки, — и при первом удобном случае они живо отступают. Тигр редко нападает на хищника, равного ему по силам, без предупреждения. Прежде чем напасть, он начинает грозно рычать и реветь. Но в самый последний миг, когда отступать, казалось бы, поздно, он вдруг застывает как вкопанный и буквально проглатывает угрозу. Тигр оценивает положение. И если поймет, что никакой угрозы для него нет, то просто отворачивается, ограничившись одним

лишь предупреждением.

Ричард Паркер предупреждал меня таким образом четыре раза. Четыре раза он бил меня правой лапой, отбрасывая за борт, и все четыре раза я терял свой щит безвозвратно. Я боялся до, во время и после каждого его выпада, да и потом, уже на плоту, я все сидел и дрожал от страха. Но в конце концов научился различать сигналы, которые он мне подавал. Оказывается, ушами, глазами, усами, клыками, хвостом и глоткой он разговаривал со мной на простом языке, давая мне понять, каков будет его следующий шаг. И я научился отступать еще до того, как он вскидывал лапу.

Потом я сам встал в позу: уперся ногами в планширь, раскачал шлюпку посильнее и заговорил уже на своем, однозвучно свистящем языке, после чего Ричард Паркер, урча и задыхаясь, валился на дно шлюпки как подкошенный.

Пятый щит прослужил мне до самого конца дрессировки.

73

Больше всего на свете — кроме спасения — я мечтал о книге. Большой книге с бесконечной историей. Такой, которую можно было бы читать и перечитывать, всякий раз открывая для себя что-то новое. Но в шлюпке такой священной книги, увы, не было. И я ощущал себя безутешным, как Арджуна в разбитой колеснице, коего не коснулось благословение Кришны. Когда я впервые открыл Библию — было это уже в Канаде, — лежавшую на ночном столике в номере гостиницы, я разрыдался. И на другой день отправил в «Гидеон»[15] денежное пожертвование, выразив в сопроводительной записке пожелание увеличить тираж Библии, чтобы ее можно было читать не только в гостиницах, но и везде, где случится преклонить голову усталым, изнуренным путешественникам, — и не только Библию, но и другие священные книги. Думаю, лучшего способа сеять веру не существует. Ибо ни громогласные проповеди с кафедры, ни хула

---

[15] Примечания: 15

«Гидеон» — религиозная организация, издающая Библию для бесплатного распространения.

вероотступников, ни давление властей — ничто не имеет такой силы, как священная книга, которая лежит себе тихонько и ждет, чтобы подарить вам приветствие, такое же нежное и горячее, как поцелуй маленькой девочки.

В крайнем случае сгодился бы какой-нибудь роман, только хороший! А у меня была одна лишь инструкция по спасению, да и ту я успел зачитать до дыр, пока страдал и мучился.

Правда, я вел дневник. Но читать его трудно. Писал я так мелко, как только мог. Все боялся, бумаги не хватит. Хотя там нет ничего особенно интересного. Самые простые слова, которые я царапал на странице, стараясь правдиво описать все, что со мной приключилось. А начал я его где-то через неделю после крушения «Цимцума». До этого у меня и других дел хватало, да и не было сил. В записях нет ни дат, ни нумерации. Просто поразительно, как время могло так сжаться. Несколько дней, несколько недель — и все на одной странице. А писал я, как вы, верно, догадываетесь, о том, что переживал и что чувствовал, что поймал и что упустил, писал про море и про погоду, про невзгоды и про удачи, про Ричарда Паркера писал. Словом — про все, про все.

74

Религиозные обряды я справлял, сообразуясь с обстоятельствами: службы служил в одиночку, без священника и без причастия, даршаны — без мурти, пуджи — с черепашьим мясом вместо прасада, а Аллаху поклонялся без малейшего понятия, где она — Мекка, да еще на скверном арабском. Но все это меня утешало, верно говорю. Хотя и давалось нелегко, ох, до чего же нелегко! Вера в Бога есть открытие, освобождение, глубочайшее доверие, свободное изъявление любви — но как же порой трудно любить! Иной раз сердце так быстро наполнялось гневом, отчаянием и усталостью, что я боялся, как бы от тяжести такой оно не пошло к самому дну Тихого океана, откуда мне уже нипочем его не достать.

В такие минуты я старался собраться с духом. Хватался за тюрбан, который смастерил из лохмотьев, и громко возглашал: «ВОТ ШАПКА ГОСПОДНЯ!»

Хлопал себя по штанам и возглашал: «ВОТ ОДЕЖДЫ ГОСПОДНИ!»

Показывал на Ричарда Паркера и возглашал: «ВОТ КОШКА ГОСПОДНЯ!»

Показывал на шлюпку и возглашал: «ВОТ КОВЧЕГ ГОСПОДЕНЬ!»

Обводил вокруг руками и возглашал: «ВОТ БЕСКРАЙНИЕ ПРОСТОРЫ ГОСПОДНИ!»

Показывал на небо и возглашал: «ВОТ УХО ГОСПОДНЕ!»

Так вспоминал я о сотворении мира и о своем месте в нем.

Только вот шапка Господня почему-то все время разваливалась. Одежды Господни расходились по швам. Кошка Господня постоянно пугала. Ковчег Господень больше смахивал на плавучую тюрьму. Бескрайние просторы Господни медленно изматывали меня донельзя. А ухо Господне, похоже, было глухо к моим мольбам.

Отчаяние окутывало меня непроглядно черной пеленой, не пропускавшей свет ни снаружи, ни изнутри. Это был сущий ад. Слава богу — преходящий. То косяк рыб облепит сетку, то узел начнет стонать, требуя затянуть его потуже. Или, вспомнив вдруг своих, я порадуюсь: как хорошо, что их не постигли столь страшные муки. И вот уже черная пелена растворяется и пропадает, а Бог остается, теплясь лучиком света в моем сердце. И ко мне снова возвращается любовь.

75

Однажды, когда, по моим подсчетам, был матушкин день рождения, я во весь голос пропел ей «С днем рождения!».

76

Я взял себе за правило убирать за Ричардом Паркером. Убедившись, что он испражнился, я тут же брался за уборку, хотя это было небезопасно: до экскрементов еще надо было дотянуться с брезента острогой. В фекалиях быстро заводятся паразиты. В природе животным от этого никакого вреда, потому как они редко задерживаются в тех местах, где испражняются, да и на экскременты почти не обращают внимания; древесные обитатели их вовсе не замечают, а сухопутные, испражнившись, обычно идут себе дальше. Другое дело — ограниченная территория зоопарка: оставить экскременты в клетке животного — значит заразить его повторной инфекцией, поскольку животное не преминет их съесть, ведь звери, как известно, падки на все, что с виду напоминает корм. Вот почему загоны и клетки необходимо чистить, а вовсе не ради того, чтобы пощадить глаза или носы посетителей. Однако сейчас я заботился совсем не о поддержании репутации семейства Патель, снискавшего себе славу заботливых хозяев зоопарка. Через несколько недель у Ричарда Паркера начался

запор — он уже испражнялся не чаще одного раза в месяц, и с точки зрения санитарных норм забота о нем едва ли стоила сопряженных с нею опасностей. Убирал же я по другой причине — потому что заметил, как, испражнившись первый раз в шлюпке, Ричард Паркер попытался скрыть результат. Я живо смекнул, что это значило. Выставлять напоказ свои экскременты, да еще с запахом, — вот он, знак социального превосходства. И наоборот, скрыть их означало проявить уважение — уважение ко *мне.*

Должен заметить, поначалу ему это не нравилось. Он прижимался к днищу шлюпки, запрокинув голову и прижав уши, и тихонько и робко ворчал. Я действовал предельно осторожно и вместе с тем решительно, но не ради собственной безопасности, а чтобы подать ему верный сигнал. И сигнал этот заключался в том, что, взяв его экскременты и повертев несколько секунд в руке, я подносил их к носу, громко втягивал воздух, глядя на него сперва украдкой, а потом во все глаза (если б он только знал, как мне было страшно!), и так и смотрел — достаточно долго, чтобы он начал нервно дрожать, и недостаточно долго, чтобы его спровоцировать. И всякий раз, глянув ему прямо в глаза, я резко свистел

в свисток. Таким образом, дразня его взглядом (поскольку прямой взгляд у животных, как и у нас, считается проявлением агрессии) и пронзительным свистом, вызывавшим у него жуткие ассоциации, я давал Ричарду Паркеру понять, что у меня есть право, высшее право, брать и нюхать его экскременты, когда мне хочется. Так что, как видите, меня больше заботила не чистота в моем зоопарке, а мое психологическое превосходство. И это сработало. Ричард Паркер перестал в ответ смотреть мне прямо в глаза; взгляд его будто повисал в воздухе, не задерживаясь ни на мне, ни рядом. Я чувствовал это так же отчетливо, как комья его экскрементов в руке, — утверждение своего превосходства. Подобные упражнения стоили мне сил, но и доставляли большую радость.

Раз уж между нами все начистоту, должен сказать, что я страдал от запора не меньше Ричарда Паркера. Причина тому — наш скудный рацион: слишком мало воды и слишком много белков. Лично для меня облегчаться раз в месяц стало целым событием. Процесс был долгий и мучительный — после такой пытки я лежал без сил, обливаясь потом, как в лихорадке.

77

Поскольку коробок с аварийным пайком заметно поубавилось, я стал сокращать свой рацион до тех пор, пока, по инструкции, не довел его до двух галет через каждые восемь часов. Мне постоянно хотелось есть. Я думал только о еде. И чем меньше ел, тем больше становились порции, о которых я мечтал. Мои кулинарные фантазии разрослись до размеров Индии. Суп из дала разливался Гангом. А горячие чаппати вырастали до величины с Раджастхан. Плошки риса — никак не меньше Уттар-Прадеша. Самбара получалось столько, что с лихвой хватило бы затопить Тамилнад. И целые горы мороженого — высотой с Гималаи. Со временем фантазии стали более изощренными: под рукой у меня всегда находились свежие продукты, причем сколько душе угодно и для самых разных блюд; плита со сковородкой всегда были разогреты до нужной температуры; ассортимент продуктов поражал изысканностью; кушанья ни разу не подгорели, ни разу не остались недоваренными, никогда не были слишком горячими или слишком холодными. Каждое блюдо — пальчики оближешь, только дотянуться до него теми

же пальцами у меня все никак не получалось.

Аппетиты мои разгорались вместе с фантазиями. Если сначала, взявшись потрошить рыбу, я брезгливо соскабливал с нее даже кожу, то теперь уже впивался в рыбу зубами, не успев очистить чешую от слизи и радуясь добыче, как неземному лакомству. Помнится, самыми вкусными были летучки: мясо у них было светло-розовое, нежное. У корифен оно жестче, да и на вкус резковатое. Я оставлял себе даже рыбные головы, вместо того чтобы бросать Ричарду Паркеру или пускать на наживку, как раньше. Большим открытием стало для меня и то, что пресную жидкость можно высасывать не только из глаз крупной рыбы, но и из позвоночника. Ну а самым любимым моим лакомством были черепахи, которых я еще недавно грубо вскрывал ножом и беспечно швырял на дно шлюпки Ричарду Паркеру.

Теперь-то и представить себе невозможно, что было время, когда я смотрел на живую морскую черепаху как на деликатес из доброго десятка блюд, дававший мне благословенный отдых от рыбы. Все так и было. В черепашьих венах струился сладкий ласси — пить его следовало тотчас же, как только он начинал брызгать струйкой из шеи, иначе меньше чем через минуту он свер-

нется. Даже самые вкусные на свете пориялы или куту не шли ни в какое сравнение с черепашьим мясом — провяленным и бурым или свежим и темно-красным. Ни один кардамоновый паясам из тех, что мне доводилось пробовать, не был слаще и питательнее черепашьих яиц или жира. А рубленое ассорти из сердца, легких, печени, мяса и очищенной требухи с кусочками рыбы, приправленное желтком и сывороткой, превращалось в несравненный тхали — язык проглотишь. В конце моих морских скитаний я съедал все, что только мог выжать из черепахи. В водорослях, прилипавших к панцирям некоторых бисс, я выуживал мелких крабов и морских уточек. Поедал и то, что находил у черепах в желудках. Я мог часами напролет наслаждаться, обгладывая сустав от черепашьего плавника или косточки, высасывая костный мозг. А пальцами я то и дело отдирал кусочки засохшего жира и мяса, случайно оставшиеся на внутренней стороне панциря, — как какая-нибудь обезьяна, вечно шарящая, чем бы поживиться.

Черепашьи панцири — штука незаменимая. Даже не знаю, что бы я без них делал. Они служили мне не только щитами, но и досками для разделки рыбы, и мисками для приготовления

пищи. Когда же стихия вконец истрепала мои одеяла, я укрывался панцирями от солнца: устанавливал пару из них так, чтобы они верхушками упирались друг в друга, а сам устраивался между ними.

Страшное дело: хорошее настроение порой зависит от того, насколько плотно у тебя набит живот. Причем все в равной пропорции: сколько еды и воды, столько и хорошего настроения. Число моих улыбок напрямую зависело от количества съеденного черепашьего мяса.

К тому времени, когда у меня вышли последние галеты, я ел все подряд. Отправлял в рот, жевал и проглатывал все без разбору — вкусное, невкусное и совсем безвкусное, — лишь бы не соленое. Организм мой выработал отвращение к соли — оно сохранилось у меня до сих пор.

Как-то раз я даже попробовал экскременты Ричарда Паркера. Случилось это в самом начале, когда я еще не успел привыкнуть к чувству голода, а в своих фантазиях все еще искал, чем бы его утолить. Незадолго перед тем я плеснул Ричарду Паркеру в ведро воды из опреснителя. Осушив залпом ведро, он скрылся под брезентом, а я полез за чем-то в ящик с припасами. Как и прежде, я то и дело заглядывал под брезент — проверить, не

задумал ли он что-нибудь эдакое. Так вот, в тот раз я как в воду глядел. Он присел, выгнув спину дугой и широко расставив задние лапы. Хвост у него высоко вздернулся и уперся в брезент. Весьма характерная поза. И я тут же подумал о еде, а не о гигиене какого-то там зверя. Благо риска почти никакого. Глядел он в другую сторону, да и головы его не видно. Если все проделать тихо и осторожно, он, может, и вовсе меня не заметит. Я схватил мерный стакан — вытянул руку вперед. И вовремя. Не успел я поднести стакан к основанию хвоста, как заднепроходное отверстие у Ричарда Паркера расширилось и из него, словно пузырь от жевательной резинки, вышел черный катыш экскрементов. Он брякнулся прямо в стакан — и да не сочтут те, кому трудно представить себе всю глубину моих страданий, будто я потерял последние остатки человеческого облика, если скажу, что звук этот показался мне дивным звоном, с каким монетка в пять рупий падает в кружку нищего, но именно так оно и было. Губы мои расплылись в улыбке — потрескались и стали кровоточить. Я проникся к Ричарду Паркеру неземной благодарностью. Высвободил из-под него стакан. Взял пальцами катышек. Теплый такой и почти совсем не вонючий. Величиной

с большой шарик гулаб-джамуна, правда, жестковатый. Вернее, твердый, как камень. Пальнув таким из мушкета, можно запросто завалить носорога.

Я сунул катыш обратно в стакан и плеснул немного воды. Прикрыл и поставил в сторонку. Я сидел, ждал и сглатывал слюнки. Когда стало совсем невтерпеж, я достал катыш и засунул в рот. Но съесть не смог. На вкус едковато — но не в этом дело. Рот мой сам все решил, мгновенно и безошибочно: ни к черту не годится. Отходы есть отходы: ни тебе питательных веществ — вообще ничего. Я сплюнул катыш и только пожалел, что извел драгоценную воду. Взял острогу, сгреб в кучу остатки экскрементов Ричарда Паркера. И швырнул их на корм рыбам.

Не прошло и нескольких недель, как я стал испытывать физические муки. У меня распухли стопы и лодыжки, да так, что я уже с трудом мог стоять.

78

Какое же оно многообразное — небо! То затягивалось огромными белыми облаками, плоскими в основании и выпукло-волнистыми вверху. То было совсем безоблачным — ослепительно-голубым. А то становилось похожим на грубое душное одеяло, сотканное из серых туч, не обещавших, впрочем, ни капельки дождя. Или же затягивалось тонкой дымкой. Порой небо покрывалось мелкими белыми пушистыми облачками. То вдруг разрывалось в вышине на длинные облачные лоскуты, походившие на разодранный в клочья ватный ком. Иногда оно пряталось за молочной пеленой. А бывало, на нем громоздились, тесня друг друга, черные грозовые тучи — но и они уплывали прочь, не проронив ни капли дождя. Были дни, когда небо украшали редкие плоские облачка, напоминавшие песчаные косы. Случалось и так, что небо превращалось в гладкий фон, отражавший то, что происходило далеко на горизонте: залитый солнечным светом океан или четкие отвесные грани между светом и тенью. Иной раз с неба, далеко-далеко, ниспадала черная дождевая завеса. Бывало и так,

что на небе, на разных высотах, скапливалось множество облаков — некоторые были тяжелые и темные, а другие будто курились дымком. Временами небо делалось черным-черным — и проливалось дождем на мою улыбку. Когда же оно обрушивало на меня сплошные, нескончаемые водные потоки, я промерзал насквозь и кожа у меня тотчас покрывалась мурашками.

Море тоже бывало разное. То оно ревело, как тигр. То что-то нашептывало на ухо, как друг, пожелавший поделиться своими секретами. Море позванивало мелкой монетой — будто у меня в кармане. Или грохотало лавиной. А то скрежетало — как наждаком по дереву. Порой оно утробно вздыхало. Или вдруг стихало, словно погрузившись в мертвую тишину.

А между ними, между небом и морем, проносились все ветра, какие только дуют на свете.

А еще были ночи и луны — им тоже несть числа.

И посреди этого круга — только он, потерпевший кораблекрушение. Какие бы перемены ни происходили вокруг — море могло то шептать, то злобно реветь, небо могло превращаться из ярко-голубого в ослепительно-белое или в иссиня-черное, — геометрия круга оставалась

незыблемой. Взгляд только и может чертить радиус за радиусом. Но окружность от этого не делается меньше. Напротив, кругов становится все больше. И посреди всей этой шальной круговерти — только он, потерпевший кораблекрушение. Ты в центре одного круга, а над тобой кружат еще два, таких разных, таких не похожих друг на друга. Солнце давит на тебя, как скопище народа — шумная, неугомонная толпа, от которой хочется спрятаться и заткнуть уши. Луна тоже давит — тем, что напоминает тебе об одиночестве, и ты стараешься распахнуть взор, чтобы уйти от него. А глянув вверх, нет-нет да и спросишь себя: может, где-то там, посреди солнечной бури или Моря Спокойствия, терпит муки такой же горемыка, как ты, который так же глядит вверх, вечный пленник своего круга, и так же борется со страхом, яростью, безумием, отчаянием и безразличием?

Что верно, то верно: потерпевший кораблекрушение — жалкая жертва трагических, изматывающих, противоборствующих обстоятельств. Когда светло, тебя слепит и страшит бескрайняя морская ширь. Когда темно, мрак давит на тебя всей своей непомерной тяжестью. Днем ты изнываешь от жары, и только и мечтаешь о прохладе

да о мороженом, и то и дело обливаешься морской водой. Ночью дрожишь от холода, мечтаешь о тепле, о еде, приправленной горячим карри, и все кутаешься в одеяла. В жару иссыхаешь до костей и жаждешь живительной влаги. В дождь промокаешь до тех же костей и думаешь только о том, как бы скорее просохнуть. Когда есть пища, то непременно полные пригоршни — ешь не хочу. А когда ее нет, тебя пожирает голод. Когда море спокойное или совсем не штормит, тебе хочется, чтобы оно взбугрилось волнами. Когда же море вскипает и круг твоего заточения смыкается, изламываясь по краям волнами, ты задыхаешься от странного ощущения замкнутого пространства, какое обычно испытываешь в открытом море, — и желаешь, чтобы волнение улеглось. Бывает и так, что тебя одновременно одолевают противоречивые чувства: когда, к примеру, изматываешься от палящего солнца, вдруг понимаешь, что оно сушит рыбу и мясо на веревках и дарит благословенное тепло твоим опреснителям. И напротив, когда дождевые шквалы пополняют твои водные запасы, ты вместе с тем сознаешь, что от сырости подмокнет твоя засушенная снедь, а часть ее и вовсе испортится — превратится в заплесневелое месиво. Когда

стихает шторм и ты ясно видишь, что пережил натиск неба и коварство моря, на смену радости приходит злость, оттого что ты прошляпил эдакую прорву пресной воды, отдав все морю, — и начинаешь бояться, что это последний дождь в твоей жизни и что смерть придет раньше, чем на тебя упадет еще одна капля воды.

Наихудшая парочка противоречивых ощущений — тоска и ужас. Временами твоя жизнь напоминает маятник, который бросает из одной крайности в другую. Морская гладь подобна зеркалу. Ни ветерка. Время теряется в бесконечности. На тебя нападает такая тоска, что тебе уже все равно — впору умереть. Потом начинает штормить — и нервы натягиваются струной. Но порой трудно различать даже такие противоположные ощущения. Тоска и ужас связаны незримыми узами: ты обливаешься слезами — на тебя накатывает страх — ты невольно сам себя истязаешь. И вдруг на пике ужаса, посреди страшнейшего шторма, ты впадаешь в тоску и тебе уже ни до чего нет дела.

Только смерть выводит тебя из оцепенения: ты или думаешь о ней, когда твоей жизни ничто не угрожает и смерть кажется тебе бессмысленной, или прячешься от нее, когда над твоей жизнью

нависла угроза и ты начинаешь ценить жизнь превыше всего на свете.

Жизнь в шлюпке трудно назвать жизнью. Она сродни шахматному эндшпилю, когда фигур на доске раз-два и обчелся. Ходы — самые что ни на есть простые, а ставки — самые что ни на есть высокие. Физически выдержать такое невероятно трудно, а морально и подавно. Хочешь жить — приспосабливайся. Будь готов к любым переменам. Научись радоваться и тому, что имеешь. И тогда ты дойдешь до такого состояния, что даже на самом дне преисподней будешь стоять, скрестив руки, и улыбаться, ощущая себя счастливейшим человеком на свете. Почему? Хотя бы потому, что у твоих ног валяется жалкая мертвая рыбешка.

79

Акулы приплывали каждый день, в основном серо-голубые и синие, реже — рифовые, а как-то раз видел я и тигровую: она возникла как привидение из жуткого кошмара. Чаще всего акулы появлялись на рассвете или на закате. Но особой опасности они для нас не представляли. Правда, однажды акула ударила хвостом по корпусу шлюпки. Думаю — не случайно (точно так же себя вели и другие морские обитатели — черепахи и те же корифены). Должно быть, таким образом она решила узнать, что это за штуковина такая — шлюпка. Но после того как я со всего маху хватил незваную гостью по носу топориком, ее и след простыл. Акулы опасны, если оказаться рядом с ними в воде: это все равно что вторгнуться на чужую территорию, пропустив мимо глаз табличку «Осторожно, злая собака!». А так акулы мне нравились. Они вели себя как закадычные, хоть и малость нагловатые друзья-приятели, которые никогда не подадут виду, что ты им нравишься, и тем не менее каждый день шастают к тебе в гости. Синие акулы были меньше других, фута четыре-пять в длину, не больше, но и красивее

— гладкие, изящные, с маленькой пастью и не с такими здоровенными жабрами. Спина у них была ярко-синяя, а брюхо — белоснежное, и хотя в морской глубине они казались черно-серыми, на поверхности лоснились и сверкали ярко-ярко. Серо-голубые акулы были покрупнее, из пасти у них торчали страшенные зубы, зато окрас у них был поразительный, особенно на солнце, когда они переливались сине-фиолетовым цветом. Рифовые акулы хоть и были меньше серо-голубых — лишь некоторые из них достигали в длину двенадцати футов, — но выглядели куда более плотными, а спинной плавник у них был просто громадный и высоко торчал из воды, как военный стяг; всякий раз, когда я видел, с какой скоростью они проносятся мимо, у меня захватывало дух. Впрочем, они были какие-то блеклые — не то серые, не то бурые, да и белые пятна на кончиках плавников казались не такими уж привлекательными.

За все время я поймал несколько маленьких акул — в основном серо-голубых, хотя попадались и синие. Происходило это, как правило, после захода солнца, при последних проблесках дневного света: акулы подплывали прямо к шлюпке, и я хватал их голыми руками.

Первой моей добычей, и самой крупной, стала серо-голубая акула — длиной больше четырех футов. Она то подплывала к носу шлюпки, то уплывала. И когда подплыла в очередной раз, я машинально сунул руку в воду и схватил ее чуть выше хвоста — за самое узкое место. Держаться за шероховатую шкуру было довольно удобно — и я потянул акулу вверх, даже не успев сообразить, что творю. А она так рванула, что чуть не оторвала мне руку. К моему ужасу и восхищению, тварь трепыхалась в воздухе, вздымая фонтаны пены и брызг. Какую-то долю секунды я сомневался — что же дальше? Тварь была меньше меня — но ведь и я не какой-нибудь Голиаф-сорвиголова. Может, лучше отпустить ее? Я развернулся, пошатнулся и, падая на брезент, швырнул акулу на корму. Она свалилась как с неба прямо на территорию Ричарда Паркера. Гулко шмякнулась на дно шлюпки и забилась с таким остервенением, что я испугался, как бы не разбила шлюпку. Ричард Паркер было опешил — и вдруг набросился на нее как молния.

Завязалась грандиозная битва. К сведению зоологов могу сообщить следующее: тигр не станет сразу впиваться зубами в выброшенную из воды акулу — сперва он будет бить ее лапами. Ричард

Паркер начал мутузить акулу. И от каждого удара я вздрагивал. А удары у него были сокрушительные. Он мог бы одним махом переломать человеку кости, расколоть в щепки любую мебель и разнести вдребезги целый домище. Акуле, ясное дело, такое обхождение пришлось не по нутру: она корчилась, извивалась и так и норовила цапнуть его зубами.

Быть может, потому, что Ричард Паркер никогда раньше не видал ни акул, ни других хищных рыб, случилось то, что случилось, напомнив мне одну простую и очевидную вещь: Ричард Паркер не самый искусный боец — даже он, невзирая на свою силищу и сноровку, то и дело промахивался. Левой лапой он угодил прямо в акулью пасть. Акула сжала челюсти. Ричард Паркер тут же вздыбился. Акула подскочила вместе с ним, но челюсти не разжала. Ричард Паркер рухнул обратно, широко раскрыл пасть и дико взревел. Меня словно жаром обдало. Воздух и впрямь задрожал, как это бывает над дорогой в знойный день. Могу себе представить, как где-то вдали, милях в ста пятидесяти, вахтенный на каком-нибудь корабле вздрогнул от страха, огляделся с опаской по сторонам, а после доложил: слышал, мол, странные звуки — будто кошка мяучит, и

это посреди собачьей-то вахты! Этот рев слышался мне еще несколько дней. Но акула, прямо скажем, — глухая тетеря. И покуда я, которому вряд ли когда пришло бы в голову кусать тигра за лапу, не говоря уже о том, чтобы ее проглотить, не находил себе места от оглушительного рева, то дрожал, то замирал от ужаса, акула улавливала лишь едва ощутимые колебания воздуха.

Ричард Паркер развернулся и свободной лапой принялся царапать акулу и кусать ее за голову, а задними лапами кромсать ей брюхо и спину. Но акула только крепче впилась ему в лапу и колошматила его хвостом, теперь единственным своим средством защиты и нападения. Тигр и акула, извиваясь, кубарем катались по дну шлюпки. Собравшись с силами и с духом, я перебрался на плот и вытравил линь до отказа. Я уже видел только оранжево-темно-синие блики тигриной шкуры и акульей, вспыхивавшие яркими пятнами то тут, то там на ходившей ходуном шлюпке. И слышал только, как жутко ревел Ричард Паркер.

Наконец шлюпку перестало качать. А через несколько минут показался Ричард Паркер: он сел и стал лизать левую лапу.

В течение следующих дней он только и делал, что зализывал раны на всех четырех лапах.

Шкура у акулы покрыта мелкими бугорками — они-то и делают ее шершавой, как наждачная бумага. Вот он и порезался о нее, пока неистово трепал акулу. Левая лапа у него была поранена, но, судя по всему, не так чтоб уж очень: все пальцы и когти были целы. А вот от акулы, если не считать кончиков хвоста и пасти, почти ничего не осталось — только жалкое месиво. Ошметки красновато-серого мяса и требухи валялись по всей шлюпке.

Часть акульих останков я изловчился подцепить острогой — но, к сожалению, никакой жидкости в акульем позвоночнике не обнаружил. Зато мясо было вкусное, да и рыбой не отдавало, а хрустящие хрящи не шли ни в какое сравнение с опостылевшей мне мягкой пищей.

Я ловил акул и дальше — совсем маленьких, должно быть, акулят, и сам же убивал. Оказалось, что куда проще и легче протыкать им глаза ножом, чем дубасить по голове топориком.

80

Из всех корифен я особенно запомнил одну. Было это ранним утром, день тогда стоял пасмурный, и мы угодили в самую гущу летучих рыб. Ричард Паркер управлялся с ними с присущей ему ловкостью. А я прятался под черепашьими панцирями. Правда, выставил наружу острогу с куском сетки на конце — вроде сачка. Думал рыбы наловить. Но не повезло. Летучки, жужжа, пролетали мимо. Тут из воды выскочила корифена — хотела, как видно, сцапать летучку. Но промахнулась. Летучка с испугу перелетела через шлюпку, а корифена, точно пушечный снаряд, со всего маху врезалась в планширь. От такого удара шлюпка содрогнулась от носа до кормы. На брезент брызнула струйка крови. Я мигом вскочил. И, пробравшись под градом летучек, схватил корифену, буквально вырвав ее из пасти акулы. Втащил на борт. Она была ни жива ни мертва и переливалась всеми цветами радуги. Ну и улов! Всем уловам улов! Не налюбуешься. Спасибо тебе, Иисус-Матсья. Рыбина попалась жирная, мясистая. Никак не меньше сорока пяти фунтов. Такой можно накормить целую ораву. А

глазной и позвоночной жидкостью — затопить целую пустыню.

Но, увы, Ричард Паркер уже повернул голову в мою сторону. Я заметил это краем глаза. Летучки только и мелькали вокруг него, а он на них ноль внимания; его интересовало одно — рыба, которую я держал в руках. Он был в восьми футах от меня. Сидел с полураскрытой пастью — из нее торчало рыбье крыло. Спина выгнулась. А крестец вогнулся. Хвост вздернулся. Ясное дело, того и гляди набросится, и не на кого-нибудь, а прямо на меня. Бежать поздно, свистеть — тоже. Вот и пришел мой последний час.

Все, с меня довольно. Слишком долго я мучился. Весь изголодался. Столько дней без еды — и вдруг возьми и отдай за здорово живешь.

И тогда в приступе голодного исступления — потому что еда была для меня важнее всего — я, беззащитный и голый в прямом смысле слова, посмотрел Ричарду Паркеру прямо в глаза. И тут он дрогнул — куда только подевались его грозная спесь и сила. По сравнению с моей волей они обратились в ничто. Я глядел на него строго и вызывающе, а он — на меня. Любой владелец зоопарка скажет, что тигр, как всякая кошка, никогда не нападет, если смотреть ему прямо в

глаза, — будет ждать, пока олень, антилопа или тур не отведет взгляд. Но знать — одно, а делать — совсем другое (впрочем, и знание не поможет, вздумай вы играть в «кто кого пересмотрит» со стайной кошкой. Пока вы будете сверлить взглядом одного льва, другой тем временем набросится на вас сзади). Непреклонная борьба взглядов за ранг и превосходство между мальчиком и тигром длилась не больше двух-трех секунд. Ему довольно было и короткого рывка, чтобы сразить меня наповал. Но я не отвел взгляд.

Ричард Паркер облизнул нос, засопел, отвернулся. И злобно сцапал летучую рыбу. Победа была за мной! Я стоял и тяжело дышал, не веря своим глазам, а потом, крепко обхватив корифену, живо перебрался на плот. И через некоторое время швырнул Ричарду Паркеру здоровенный ломоть рыбы.

С того самого дня мое превосходство было бесспорно, и я стал все больше времени проводить в шлюпке — сперва на носу, а после, когда осмелел, и на брезенте: там было удобнее. И все же я боялся Ричарда Паркера, правда, когда на то были основания. А так смотрел на него совершенно спокойно. Человек ко всему привыкает — кажется, я уже это говорил? То же самое вам скажет

всякий, кто хоть раз попадал в переплет, как я, и вышел сухим из воды.

Сначала я ложился на брезент, опираясь головой на свернутый его край со стороны носа шлюпки. Носовая ее часть, как и кормовая, была выше средней, и оттуда я мог спокойно приглядывать за Ричардом Паркером.

Чуть погодя я уже устраивался по-другому — головой на среднюю банку, спиной к Ричарду Паркеру. В таком положении я хоть и находился дальше от краев шлюпки, зато меня уже не обдавало ни ветром, ни брызгами.

81

Знаю, поверить в то, что я остался жив, трудно. Вспоминая прошлое, я и сам себе верю с трудом.

Я безжалостно пользовался слабостью Ричарда Паркера, не выносившего качки, хотя причина не только в этом, но и в другом: я давал ему есть и пить. Ричард Паркер, сколько себя помнил, жил в зоопарке и мог получить корм, и лапой не пошевельнув. Правда, когда шел дождь и шлюпка превращалась в огромный дождезаборник, он понимал, откуда взялось столько воды. Да и когда нас стаями атаковали летучие рыбы, я был вроде как ни при чем. Однако это никак не влияло на суть дела, а она заключалась в том, что когда он заглядывал через планширь, то не видел ни джунглей, где мог бы охотиться, ни реки, где мог бы напиться вволю. А я давал ему и пищу, и воду. Для него это было непостижимым чудом. А для меня — источником силы. Вот вам доказательство: шли дни и недели, а я был цел и невредим. Или еще: он ни разу на меня не набросился, даже когда я спал на брезенте. И наконец: вот он я, перед вами, сижу и рассказываю свою историю.

82

Дождевую воду и опресненную я хранил в ящике для припасов, подальше от Ричарда Паркера, — в пятидесятилитровых пластиковых мешках. Я накрепко перевязывал их бечевкой. Мешки с водой были мне дороже золота, сапфиров, рубинов и алмазов, даже если б набить их всем этим добром до краев. Я боялся за них постоянно. Самым жутким кошмаром для меня было то, что, открыв поутру ящик, я вдруг вижу, что из мешков вытекла вода или, того хуже, они все разом прохудились. Дабы предотвратить такую беду, я завернул их в одеяла, чтобы они не терлись о металлический корпус шлюпки, и старался переставлять их как можно реже, чтобы как-нибудь не повредить. Но за горловины мешков я все равно боялся. Вдруг перетрутся от бечевок? И что тогда делать? Ведь вода может испариться…

Когда все было хорошо — дождь поливал потоком и мешки наполнялись водой под завязку, я подставлял все стаканы, ведра, канистры и пустые жестянки из-под воды (теперь я берег их как зеницу ока). Заполнял я и рвотные пакеты,

затягивая их сверху крепким узлом. А если дождь долго не прекращался, я и сам превращался в емкость. Хватал в рот трубку дождезаборника и пил, пил и пил.

Ричарду Паркеру я добавлял в пресную воду немного морской — чуть больше после того, как дожди прекращались, и чуть меньше, когда дождей не было вовсе. Иногда, еще в самом начале, он свешивал голову за борт, принюхивался к морю и начинал лакать — но быстро останавливался.

И все равно нам не хватало. Недостаток пресной воды был главной и постоянной нашей заботой во время всего плавания.

Из того, что я добывал на пропитание, Ричарду Паркеру перепадала, скажем так, львиная доля. И тут уж выбирать не приходилось. Он мгновенно чуял, когда я вытаскивал черепаху, корифену или акулу, — только успевай делиться. Думаю, по вскрытию черепашьих панцирей я побил все мировые рекорды. Рыбу шинковал прямо живьем: она еще трепыхалась. И если стал совсем неприхотлив к еде, то главным образом от нестерпимого голода, да и зевать было некогда. Порой я даже не успевал разглядеть, что поймал. Мигом отправлял себе в рот или бросал Ричарду

Паркеру — тот всегда нетерпеливо бил лапой и фыркал, топчась на границе своей территории. Я совсем опустился — и понял это, когда однажды с болью в сердце заметил, что ем как настоящий зверь, громко и жадно чавкая, в точности как Ричард Паркер.

83

Шторм в тот день надвигался медленно. Тучи будто спотыкались, убегая в страхе от ветра. Море ему ни в чем не уступало. Оно вздымалось так высоко и опускалось так низко, что у меня аж дух захватывало. Я перетащил в шлюпку опреснители и сетку. Видели бы вы эти водяные горы! Лично мне до сих пор случалось наблюдать одни лишь водяные холмы! А тут на тебе — целые кряжи! Долины, куда мы проваливались, были до того глубокими, что тонули во мраке. А склоны их — до того круты, что шлюпка скользила по ним, как доска для серфинга. Но особенно досталось плоту: как его только не мотало, как только не швыряло! Я вытравил до отказа оба плавучих якоря — так, чтобы они не перехлестнулись.

Взбираясь на громадные валы, шлюпка удерживалась на якорях, как альпинист на страховочных веревках. Мы взлетали так до тех пор, пока не оказывались на белоснежном гребне, попадая в проблески света в ореолах клокочущей пены и готовые в любое мгновение зарыться носом в волну и опрокинуться. С эдакой высотищи было хорошо видно на многие мили вокруг. Но гора

разверзалась под нами так стремительно, что у меня сердце обрывалось. И в тот же миг мы опять проваливались на дно мрачной долины, такой же и не совсем такой, как предыдущая, а над нами снова вздымалась многотонная масса воды, от которой мы уворачивались благодаря нашей призрачной легкости. И вновь почва под нами начинала ходить ходуном, якорные лини натягивались втугую — и нас опять подхватывал бешеный водоворот.

Плавучие якоря держали хорошо — даже очень, если честно. Каждый вал словно хотел накрыть нас своим гребнем, но якоря удерживали шлюпку на его вершине, хотя при этом она то и дело зарывалась носом. Под ним вдруг как будто что-то взрывалось, вздымая высоченные фонтаны пены и брызг. И всякий раз я промокал с головы до ног.

А тут нагрянула волна, которой просто не терпелось похоронить нас под собой. В этот раз нос шлюпки почти целиком ушел под воду. Я застыл от ужаса. И едва не вылетел за борт. Шлюпку накрыло волной. Я только услыхал, как взревел Ричард Паркер. И подумал — вот и пришла наша смерть. Мне оставалось одно из двух: погибнуть в воде или в пасти зверя. Я выбрал пасть зверя!

Пока мы неслись вниз по противоположному скату волны, я нырнул под брезент, развернул скатанный край и перебросил его на корму, накрыв и Ричарда Паркера. Даже если б он и взбрыкнул, я бы все равно его не услышал. Орудуя быстрее швейной машинки, кантующей отрез материи, я закрепил боковые края брезента на гаках с обоих бортов. И тут мы опять взмыли ввысь. Шлюпка снова вздыбилась. Удержаться в таком положении было нелегко. Сверху она была целиком закрыта брезентом: я задраил его наглухо, кроме одного края — с моей стороны. Я протиснулся между боковой банкой и брезентом и натянул свободный его край себе на голову. Там негде было развернуться. Между банкой и планширем оставалось дюймов двенадцать свободного пространства, а боковые банки были шириной не больше полутора футов. Даже перед лицом смерти мне хватило ума держаться подальше от днища шлюпки. Надо было закрепить брезент на четырех последних гаках. Я просунул руку через отверстие и начал наматывать веревку. После каждого гака дотянуться до следующего было все труднее. Я управился с двумя. Осталось еще два. Шлюпку быстро понесло вверх, все выше и выше, — казалось, она никогда не остановится.

Крен уже достигал больше тридцати градусов. Я чувствовал, что меня вот-вот отбросит на корму. Резко вытянув руку, я зацепил веревку еще за один гак. Мне это вполне удалось, хотя такую работу сподручнее делать снаружи, а не изнутри. Я что было сил схватился за веревку — и перестал соскальзывать на другой конец шлюпки. Между тем ее накренило больше чем на сорок градусов.

Когда мы взлетели на гребень волны, нас уже кренило градусов на шестьдесят — а потом вдруг перебросило на противоположный ее скат. И тут же накрыло, но не всей волной, а лишь краешком. А мне почудилось, будто меня ударили здоровенным кулаком. Нас опять резко накренило — и все вдруг перевернулось вверх дном: я оказался на нижнем конце шлюпки, и затопившая ее вода хлынула на меня, подхватив и тигра. Впрочем, тигра я не заметил — я даже толком не знал, где прятался Ричард Паркер: под брезентом было темно, хоть глаз выколи, — но, прежде чем мы оказались на дне очередной долины, я чуть не захлебнулся.

Остаток дня и полночи нас бросало то вверх, то вниз — до тех пор, пока я вконец не отупел от ужаса и мне уже стало все равно, что со мною будет. Одной рукой я держался за веревку, а другой — за

край носовой банки, прижимаясь всем телом к боковой. Вода перекатывалась через меня туда-сюда, а по голове то и дело колотило брезентом, я промок и продрог до костей и в довершение всего порезался и набил себе шишек о черепашьи кости да панцири. Шторм ревел не переставая, как и Ричард Паркер.

И вдруг среди ночи мне показалось, будто шторм прекратился. Нас качало как обычно. Сквозь дыру в брезенте я видел ночное небо. Звездное, безоблачное. Я отвязал брезент и улегся сверху.

На рассвете я заметил, что плот пропал. Все, что уцелело, — пара связанных весел со спасательным жилетом между ними. Это поразило меня так же, как потрясло бы домохозяина, случись ему увидеть, что от его дома после пожара осталась одна-единственная балка. Я отвернулся и пристально оглядел горизонт. Пусто. Мой маленький плавучий городок исчез. Правда, чудом уцелели плавучие якоря — они по-прежнему цепко держались за шлюпку, — но это утешало слабо. Потеря плота, может, и не угрожала мне смертью, но морально она сразила меня наповал.

Состояние шлюпки было жалкое. Брезент в нескольких местах порвался, причем некоторые

дыры явно были работой Ричарда Паркера и его когтей. Большая часть наших припасов пропала: их или смыло за борт, или попортило морской водой. У меня ныло все тело, на бедре был глубокий порез; рана распухла и побелела. Сперва я даже боялся проверять содержимое ящика. Слава богу, ни один мешок с водой не прохудился. Сеть и опреснители, которые я сдул лишь наполовину, забили все свободное пространство и удерживали мешки на месте.

Я был страшно измотан и подавлен. Но все-таки отвязал брезент на корме. Ричард Паркер совсем притих, и я уже подумал, не захлебнулся ли он часом. Ан нет. Когда я скатал брезент обратно до средней банки и на него упал свет, он зашевелился и зарычал. Встал из лужи и перебрался на кормовую банку. Я взял иголку с ниткой и стал латать дыры в брезенте.

Потом я привязал к ведру веревку и начал вычерпывать воду. Ричард Паркер следил за мной с полнейшим равнодушием. Похоже, все, чем я занимался, навевало на него скуку. День был жаркий — работа двигалась медленно. И тут я зачерпнул ведром одну штуковину, которую, как думал, потерял навсегда. Я осмотрел ее. В моей ладони лежало то, что хранило меня от смерти, —

последний оранжевый свисток.

84

Я лежал на брезенте, кутаясь в одеяло, спал и видел сны, просыпался и грезил наяву — и так день за днем. Ветер был слабый и ровный. Время от времени он срывал брызги с гребня волны, обдавая ими шлюпку. Ричард Паркер таился под брезентом. Он не любил ни брызги, ни качку. Небо было голубое, воздух — теплый, по морю катили ровные волны. Я проснулся от шумного всплеска. Открыл глаза — и увидел в небе фонтан. В следующее мгновение он обрушился прямо на меня. Я снова глянул вверх. Безоблачное голубое небо. Снова всплеск — уже слева от меня, правда, не такой громкий, как в первый раз. Ричард Паркер злобно рыкнул. Меня опять обдало водой. Ну и запашок же был у нее.

Я глянул за борт. И первое, что увидел, — какую-то черную громадину, покачивающуюся на волнах. Я тут же понял, что это было. По дугообразной складке с одного края громадины. Это был глаз! Кит! И глаз его, размером с мою голову, уставился прямо на меня.

Ричард Паркер выбрался из-под брезента. И зашипел. Китовый глаз блеснул в другую сторону

— и я почувствовал, что теперь он вперился в Ричарда Паркера. Кит разглядывал его с полминуты или около того, а после тихо ушел под воду. Я испугался, как бы кит не ударил нас хвостом, но он нырнул в глубину и растворился в непроницаемой синеве. Громадный его хвост выгнулся дугой — и вдруг исчез.

Должно быть, кит высматривал себе пару. Наверное, решил, что я не гожусь ему по размерам, да и, потом, у меня уже была своя пара.

Мы видели много китов, но ни один из них не подплывал к нам так близко, как тот — первый. Они выдавали себя, выпуская в воздух фонтаны. Киты всплывали чуть поодаль — иногда по три-четыре зараз, образуя зыбкий вулканический архипелаг. Эти милые левиафаны всегда были мне в радость. Они как будто понимали, в какую беду я попал, и кто-то из них, глядя на меня, непременно вздыхал: «Ах! Так ведь это ж тот самый бедолага с котенком — еще старина Бамфу рассказывал. Бедняга! Надеюсь, хоть планктона ему хватает. Надо сказать про него Мамфу, Томфу и Стимфу. А глядишь, и дать знать какому-нибудь кораблю. Вот мамаша-то его обрадуется! Пока, малыш. Меня зовут Пимфу». Так, по китовой почте, обо мне узнали все тихоокеанские киты, и меня

бы уже давным-давно спасли, не обратись Пимфу за подмогой к коварным японским китобоям, которые всадили в него гарпун; та же участь постигла и Ламфу — с норвежским китобойцем. Охота на китов — гнусное преступление.

Постоянными нашими спутниками были дельфины. Одна стая даже сопровождала нас весь день и всю ночь. Какие же они веселые! Казалось, они ныряют, проскальзывая под самым днищем шлюпки, просто так — потехи ради. Я попробовал поймать одного. Однако никто из них не подплывал к остроге достаточно близко. Но даже если бы и подплыл, что толку: они были такие шустрые и такие большие — попробуй схвати. Я бросил это дело и стал просто наблюдать.

За все время я видел только шесть птиц. И каждую считал ангелом, предвестником близкой земли. Но это были морские птицы — они могли перелететь Тихий океан, лишь изредка помахивая крыльями. Я следил за ними, завидовал и жалел себя.

Видел я и альбатросов — пару раз. Они парили высоко в небе и, казалось, не обращали на нас никакого внимания. Я глядел на них, разинув рот. Было в них что-то таинственное, непостижимое.

А как-то раз рядом со шлюпкой, едва касаясь

лапами воды, пронеслась парочка вильсоновых качурок. Они тоже не обратили на нас внимания, но поразили меня не меньше альбатросов.

Однажды нас почтил вниманием тонкоклювый буревестник. Покружив какое-то время над нами, он устремился вниз. Выставил вперед лапы, сложил крылья, сел на воду, легко закачался, как пробка. И принялся с любопытством меня разглядывать. Я мигом насадил на крючок кусок летучей рыбы и бросил ему на леске. Подвешивать грузила я не стал, и крючок упал далековато от птицы. После третьей попытки она сама подплыла к скрывшейся под водой наживке и опустила голову в воду, чтобы ее подхватить. От волнения у меня заколотилось сердце. Я удерживал леску несколько секунд. А когда дернул, птица пронзительно вскрикнула и отрыгнула только что проглоченную наживку. Не успел я предпринять новую попытку, как птица расправила крылья и оторвалась от воды. Два-три взмаха крыльями — и она исчезла из виду.

С олушей повезло больше. Она появилась откуда ни возьмись и плавно подлетела к нам, раскинув крылья, больше трех футов в размахе. Она села на планширь так близко от меня, что я мог дотянуться до нее рукой. И с серьезным,

любопытствующим видом уставилась на меня своими круглыми глазками. Это была большая птица, белая как снег и с черными как уголь крапинками на кончиках и задней кромке крыльев. На крупной луковицеобразной голове торчал острый-преострый желто-оранжевый клюв, а красные глаза, обрамленные черной маской, делали ее похожей на вора, промышлявшего всю ночь напролет. Только бурые перепончатые лапы оставляли желать лучшего: они были непомерно большие и бесформенные. Птица оказалась не из пугливых. Какое-то время она чистила клювом перья, выставляя напоказ мягкий пух. А закончив наводить красоту, вздернула голову и предстала передо мной во всем своем великолепии: настоящий воздушный кораблик с гибкими, безупречно ровными обводами. Я протянул ей кусочек корифены, и она тут же заглотала его, клюнув меня в ладонь.

Я свернул птице шею, резко запрокинув ей голову назад — схватившись одной рукой за клюв, а другой за шею… Перья у олуши оказались такие крепкие, что приходилось их вырывать вместе с кожей, — я уже не ощипывал ее, а раздирал на куски. Она оказалась легкой как пушинка, хотя с виду была огромная. Я схватил нож и ободрал ее

всю целиком. Надо же, какая здоровенная, а мяса всего ничего — только на грудке! Оно оказалось жестче, чем у корифены, а на вкус — рыба рыбой. В желудке у нее, кроме кусочка корифены, который я только что ей скормил, были еще три маленькие рыбешки. Смыв с них остатки желудочного сока, я их съел. Съел я и птичье сердце, и печенку, и легкие. Проглотил глаза и язык и запил водой — только одним глоточком. Потом сломал ей череп и высосал крошечный мозг. Объел и перепонки на лапах. От птицы остались лишь кожа, кости да перья. Все это я бросил под брезент Ричарду Паркеру, который даже не заметил, как прилетела птица. Только сейчас наружу высунулась огненно-рыжая лапа.

Из его логова еще несколько дней летели пух и перья — их тут же сдувало ветром в море. А в воде все это проглатывали рыбы.

Но ни одна птица не возвестила мне, что земля близко.

85

А однажды я встретился с молнией. Небо стало черным-черно — день превратился в ночь. Ливень так и хлестал. Где-то вдалеке прогремел гром. Я думал, на том все и кончится. Но поднялся ветер и принялся швырять дождь туда-сюда. И тотчас небо с треском раскололось пополам, и белая вспышка пронзила воздух и воду — поодаль от шлюпки, но все было видно как на ладони. Белые проблески разошлись под водой от ее ствола, точно корни: гигантское древо богов встало на миг посреди океана. Мне бы и в голову не пришло, что так бывает, — чтобы молния ударила в море. Гром грянул с чудовищной силой. Вспышка была невероятно яркая.

Я повернулся к Ричарду Паркеру и сказал:

— Видал, Ричард Паркер? Это была молния.

Ричард Паркер распластался на дне шлюпки, растопырив лапы, и затрясся от ужаса.

На меня же это зрелище подействовало совсем иначе — будто вытолкнуло меня за пределы, положенные смертным, и ввергло в восторг изумления.

И тут сверкнула еще одна молния — гораздо

ближе. Наверное, целила в нас: мы только-только перевалили гребень волны и покатились под откос, как она ударила позади — в самую вершину. Мир взорвался горячей водой и паром. Две, от силы три секунды в небе плясал ослепительно-белый осколок стекла — разбитого окна в космос, бесплотный, но исполненный колоссальной мощи. Десять тысяч труб и двадцать тысяч барабанов не наделали бы такого шума, как эта молния, — загрохотало так, что я и впрямь чуть не оглох. Море побелело; вообще все цвета куда-то подевались. Остались только слепящая белизна и беспросветная темень. Свет пронзал темноту, но не рассеивал. Исчезла молния так же, как и вспыхнула, — в мгновение ока, раньше даже, чем на нас обрушился горячий душ. А огретая по макушке волна слилась с чернотой океана и покатилась себе дальше как ни в чем не бывало.

Я застыл как громом пораженный — почти в буквальном смысле слова. Но страшно не было.

— Хвала Аллаху, Господу миров, милостивому, милосердному, царю в день суда! — пробормотал я скороговоркой. А Ричарду Паркеру крикнул: — Да хватит тебе трястись! Это же чудо! Божественная сила прорвалась к нам! Это же… это…

Подходящего слова я так и не нашел — на-

столько все это было необъятно и потрясающе. Я онемел от восторга, даже вздохнуть толком не мог. Я повалился на брезент и широко раскинул руки и ноги. Скоро я продрог до мозга костей под этим дождем. Но все равно улыбался. Я побывал на волоске от смертоносного электрического разряда и ожогов третьей степени, но до сих пор вспоминаю эту встречу как одно из мгновений совершенного счастья, так редко выпадавших мне на долю в те дни великого испытания.

Пережив настоящее чудо, так легко отбросить все мелочные помышления и предаться мыслям, объемлющим мир от края до края, вмещающим гром и звон, глубь и мель, близь и даль.

86

— Ричард Паркер! Корабль!

Однажды мне довелось-таки выкрикнуть эти слова. О, какая радость! Все обиды и разочарования позабылись вмиг. Я прямо-таки просиял от счастья.

— Все у нас получилось! Мы спасены! Понимаешь, Ричард Паркер? СПАСЕНЫ! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!

Я, конечно, попытался взять себя в руки. Что, если судно пройдет слишком далеко и нас не заметят? Что тогда делать? Выстрелить из ракетницы? Ерунда.

— Идет прямо на нас, Ричард Паркер! Ох, спасибо тебе, Господь Ганеша! Будь Ты благословен во всех Твоих ипостасях, Аллах-Брахман!

Нет, мимо оно не пройдет. Что может быть прекрасней, чем счастье спасения? Да ничего — уж вы мне поверьте! Я поднялся на ноги — впервые за долгое время решился на такое усилие.

— Ты только представь себе, Ричард Паркер! Люди! Еда! Постель! Опять заживем! О-о-о, какое счастье!

А судно все приближалось. Смахивало на тан-

кер. Я уже различал очертания его носа. Спасение шло к нам в одеждах черного металла, окаймленных белой полосой.

— А что, если…

Я не посмел произнести этих слов. Но разве так уж невозможно, что отец с матерью и Рави тоже спаслись? Ведь на «Цимцуме» спасательных шлюпок было полно. Может, они уже давным-давно в Канаде и с тревогой ждут от меня вестей. Может, вообще все спаслись, а меня одного не нашли.

— Господи, до чего же они огромные, эти нефтевозы!

На нас медленно наползала гора.

— Может, они уже в Виннипеге? Хотел бы я посмотреть на наш новый дом. Как ты думаешь, Ричард Паркер, есть ли в канадских домах внутренние дворики, как в тамильских? Нет, наверное, нет. Их в первую же зиму завалило бы снегом. А жаль. Не знаю места спокойнее, чем тихий внутренний дворик солнечным днем. Интересно, а какие пряности растут в Манитобе?

До судна было уже рукой подать. Пора бы им и остановиться, а не то скоро придется разворачивать назад.

— Так какие все-таки пряности… О господи!

Тут я с ужасом осознал, что танкер идет не

просто нам навстречу, а прямиком на нас. Исполинская стена металла с каждой секундой разрасталась вширь. И опоясывавшая ее гигантская волна катилась вперед неумолимо. Ричард Паркер наконец почуял надвигавшуюся на нас смертоносную громаду. Он повернулся и залаял на нее, но не по-собачьи, а как подобает тигру — могуче и страшно, точь-в-точь под стать нашему положению.

— Ричард Паркер! Оно нас сейчас задавит! Что же делать?! Быстрей, быстрей, ракетницу! Нет! Надо грести. Так… Весло в уключину… Есть! *ПЛЮХ! ПЛЮХ! ПЛЮХ! ПЛЮХ! ПЛЮХ! ПЛЮ…*

Носовая волна подхватила нас и подбросила кверху. Ричард Паркер съежился, шерсть у него встала дыбом. Шлюпка соскользнула с гребня волны, разминувшись с носом нефтевоза на какую-то пару футов.

А борт протянулся, казалось, на добрую милю. Целая миля высоченной черной стены каньона, целая миля замковых укреплений — и ни единого часового, что заметил бы, как мы изнываем во рву. Я пальнул-таки из ракетницы, но не смог толком прицелиться. Вместо того чтобы взмыть над бастионами и взорваться у капитана под носом, заряд срикошетил от борта, улетел в океан

и, прошипев что-то на прощание, испустил дух. Я дул в свисток что было мочи. Я орал во всю глотку. И все напрасно.

Скрежеща машинами и взрывая воду винтами, судно проползло мимо, а мы остались барахтаться в пене кильватерной струи. Столько недель я слышал одни только звуки природы, что весь этот механический шум показался чем-то невероятным и жутким и ошеломил меня до немоты.

И двадцати минут не прошло, а трехсотысячетонная махина превратилась в крохотное пятнышко на горизонте. Я отвернулся, а Ричард Паркер еще немного посмотрел танкеру вслед. Потом отвернулся и он, и на мгновение наши взгляды встретились. Тоска и обида, мука и одиночество отражались в моих глазах. Он же осознал только, что случилось нечто из ряда вон выходящее, — такое, чего ему не уразуметь никогда. Он не понимал, что мы упустили шанс на спасение. Понимал он только одно: что его вожак, этот чудной, непредсказуемый тигр, чем-то взволнован до крайности. Но его, Ричарда Паркера, это не касалось — значит, можно было еще вздремнуть. На все происшедшее он только и отозвался, что капризным зевком.

— Я люблю тебя! — Слова сорвались с губ во

всей своей чистоте и безоглядности. Грудь разрывалась от нахлынувших чувств. — Правда. Я люблю тебя, Ричард Паркер. Не знаю, что бы я сейчас делал, если б не ты. Я бы не выдержал. Точно. Умер бы от безнадеги. Держись, Ричард Паркер! Держись, не сдавайся! Я тебя доставлю на сушу — честное слово, клянусь!

87

Один из любимых моих способов скрываться от жестокой реальности сводился, по сути, к легкому удушению. У меня была для этого специальная тряпочка, вырезанная из остатков одеяла. Я ее называл тряпочкой грез. Я окунал ее в морскую воду и отжимал, чтобы не капало. Потом устраивался на брезенте поудобнее и клал тряпочку на лицо, прилаживая поплотнее. И впадал в забытье, что, в общем-то, несложно, когда ты и так в полном ступоре. Но с тряпочкой грез это уже был не просто ступор. С тряпочкой — должно быть, из-за нехватки кислорода — меня посещали самые необычайные грезы и сны, видения и мысли, ощущения и картины из прошлого. И времени — как не бывало! Если судорога или непроизвольный вздох вырывали меня из оцепенения и тряпочка падала, я тотчас приходил в себя и радовался, как незаметно пролетело время. Некоторым доказательством тому служила высохшая тряпочка. Но гораздо убедительнее было ощущение перемены — ощущение, что этот вот настоящий момент отличается от того настоящего момента, который ему предшествовал.

88

Как-то раз мы наткнулись на плавучую свалку. Сначала на воде заблестели жирные пятна. А вскоре показались отходы, бытовые и промышленные, — главным образом пластиковый мусор всевозможных расцветок и форм, но попадались и деревяшки, пивные банки и винные бутылки, какие-то лохмотья и обрывки веревок, и все это плавало в облаке желтой пены. Мы въехали в него прямиком. Я высматривал по сторонам, не попадется ли чего пригодного. Наконец выудил пустую винную бутылку, заткнутую пробкой. Потом шлюпка натолкнулась на холодильник без мотора, плававший кверху дверцей. Я дотянулся до него, ухватился за ручку и распахнул дверцу. В ноздри мне ударила вонь — резкая и мерзкая, концентрированная до осязаемости. Зажав рот и нос, я заглянул внутрь. Темные пятна и потеки, куча гнилых овощей, зеленое желе — бывшее молоко, давным-давно свернувшееся и кишащее всякой заразой, а еще — расчлененный труп какого-то животного, дошедший уже до такой стадии разложения, что опознать его я не смог. Наверное, судя по размерам, ягненок. Во влажном, наглухо

замкнутом чреве холодильника вонь успела перебродить и вызреть до едкой горечи. Она рванулась на волю с такой яростью, что у меня закружилась голова, в животе забурлило, ноги подкосились. К счастью, море тотчас хлынуло в эту чудовищную дыру и затопило холодильник. Освободившееся пространство заполнили другие отбросы.

Помойка осталась позади, но с той стороны еще долго тянуло смрадом. А жирные пятна на боках шлюпки смылись только через день.

Я вложил в бутылку записку: «Японский сухогруз „Цимцум“, совершавший рейс под панамским флагом, затонул 2 июля 1977 года в Тихом океане, в четырех днях хода от Манилы. Нахожусь в спасательной шлюпке. Пи Патель — мое имя. Еды пока хватает, воды тоже, но с бенгальским тигром серьезные проблемы. Пожалуйста, известите родных в Виннипеге, Канада. Помогите чем можете — буду очень благодарен. Большое спасибо». Я закупорил бутылку и накрыл пробку полиэтиленом. Обмотал горлышко нейлоновой ниткой и крепко завязал. И отдал бутылку на волю волн.

89

Истерзано было все. Все истомилось под палящим солнцем и ударами волн. Шлюпка и плот, пока он еще у меня был, брезент, опреснители и дождезаборники, пластиковые пакеты и тросы, одеяла и сетка — все истрепалось, растянулось и обвисло, растрескалось, высохло, прогнило, изорвалось и выцвело. Оранжевое стало белесым. Гладкое — шероховатым. Шероховатое — гладким. Что было острым, затупилось. Что было целым, превратилось в лохмотья. Я натирал вещи рыбьей кожей и черепашьим жиром, пытался их смазывать, но все было без толку. Соль въедалась во все миллионами жадных ртов. А солнце нещадно все поджаривало. Оно усмиряло до некоторой степени Ричарда Паркера. Обдирало дочиста скелеты и обжигало их до сверкающей белизны. Сожгло мою одежду, сожгло бы и кожу, как я ни был смугл, — но я прятался от него под одеялами и панцирями черепах. Когда жара становилась нестерпимой, я обливался морской водой из ведра; иногда вода бывала горячей, как сироп. А еще солнце истребляло все запахи. Не помню никаких запахов. Только запах упаковок

от использованных ракетниц. Они пахли кмином — кажется, я уже говорил? А так — не помню даже, чем пахнул Ричард Паркер.

Мы умирали. Довольно медленно, так что я этого, в общем-то, не чувствовал. Но регулярно подмечал — стоило только взглянуть на нас, на этих двух изможденных животных, измученных жаждой и голодом. У Ричарда Паркера мех потускнел, начал даже выпадать клочьями на плечах и бедрах. Он страшно отощал, превратился в какой-то блеклый бурдюк с костями. Я тоже иссох: солнце выпило из меня влагу, кости выпирали из-под истончившейся кожи.

Я перенял у Ричарда Паркера привычку спать по многу часов подряд — невообразимо долго. Впрочем, то был не совсем сон — скорее, полузабытье, в котором видения и явь смешивались до неразличимости. Тряпочка грез очень помогала.

Вот последние страницы моего дневника:

«Сегодня видел здоровенную акулу — до сих пор таких огромных не видал. Первобытное чудище, футов двадцать длиной. Полосатая. Тигровая акула — очень опасная. Кружила вокруг нас. Боялся, что нападет. Подумал: с одним тигром ужился, но второй — это чересчур. Не напала. Уплыла. Облаков много, но без толку.

Дождя все нет. Только с утра пасмурно было.

Дельфины. Попытался одного забагрить. Оказалось, не держусь на ногах. Р. П. ослаб и нервничает. А я такой слабый, что не смогу отбиться, если он нападет. Сил не хватит в свисток дунуть.

Ветра нет, жара страшная. Солнце так и палит. Как будто мозги закипают. Ужас.

Изнемог душой и телом. Скоро умру. Р. П. дышит, но не шевелится. Тоже скоро умрет. Не убьет меня.

Спасение. Дождь на целый час, восхитительный, прекрасный ливень. Напился, наполнил пакеты и банки, нахлебался так, что ни капли больше не влезло бы. Смыл с себя соль. Подполз посмотреть на Р. П. Не реагирует. Свернулся клубком, хвост распластал. Шерсть слиплась комками. Намок и стал меньше. Костлявый. Первый раз за все время потрогал его. Проверить — не умер ли. Нет. Еще теплый. Удивительное дело. Даже в таком состоянии — крепкий, мускулистый, живой. Вздрогнул, будто я — комар. Наконец пошевелился — вода поднялась до носа. Конечно, лучше попить, чем захлебнуться. Еще хороший знак: дернул хвостом. Бросил ему под нос кусок черепашьего мяса. Не берет. Наконец

приподнялся — попить. Пил и пил. Поел. На ноги так и не встал. Битый час вылизывался. Заснул.

Все без толку. Сегодня я умру.

Я умру сегодня.

Умираю».

Это была последняя запись. Я, конечно, не умер, но ничего больше не записывал. Видите эти спиральки, продавленные на полях страницы? Я боялся, что бумага кончится. А кончились ручки.

90

— Что с тобой, Ричард Паркер? Ты что, ослеп?

Я помахал рукой у него перед носом.

Последние пару дней он все тер глаза и безутешно мяукал, но я не обращал внимания. Если в чем и не было недостатка на нашем столе, так это во всяческих хворях да болячках. Я поймал корифену. Мы уже три дня ничего не ели. Накануне к шлюпке подплыла черепаха, но втащить ее на борт не было сил. Корифену я разрезал пополам. Ричард Паркер смотрел на меня. Я бросил ему половину. Думал, схватит ее на лету, — но он и ухом не повел, пока рыба не шмякнулась ему в морду. Тогда он наклонился. Понюхал слева, справа. Наконец нашел и принялся есть. С едой мы теперь возились подолгу.

Я заглянул ему в глаза. Вроде ничего особенного… только у внутренних уголков они слезились чуть больше обычного. А так ничего страшного — по сравнению с тем, до чего он вообще докатился. От нас обоих к тому времени остались кожа да кости.

Тут я сообразил, что ответ на мой вопрос — в самом осмотре, которому я подверг его. Ричард

Паркер и ухом не повел, когда я уставился ему прямо в глаза, точно окулист. А к такому пристальному взгляду никакой тигр не останется равнодушен — разве только слепой.

Бедный Ричард Паркер, подумал я. Скоро отмучается — и я с ним заодно.

На следующий день я почувствовал в глазах какое-то жжение. Я тер их и тер, но от этого только сильней чесалось. Мне пришлось хуже, чем Ричарду Паркеру: вскоре глаза начали гноиться. А потом наступила тьма, и избавиться от нее я не мог, сколько ни моргал. Сначала появилось черное пятнышко — прямо передо мной, в самом центре поля зрения. Потом пятно расплылось и затянуло мир сплошной пеленой. Утром следующего дня я уже не увидел солнца — только в узкую щелку в верхней части левого глаза проникал тоненький луч, словно в крохотное высокое оконце. К полудню я погрузился в беспросветный мрак.

Я цеплялся за жизнь. Я тихо сходил с ума. Пекло было адское. Я так ослаб, что не мог больше держаться на ногах. Губы пересохли и потрескались, слюна стала вязкой и смрадной, рот наполнился каким-то омерзительным вкусом. Вся кожа горела. Иссохшие мышцы ныли. Руки и ноги,

особенно ступни, распухли и постоянно болели. Я мучился голодом, а еды так и не было. Что же до воды, то Ричард Паркер пил так жадно, что мне в тот день пришлось ограничиться пятью крошечными глоточками. Но все эти физические страдания были ничто по сравнению с душевной пыткой, которая мне предстояла. Со дня, когда я ослеп, начались самые страшные муки. Не могу сказать, на какой именно день это случилось. Я ведь уже говорил — время утратило всякий смысл. Должно быть, где-то между сотым и двухсотым днями. И я был уверен, что не продержусь больше ни дня.

На следующее утро я перестал бояться смерти и решился умереть.

Я пришел к печальному выводу, что не могу больше заботиться о Ричарде Паркере. Не вышло из меня служителя зоопарка. Мысль о том, что Ричард Паркер скоро погибнет, угнетала меня сильнее, чем неизбежность собственной смерти. Но я был сломлен, изможден вконец и действительно не мог больше ничего для него сделать.

Меня покидали последние силы. Смертельная слабость разливалась по всему телу. До вечера мне не дожить. Чтобы облегчить себе расставание с жизнью, я решил утолить нестерпимую жаж-

ду, мучившую меня уже так давно. И выхлебал столько воды, сколько смог. Вот бы еще хоть кусочек съесть напоследок! Но, видать, не суждено. Я устроился в середине шлюпки, прислонившись к скатанному краю брезента. Закрыл глаза и стал ждать, пока испущу последний вздох.

— Прощай, Ричард Паркер, — пробормотал я. — Прости, что подвел тебя. Я старался как мог. Не поминай лихом. Папа, мама, дорогие мои, дорогой мой Рави, здравствуйте! Встречайте вашего любящего сына и брата. И часа не было, чтобы я о вас не вспомнил. Скоро я снова увижу вас, и это будет самый счастливый миг в моей жизни. Вверяю судьбу мою в руки Бога, а Он есть любовь, и я люблю Его.

И до меня донеслось:

— Тут кто-то есть?

Поразительно, чего только не услышишь в одинокой тьме угасающего сознания! Звук без формы и цвета звучит так странно. Когда ослепнешь, то и слышать начинаешь по-другому.

— Тут кто-то есть? — вновь послышалось мне.

Я сделал вывод, что сошел с ума. Печально, но ничего не попишешь. Беда не приходит одна, а безумие — самая подходящая ей компания.

— Тут кто-то есть? — назойливо повторил тот

же голос.

Что поражало в этом бреде, так это его необычайная внятность. Голос был своеобразный, скрипучий, с усталой хрипотцой. Я решил подыграть ему. И отозвался:

— Конечно есть. Всегда *кто-нибудь* да есть. Иначе кто бы мог задать такой вопрос?

— Я подумал, может, тут кто-то *еще.*

— Что значит «кто-то *еще*»? Да ты хоть понимаешь, где находишься? Если этот плод фантазии тебе не по вкусу, выбери другой. Слава богу, выбирать есть из чего.

Гмм. Плод. *Плод.* А неплохо звучит…

— Неужели никого нет?

— Цыц! Я мечтаю о плодах.

— Плоды! У тебя есть фрукты? А можно мне кусочек? Пожалуйста, прошу тебя! Всего кусочек. Я умираю с голоду.

— Не фрукты. Плоды. Целый сад — выбирай на вкус.

— Целый сад! А можно мне… О-о-о, умоляю!..

Голос умолк — видно, ветру и волнам наскучило издеваться над моим слухом.

— Какие они сочные, какие тяжелые и душистые, — продолжал я. — Ветви так и ломятся — до самой земли склонились. Только на одном дереве

— сотни три плодов, не меньше…

Тишина.

И опять этот голос:

— Давай поговорим о еде…

— Вот это мысль!

— Что бы ты съел, если бы мог заказать все, что угодно?

— Отличный вопрос! Я закатил бы пир горой! Начал бы с риса и самбара. Потом — рис с черным далом и рис с йогуртом, потом…

— А я бы…

— Погоди, еще не все. Потом я поел бы острого самбара с тамариндом, и самбара с зеленым луком, и…

— И что?

— Не перебивай. Еще я бы заказал сагу из овощной смеси и овощную корму, картофельную масалу, капустное вадаи и масалу досаи, острый чечевичный расам и…

— Понятно.

— Погоди. Еще пориял с фаршированными баклажанами и куту с кокосом и ямсом, рисовые идли и вадаи с йогуртом, овощные баджи и…

— Звучит очень…

— Чуть не забыл! Чатни! Кокосовое чатни и мятное чатни, маринованный зеленый чили и

маринованный крыжовник, и все это — с обычными нанами, попадомами и паратхами, ну и, конечно, пури.

— Звучит…

— Стой, еще салаты! Салат из манго с йогуртом, салат из бамии с йогуртом и самый обыкновенный салат из свежих огурцов. А на сладкое — миндальный паясам и молочный паясам, оладьи с пальмовым сахаром, арахисовые тоффи и кокосовое бурфи, а еще — ванильное мороженое с горячим, густым шоколадным соусом.

— И все?

— А запил бы я все это десятью литрами свежей, чистой, прохладной воды со льдом и чашечкой кофе.

— Звучит очень недурно.

— Ну да.

— А скажи мне, что такое куту с кокосом и ямсом?

— Неземное наслаждение, вот что это такое. Берешь ямс, тертую мякоть кокоса, зеленые бананы, порошок чили, молотый черный перец, молотую куркуму, семена кмина, семена китайской горчицы и чуточку кокосового масла. Поджариваешь кокос до золотистого цвета…

— Можно спросить?

— Что?

— Почему именно куту с кокосом и ямсом? Почему не вареный говяжий язык под горчичным соусом?

— Это же мясное!

— Ну да. А потом — требуха.

— Требуха?! Только что сожрал язык бедной скотины, а теперь хочешь и *желудок*?

— Именно! Просто мечтаю о tripes a la mode de Caen…[16] тепленькой… со сладким мясом…

— Сладкое мясо? А это еще что такое?

— Сладкое мясо — это поджелудочная железа теленка.

— Поджелудочная железа?!

— Если ее обжарить да протушить с грибным соусом — просто объедение!

И откуда только брались эти отвратительные, святотатственные рецепты? До чего же я докатился, если размышляю о корове с *теленком* как о еде? Что на меня нашло? Может, встречный ветер отнес шлюпку обратно, к той плавучей помойке?

— Ну и какую еще гадость ты придумаешь?

— Телячьи мозги под коричневым масляным соусом.

---

[16] Примечания: 16
Требуха по-каннски *(фр.)*.

— Что, назад к голове?

— Суфле из мозгов!

— Мне уже дурно. Есть на свете хоть что-нибудь, чего бы ты *не съел*?

— Чего бы я только не отдал за суп из бычьих хвостов! За жареного молочного поросенка, фаршированного рисом, колбасками, абрикосами и изюмом. За телячьи почки под соусом из сливочного масла, горчицы и петрушки. За маринованного кролика, тушенного в красном вине. За колбаски из куриной печени. За паштет из свинины и печенки с телятиной. И лягушек. Ах, до чего же лягушек хочется!

— Меня сейчас стошнит.

Голос умолк. Я дрожал от омерзения. Безумие в голове — еще куда ни шло, но в желудке?! Это уже нечестно.

И вдруг меня осенило.

— А стал бы ты есть сырую говядину с кровью? — спросил я.

— Еще бы! Обожаю мясо по-татарски.

— А свернувшуюся кровь мертвой свиньи?

— Да хоть каждый день, только с яблочным соусом!

— Хочешь сказать, ты съел бы любую часть животного? Все до последнего?

— Студень из свиных обрезков с сосисками! Целую тарелку!

— А как насчет морковки? Съел бы ты обычную сырую морковь?

Ответа не последовало.

— Ты что, не слышишь? Морковку ты съел бы?

— Слышу, слышу. Если честно… Будь у меня выбор — нет. Не про меня такая еда. Невкусно.

Я расхохотался. Ну, так я и знал! Это не голоса в голове. И ничего я не спятил. Это Ричард Паркер со мной разговаривает. Кровожадный негодяй! Столько дней прожили бок о бок, а он, подлец, все отмалчивался, только перед смертью язык развязал. Побеседовать с тигром — вот это здорово! Меня тут же разобрало пошлое любопытство, вроде того, которым поклонники донимают кинозвезд.

— Слушай, а вот мне любопытно… скажи, ты убивал когда-нибудь человека?

Сам-то я думал, что едва ли. Людоеды среди животных — такая же редкость, как убийцы среди людей, а Ричарда Паркера отловили еще тигренком. Но как знать, не случалось ли его матери сцапать человека, пока ее саму не сцапал Водохлеб?

— Ну и вопрос, — возмутился Ричард Паркер.

— А что такого? Резонный вопрос.

— Да ну?

— Конечно.

— Интересно, почему это?

— Ну, такая уж у тебя репутация.

— Да ну?

— А ты что, не знал?

— Нет.

— Ну, раз ты сам не видишь, скажу тебе прямо: да, именно такая у тебя репутация. Так что? Случалось тебе людей убивать?

Молчание.

— Ну же? Скажи правду.

— Да.

— О-о-о! Прямо мороз по коже. И скольких ты?..

— Двоих.

— Ты убил двух человек?

— Мужчину и женщину.

— Сразу?

— Нет. Сначала мужчину, потом женщину.

— Чудовище! Ну и весело небось тебе было. Небось позабавился, слушая их вопли.

— Ничего подобного.

— Ну и как они тебе?

— *Как они мне?*

— Да не будь же ты таким тупым. Пришлись

они тебе по вкусу?

— Нет.

— Так я и думал. Говорят, животному надо время, чтобы к этому пристраститься. Так зачем же ты их убил?

— Нужда заставила.

— Вот они каковы, нужды чудовища. Хоть раскаиваешься?

— Все было просто: или они, или я.

— Вот они, нужды чудовища во всей своей аморальной простоте. Но хоть теперь-то ты раскаиваешься?

— Я это сделал под влиянием момента. Это была случайность.

— Инстинкт, вот как это называется. Инстинкт. Но все-таки ты ответь мне: *теперь* ты раскаиваешься?

— Я об этом не думаю.

— Ну вот, животное, как оно есть. По определению. В этом весь ты.

— А ты кто?

— Я — человек, да будет тебе известно.

— Надо же, сколько спеси.

— Это просто факт.

— Значит, ты бросил бы первый камень?

— А ты когда-нибудь пробовал утхаппам?

— Нет. Но ты расскажи. Что это — утхаппам?

— О, это *такая* вкусная штука!

— Звучит превосходно. Расскажи еще.

— Утхаппам обычно делают из обрезков теста, но редко когда остатки кулинарной роскоши оставляют по себе такие роскошные воспоминания, как…

— Так и чувствую его вкус!

Должно быть, я спал. Вернее, бредил в предсмертном забытье.

Но что-то меня беспокоило. Что именно? Я и сам не понимал. Но умереть спокойно оно не давало.

Ага. Все ясно. Я сообразил, в чем загвоздка.

— Эй!

— А? — слабо откликнулся Ричард Паркер.

— Почему у тебя акцент?

— Какой еще акцент? Это у тебя акцент.

— Ничего подобного. Ты произносишь *the* как «зе».

— Я «зе» произношу как «зе», как и положено. А ты мямлишь, будто у тебя полон рот теплых камешков. У тебя индийский акцент!

— А ты будто не английским языком говоришь, а дрова пилой пилишь. У тебя французский акцент!

Это уже ни в какие ворота не лезло. Ричард Пар-

кер родился в Бангладеш, а вырос в Тамилнаде. Откуда же он набрался французского акцента? Ну ладно, допустим, Пондишери был когда-то столицей французской колонии. Но никто не заставит меня поверить, что звери из нашего зоопарка были завсегдатаями «Альянс-Франсез» на рю-Дюма.

Вот так загадка. В голове опять все смешалось, и я провалился в какой-то туман.

Я очнулся, как от толчка. Тут кто-то есть! Этот голос, звучавший у меня в ушах, — вовсе не ветер со странным акцентом и не зверь, обретший дар речи. Это был кто-то *еще*! Сердце отчаянно заколотилось, из последних сил стараясь разогнать кровь по истощенному телу. А сознание из последних сил попыталось проясниться.

— Наверное, просто эхо… — донеслось до меня едва слышно.

— Погоди! Я здесь! — выкрикнул я.

— Надо же, эхо в открытом море…

— Нет! Это я!

— Да когда же это кончится?!

— Друг мой!

— Я умираю…

— Постой, не уходи!

Я уже почти ничего не мог расслышать.

Я завопил.

Он тоже завопил.

Это было уже чересчур. Впору и в самом деле спятить.

И тут меня снова осенило.

— МЕНЯ ЗОВУТ, — проорал я в лицо стихиям на последнем дыхании, — ПИСИН МОЛИТОР ПАТЕЛЬ. — Уж имя-то эху нипочем не придумать. — Слышишь меня? Я — Писин Молитор Патель, всем известный попросту как Пи Патель.

— Что?! Тут кто-то есть?

— Да! Кто-то есть!

— Что?! Не может быть! Умоляю, дай мне поесть! Хоть чего-нибудь! У меня вся еда вышла. Я уже который день голодаю. Не могу больше. Поделись со мной, хоть кусочком! Умоляю!

— Но у меня тоже ничего нет, — растерялся я. — Я и сам уже давно не ел. Я-то надеялся, у *тебя* что-нибудь найдется. А вода у тебя есть? А то у меня уже кончается.

— Нету. Так у тебя совсем еды нет? Ни кусочка?

— Нет, ничего.

Наступила тишина — гнетущая тишина.

— Где ты? — спросил я.

— Я здесь, — устало откликнулся он.

— Где это — здесь? Я тебя не вижу.

— Почему?

— Я ослеп.

— Что?! — воскликнул он.

— Я ослеп. Только тьма перед глазами. Сколько ни моргай. Вот уже два дня, если судить по смене жары и холода. Только так и отличаю день от ночи.

Душераздирающие рыдания донеслись до меня.

— В чем дело? Что случилось, друг мой? — спросил я.

Но он только разрыдался еще горше.

— Ответь же! В чем дело? Ну да, я ослеп, и у нас нет ни еды, ни воды, но зато теперь у тебя есть я, а у меня — ты. А это уже немало. Это настоящее сокровище. Так отчего же ты плачешь, дорогой мой брат?

— Я тоже ослеп.

— Что?!

— Тоже ничего не вижу. Сколько ни моргай, как ты говоришь.

И он опять расплакался.

А я просто онемел. Надо же — встретить посреди Тихого океана еще одного слепца в спасательной шлюпке!

— Но отчего же ты ослеп? — выдавил я нако-

нец.

— Наверное, оттого же, отчего и ты. Антисанитарные условия плюс крайняя степень истощения.

Тут мы оба не выдержали. Он снова разразился рыданиями, а я принялся всхлипывать. Это уже чересчур, честное слово.

— А я знаю одну историю, — сказал я чуть погодя.

— Историю?

— Ага.

— На что мне сдалась твоя история? Я есть хочу.

— Это история про еду.

— Словами сыт не будешь.

— Ищи еду везде, где она водится.

— А вот это мысль.

И вновь тишина. Голодное молчание.

— Где ты? — спросил он.

— Здесь. А ты?

— Здесь.

До меня донесся всплеск — весло погрузилось в воду. Я дотянулся до одного из весел, спасенных с развалившегося плота. До чего же тяжелое! Я нашарил ощупью ближайшую уключину. С горем пополам вставил весло. Налег на рукоятку. Сил

не было. Но я все-таки греб — старался как мог.

— Ну, давай свою историю, — пропыхтел он.

— Жил да был на свете банан. Рос он себе на ветке, рос и рос и вырос большой-пребольшой, крепкий, желтый и душистый. Тогда он упал на землю, а кто-то нашел его и съел.

Он даже грести перестал:

— Замечательная история!

— Спасибо.

— Прямо плакать хочется.

— Погоди, это еще не все, — спохватился я.

— Что еще?

— Банан упал на землю, а кто-то нашел его и съел. И этому человеку стало *гораздо лучше.*

— Просто дух захватывает! — воскликнул он.

— Спасибо.

И тишина.

— А что, у тебя есть бананы?

— Нет. Я отвлекся на орангутана.

— Что-что?!

— Это долгая история.

— А зубной пасты нет?

— Нет.

— А жаль. С рыбой — просто пальчики оближешь. Может, сигареты есть?

— Я их уже съел.

— *Съел* сигареты?

— Фильтры еще остались. Хочешь?

— Фильтры? На что мне сдались фильтры без табака? Это надо же — *съесть* сигареты! Да как ты мог?..

— А что мне еще было с ними делать? Я же не курю.

— Мог бы приберечь. А потом на что-нибудь выменять.

— Выменять? У кого?

— Да у меня!

— Брат мой! Когда я ел их, я был один-одинешенек в своей шлюпке посреди океана.

— Ну и что?

— Да мне и в голову прийти не могло, что я встречусь посреди океана с кем-нибудь, кто захочет меняться со мной на сигареты.

— Наперед надо думать, дурья твоя башка! Видишь, теперь тебе нечего предложить на обмен.

— Да хоть бы и было чего. Тебе-то тоже нечего менять. Ну что у тебя может быть полезного?

— У меня есть ботинок, — сообщил он.

— Ботинок?

— Да. Отличный кожаный ботинок.

— На что мне сдался кожаный ботинок в шлюпке посреди океана? Я что, по-твоему, на прогулки

тут хожу, когда заняться нечем?

— Да его же съесть можно!

— Ботинок? Съесть? Ну и ну.

— Ты же съел сигареты. Чем тебе ботинок плох?

— Даже подумать противно. А хоть чей ботинок-то?

— А я почем знаю?

— Предлагаешь мне съесть ботинок, который носил неизвестно кто?

— А какая тебе разница?

— Ну ты даешь! Ботинок. Не говоря уже о том, что я индуист, а для нас, индуистов, корова — животное священное, так мне еще и всю грязь с этим кожаным ботинком придется съесть — и ту, в которую он вступал, и ту, что внутри от ноги осталась.

— Значит, не хочешь ботинок?

— Дай хоть взглянуть сначала.

— Не дам.

— Что?! Ну уж нет. Не стану я меняться на кота в мешке!

— Ты что, забыл? Мы же оба слепые.

— Тогда хоть опиши мне этот ботинок, что ли. И вообще, кто так торгует? Неудивительно, что с покупателями у тебя туго.

— Это точно.

— Ну, давай же. Что у тебя за ботинок?

— Кожаный ботинок.

— *Какой* кожаный ботинок?

— Обычный.

— Что значит «обычный»?

— Ну, обычный ботинок, со шнурками и дырочками для шнурков. С язычком. Со стелькой. Ботинок как ботинок.

— Какого цвета?

— Черный.

— В каком состоянии?

— Разношенный. Кожа мягкая, нежная, приятно пощупать.

— А пахнет чем?

— Теплой, душистой кожей.

— Сказать по правде… сказать по правде… звучит заманчиво!

— Ну так можешь о нем забыть.

— Это еще почему?

Молчание.

— Ты не хочешь отвечать, брат мой?

— Нет никакого ботинка.

— Как это нет?

— Нет, и все.

— Обидно.

— Я его съел.

— Ты съел ботинок?

— Да.

— И как, вкусно было?

— Нет. А сигареты были вкусные?

— Нет. Я не смог их доесть.

— И я не смог доесть ботинок.

— Жил да был на свете банан. Рос он себе на ветке, рос и рос и вырос большой-пребольшой, крепкий, желтый и душистый. Тогда он упал на землю, а кто-то нашел его и съел. И этому человеку стало гораздо лучше.

— Прости меня! Прости меня за все, что я сказал и сделал. Я — пустое место! — выпалил он вдруг.

— Да что ты? Что ты? Ты — самое замечательное, самое чудесное существо на земле. Иди ко мне, брат мой, и мы будем вместе, насладимся обществом друг друга!

— Да!

Не сказал бы, что гребцам в Тихом океане раздолье, тем более гребцам слепым и слабым, тем более на таких больших и неповоротливых шлюпках, тем более если ветер ни в какую не желает им подсобить. Он то приближался, то вдруг опять оказывался далеко. То слева, то справа. То передо мной, то позади. Но в конце концов нам

все удалось. Шлюпки столкнулись с глухим ударом — сладостный звук, слаще даже, чем толчок черепахи о борт. Он бросил мне конец, и я привязал его шлюпку к своей. Я распростер объятия ему навстречу. Глаза мои наполнились слезами, я улыбался. Он стоял прямо передо мной — я чувствовал это: свет его присутствия пробивался сквозь слепоту.

— Милый брат, — прошептал я.

— Я здесь, — отозвался он.

Донеслось тихое рычание.

— Брат мой, я забыл кое о чем тебя предупредить.

Он навалился на меня всей тяжестью. Мы рухнули на брезент, стукнувшись головами о среднюю банку. Руки его потянулись к моему горлу.

— Брат, — прохрипел я в его ненасытных объятиях, — сердце мое с тобой, но мы должны срочно перебраться в другую часть моего утлого суденышка.

— Это точно, — отозвался он, — теперь твое сердце со мной. И твоя печень, и твое мясо!

Я понял, что он переползает с брезента на среднюю банку и — роковой шаг! — опускает ногу на дно по ту сторону.

— Нет-нет, брат мой! Не надо! Мы не…

Я пытался удержать его. Увы, слишком поздно. Не успел я выговорить «одни», как опять остался один. Только я и услышал, как о днище шлюпки негромко клацнули когти — с таким звуком падают на пол очки, — а в следующее мгновение милый мой брат испустил у меня над ухом душераздирающий крик, — никогда я еще не слышал, чтобы люди так кричали. И разжал объятия.

Вот какой чудовищной ценой расплатился я с Ричардом Паркером. Он подарил мне жизнь — мою собственную, но забрал за это другую. Он содрал с его костей мясо и разгрыз его кости. Запах крови ударил мне в нос. Что-то во мне умерло в тот миг безвозвратно.

91

Я забрался в шлюпку моего брата. Ощупал ее всю. Обнаружил, что он солгал мне. У него все-таки была еда — кусочек черепашьего мяса, голова корифены и даже лакомство, о каком я и мечтать не смел, — горстка галетных крошек. И вода тоже была. Все это отправилось мне в рот. Я вернулся к себе и отвязал его шлюпку.

Все это время я обливался слезами — и глазам это пошло на пользу. Вновь приоткрылось окошко в верхней части левого глаза. Я стал промывать глаза морской водой. И с каждым промыванием окошко все расширялось. Через два дня зрение восстановилось полностью.

Но картина, открывшаяся моему взору, чуть не заставила меня об этом пожалеть. Его растерзанное, расчлененное тело лежало на дне шлюпки. Ричард Паркер к тому времени уже попировал на славу — объел даже лицо, так что мне не довелось узнать, каков из себя был мой брат. Его выпотрошенное туловище с переломанными ребрами, изогнутыми, как шпангоуты, напоминало ту же спасательную шлюпку, только в миниатюре, — так ужасно оно было обглодано.

Сознаюсь, что одну его руку я оторвал, подцепив острогой, и пустил мясо на наживку. Сознаюсь и еще, что, дойдя до грани безумия в своем безвыходном положении, я съел немножко его мяса. Я имею в виду крошечные кусочки, те полосочки, которые должны были послужить наживкой, — подвялившись на солнце, они на вид ничем не отличались от обычного мяса животных. Я и сам не заметил, как они скользнули мне в рот. Поймите меня правильно: я невыносимо страдал, а он все равно был уже мертв. Я прекратил это, как только поймал рыбу.

Я каждый день молюсь за упокой его души.

92

Я совершил невероятное ботаническое открытие. Правда, многие скажут, что следующий эпизод я попросту выдумал. И все-таки я опишу его, потому что это часть моей истории, потому что это случилось на самом деле.

Я лежал на боку. Был час или два пополудни, солнце светило неярко, дул легкий ветерок. Я чуток вздремнул — тем неглубоким сном, который не приносит ни отдыха, ни сновидений. Потом перевернулся на другой бок, стараясь по возможности экономить силы. И открыл глаза.

Я увидел перед собой деревья — совсем неподалеку. Но не отреагировал. Это ведь просто мираж: стоит моргнуть пару раз, и все исчезнет.

Но деревья никуда не исчезли. Напротив, разрослись перед моими глазами в целую рощу. Роща на краю какого-то островка, что лежал немногим выше уровня моря. Я приподнялся. Я по-прежнему не верил своим глазам. Но не мог удержаться от искушения полюбоваться такой первоклассной иллюзией. Какие прекрасные деревья! В жизни не видел ничего подобного. Бледная кора, симметрично расположенные

ветви и на удивление пышная листва. Листья ослепительно-зеленые — зелень яркая, как изумруд; рядом с ней даже буйная растительность в сезон муссонов показалась бы тускло-оливковой.

Я нарочно сморгнул: пусть мои веки станут лесорубами. Но деревья не рухнули.

Я перевел взгляд ниже. И вздохнул — разочарованно, хоть и с удовольствием. На острове не было почвы. Не то чтобы деревья стояли прямо в воде. Но они поднимались из какой-то плотной зеленой гущи, такой же яркой, как листва на ветвях. Где это слыхано, чтобы на суше не было почвы? Где это видано, чтобы деревья росли прямо из растительной массы? Столь причудливая геологическая конструкция доставила мне удовольствие: ведь она подтверждала, что я прав, что остров этот — не более чем химера, игра воображения. Но с другой стороны, я не мог удержаться от разочарования: ведь остров — какой угодно, сколь угодно странный — пришелся бы как нельзя кстати.

Но поскольку деревья все стояли себе и стояли, я продолжал их рассматривать. Зелень так ласкала глаз после всей этой бесконечной синевы. Зеленый — такой хороший цвет. Цвет ислама. Мой любимый цвет.

Течение мягко подталкивало шлюпку все ближе и ближе к берегу миража. А впрочем, что это за берег — ни песка, ни гальки, ни даже прибоя, потому что волны, накатывавшие на островок, не разбивались ни обо что, а просто исчезали в пористой массе зелени. От кряжа, высившегося ярдах в трехстах от береговой линии, островок полого спускался вниз и еще ярдов на сорок тянулся под водой, а там круто обрывался куда-то в бездну Тихого океана — самым маленьким в мире континентальным шельфом.

Я уже начал привыкать к этому обману чувств. Чтобы мираж продержался подольше, я старался на нем не сосредоточиваться и, когда шлюпка ткнулась в островок, даже не шевельнулся — только продолжал мечтать. Островок, казалось, был соткан из перепутанной, плотно переплетенной массы трубчатых стеблей не толще двух пальцев в диаметре. Что за диковинный остров, подумал я.

Несколько минут спустя я подполз к борту. «Присматривайтесь к зеленому цвету», — говорилось в инструкции по спасению. Что ж, вот она, зелень. Хлорофилловый рай. Зелень — ярче не бывает: куда там пищевым красителям и неоновым огням. Такой зеленью недолго и допьяна

упиться. «В конечном счете твердую землю вы почувствуете только ногой», — значилось далее в инструкции. До островка и было ногой подать. Шагнуть — и разочароваться — или не шагнуть, вот в чем был вопрос.

Я решил шагнуть. Для начала огляделся — нет ли акул. Акул не было. Я перекатился на живот и, держась за брезент, медленно перекинул ногу через борт. Ступня коснулась воды. Приятная прохлада. Остров лежал чуть дальше, мерцая в воде. Я вытянул ногу. Я был готов к тому, что мыльный пузырь миража лопнет в любую секунду.

Он не лопнул. Моя ступня погрузилась в прозрачную воду и уперлась во что-то гибкое, пружинящее, как резина, но твердое. Я надавил сильнее. Мираж не сдавался. Я перенес на эту ногу вес тела. И не провалился. Но все равно не поверил.

В конечном счете я почувствовал твердую землю не ногой, а носом. Она воззвала к моему обонянию сочным и свежим, головокружительным запахом зелени. Я задохнулся. Месяц за месяцем одни только запахи соленой воды — и вдруг такой насыщенный, пьянящий растительный дух! Вот тогда я наконец поверил. Перед глазами у меня все поплыло, в голове помути-

лось. Вытянутая нога задрожала.

— Боже мой! Боже мой! — прохныкал я.

И перевалился через борт.

Твердая земля в сочетании с прохладной водой обернулись для меня таким потрясением, что мне достало сил выкарабкаться на берег. Лепеча бессвязные хвалы Господу, я рухнул ничком у кромки воды.

Но долго я так не пролежал. Слишком уж я был возбужден. Я попытался подняться на ноги. Кровь отхлынула от головы. Земля заходила ходуном. Дурманящая чернота застлала глаза. Я чуть не упал в обморок. Но все-таки взял себя в руки. Какое-то время я только хватал воздух ртом — ни на что другое просто не было сил. Потом кое-как ухитрился сесть.

— Ричард Паркер! Земля! Земля! Мы спасены! — крикнул я.

Растительный запах был невероятно крепкий. А зелень — такая свежая и умиротворяющая, что сила и спокойствие буквально вливались в меня через глаза.

Что же это за странные трубчатые стебли, переплетшиеся в такую плотную сеть? Съедобны ли они? Ясное дело, это какие-то водоросли, но таких жестких водорослей я еще никогда не видел. На

ощупь они были влажные и как будто довольно хрупкие. Я потянул за стебель. Он оказался волокнистым и разломился без особого сопротивления. В сечении он состоял из двух концентрических трубок: наружная стенка — ярко-зеленая — была влажной и чуть шероховатой, а внутренняя помещалась посередине между внешней стенкой и сердцевиной стебля. Сразу бросалась в глаза разница между двумя этими трубками, вложенными одна в другую: внутренняя была белой, а зелень внешней бледнела от краев к сердцевине. Я поднес водоросль к носу. Ничем особенным она не пахла — не считая все того же растительного запаха. Я лизнул ее. Сердце мое взволнованно забилось. Влага, покрывавшая стебель, была пресной!

Я впился в него зубами. И снова был потрясен — только на сей раз не запахом, а вкусом. Внутренняя трубка оказалась горько-соленой, однако внешняя — не просто съедобной, а восхитительной. Язык мой затрепетал, словно палец, перелистывающий страницы словаря в поисках давно забытого слова. И когда оно нашлось, я зажмурился от удовольствия, вслушиваясь в то, как это звучит. *Сладость.* Не просто *вкуснота,* а настоящая *сахарная* сладость. Черепахи и рыбы

бывают на вкус самые разные, какие угодно, но только не сахарные. До этой водоросли далеко было даже соку здешних канадских кленов — такое она доставила мне наслаждение своей тонкой сладостью. А по консистенции я сравнил бы ее разве что с водяным орехом.

Пересохший рот мгновенно заполнился слюной. Постанывая от удовольствия, я бросился рвать водоросли целыми пригоршнями. Внешние трубки легко отделялись от внутренних. Я принялся набивать рот сладкими оболочками стеблей. Я запихивал их за щеки обеими руками, чуть не насильно. Ну и работенку я задал своим челюстям — от такого они давным-давно отвыкли! Я объедался, пока не вырыл вокруг себя настоящий ров.

Футах в двухстах от меня высилось одинокое дерево. Единственное дерево на всем склоне, тянувшемся от кряжа, до которого, казалось, было очень далеко. Я сказал *кряжа*? Боюсь, так у вас сложится неверное впечатление о крутизне подъема. Остров, как я уже говорил, лежал очень низко над уровнем моря. Склон поднимался футов на пятьдесят-шестьдесят, не выше. Но в тогдашнем моем состоянии даже этот пологий пригорок казался неприступной горой. Дерево было куда

заманчивей. Я приметил, что можно укрыться в его тени. И еще раз попробовал подняться. Но голова закружилась, и я не удержал равновесия, так что удалось только встать на четвереньки. Я все равно не смог бы сделать ни шагу, даже если бы устоял, — в ногах совсем не осталось сил. Зато силы воли было не занимать. Я решил добраться до дерева во что бы то ни стало. И пополз туда — сначала на четвереньках, потом на животе, кое-как перекатываясь и подтягиваясь руками.

Точно знаю: никогда больше мне не испытать такой безоглядной радости, как в тот миг, когда меня накрыла резная, мерцающая тень этого дерева и слух мой наполнился сухим, хрустким шелестом его листвы на ветру. В сравнении с теми деревьями, что росли подальше от берега, под защитой кряжа, оно было довольно-таки чахлое — не такое раскидистое и высокое и не столь гармонично развитое. Но что с того? Это же было *дерево*, а увидеть дерево после бесконечных скитаний в открытом море — такая благодать! Я воспел этому дереву хвалу, я превознес его беспорочную чистоту и неспешность, его терпеливую красоту. О, если бы и я мог стать как оно — утвердиться корнями в земле, но каждую свою веточку воздеть к небесам во славу Господню! Я

заплакал.

Пока сердце мое прославляло Аллаха, разум уже начал осмыслять Его деяния. Дерево и вправду росло прямо из массы водорослей, как мне и показалось со шлюпки. Почвы не было и в помине. Либо почвенный слой залегал глубже, под водорослями, либо же эта порода деревьев являла собой неизвестный науке образчик симбионта или паразита. Ствол был шириною примерно в грудь человека. Кора — серовато-зеленая, тонкая и гладкая, такая мягкая, что от ногтя на ней оставались глубокие отметины. Сердцевидные листья — большие, широкие, остроконечные. Ровной, миловидной округлостью крона напоминала дерево манго, но это было не манго. Запахом оно напомнило мне каменное дерево, но все-таки это было не оно. И не мангровое дерево. Я так и не смог определить, к какой породе оно относится. Знаю только одно: оно было прекрасное, зеленое и пышное.

До меня донеслось рычание. Я обернулся. Ричард Паркер наблюдал за мной из шлюпки. И тоже рассматривал остров. Похоже, хотел сойти на берег, но трусил. Наконец, вдоволь нарычавшись и наметавшись взад-вперед по своей половине, он таки решился и прыгнул. Я поднес

к губам свой оранжевый свисток. Но Ричард Паркер и не думал нападать. С него — как недавно и с меня — покамест хватало борьбы за равновесие: устоять бы на твердой земле — и то славно. В конце концов он пустился ползком, едва перебирая лапами, как новорожденный детеныш. Обогнув меня за пушечный выстрел, он направился вверх по склону и скрылся за кряжем.

Целый день я отъедался и отдыхал и, попросту говоря, блаженствовал. Время от времени пытался подняться на ноги. Но стоило переусердствовать, как к горлу тут же подкатывала тошнота. И, даже сидя неподвижно, я все не мог избавиться от ощущения, что земля подо мной качается и я того и гляди упаду.

Насчет Ричарда Паркера я забеспокоился уже под вечер. Кто его знает, как он ко мне отнесется в этой новой обстановке, на новой территории?

Как ни досадно, а пришлось переползти обратно в шлюпку — исключительно в целях безопасности. Даже если Ричард Паркер завладеет островом безраздельно, носовая часть шлюпки и брезент все равно останутся при мне. Я поискал, к чему бы пришвартоваться. И не нашел ничего, кроме все тех же водорослей. В конце концов я воткнул в них весло — лопастью наружу — и

привязал шлюпку к нему.

Я заполз на брезент. Сил моих больше не было. Я так измучился от обжорства — а тут еще и нервное потрясение от столь внезапных превратностей судьбы. Смутно припоминаю, что к исходу дня я уловил откуда-то издали рык Ричарда Паркера, но очень скоро меня сморил сон.

Проснулся я посреди ночи — от какого-то странного, неприятного спазма в животе. Я было принял его за колики и подумал, уж не отравился ли я этими водорослями. Но тут послышался шум. Я огляделся. Ричард Паркер был уже тут как тут, на борту. Вернулся, пока я спал. А теперь мяукал и вылизывал подушечки лап. Я подивился его возвращению, но не стал об этом раздумывать — спазмы все усиливались. Я согнулся пополам, я затрясся от боли и лишь запоздало осознал, что со мной происходит: обычный, хоть и давным-давно позабытый процесс испражнения. Было очень больно, но после я забылся таким глубоким, таким освежающим сном, каким в последний раз наслаждался разве только накануне крушения «Цимцума».

За ночь я изрядно набрался сил. Еще ползком, но весьма-таки бодро я вернулся к одинокому дереву. И снова насытил взор его зеленью, а

желудок — водорослями. Позавтракал я плотно — вырыл здоровенную яму.

Ричард Паркер мялся часа три-четыре и только ближе к полудню решился покинуть шлюпку. А спрыгнув на берег, тотчас отскочил обратно, плюхнулся на мелководье и весь напрягся. Зашипел и стал когтить воздух лапой. Странно. Что же это с ним? Впрочем, он быстро унялся и, двинувшись вверх по склону — заметно уверенней, чем накануне, — скоро исчез из виду.

В тот день я впервые встал, опираясь на дерево. Голова по-прежнему кружилась. И земля под ногами по-прежнему ходила ходуном — только закрыв глаза и обхватив ствол, я избавился от этого ощущения. Тогда я оттолкнулся от дерева и попробовал пройтись. И тут же упал. Земля бросилась мне в лицо, не успел я сделать и шагу. Обошлось без ушибов. Этот остров, покрытый таким плотным, пружинящим ковром стеблей, — просто идеальная площадка для тренировок, если ты разучился ходить. Падай в свое удовольствие — даже не ударишься.

Снова отоспавшись в шлюпке — куда Ричард Паркер вернулся, как и вчера, — я обнаружил на следующий день, что уже способен переставлять ноги. Я добрался до дерева на своих двоих, упав

всего раз пять-шесть. Сил во мне прибывало с каждым часом. Я дотянулся острогой до одной из веток, пригнул ее и сорвал несколько листочков. Листья были мягкие, без воскового налета, но на вкус оказались горькими. А Ричард Паркер просто привык к своему логову в шлюпке — так я объяснил для себя его регулярные возвращения.

Вечером, на закате, он опять вернулся. Я заново — покрепче — привязал шлюпку к воткнутому в берег веслу. И как раз проверял, надежно ли затянуты узлы на форштевне. Он застал меня врасплох. Сперва я даже не признал его. Неужто это великолепное животное, перемахнувшее гребень пригорка одним прыжком, — тот самый мой товарищ по несчастью, вялая и жалкая пародия на тигра? А вот и да. Ричард Паркер собственной персоной — и мчится на меня во весь опор. И очень целеустремленно. Голова опущена, могучая шея видна во всей своей красе. Мех и мускулы под кожей так и переливаются с каждым движением. Тяжелая дробная поступь донеслась до моих ушей.

Я читал, что есть две вещи, не испугаться которых невозможно, сколько себя ни приучай: неожиданный шум и головокружение. Я бы добавил третью, а именно — стремительное и

неотвратимое приближение знакомого убийцы.

Я схватился за свисток. И дунул в него что было силы, когда Ричарда Паркера уже отделяло от шлюпки футов двадцать пять. Пронзительный свист рассек воздух.

Сработало. Ричард Паркер притормозил. Но повернуть обратно и не подумал. Я свистнул еще раз. Тогда он повернулся боком и, свирепо порыкивая, запрыгал на месте престранным образом, точно олень. Я дунул в свисток в третий раз. Ричард Паркер ощетинился и выпустил когти. Я струхнул не на шутку: что, если мой свистковый щит не выдержит и он все-таки нападет?

Но Ричард Паркер не напал, а отчудил такое, чего я и представить себе не мог, — взял да и прыгнул в воду. Ну и дела! Вытворил как раз то, чего я ожидал меньше всего, — да еще так уверенно и решительно. И, проворно загребая лапами, поплыл к корме. Я хотел было свистнуть еще разок, но передумал и вместо этого откинул крышку ящика и уселся в святая святых своей территории.

Ричард Паркер обрушился на корму всем своим весом. Вода лилась с него ручьями. Нос шлюпки вздыбился. Какое-то мгновение Ричард Паркер помедлил на планшире и кормовой банке, глядя

на меня испытующе. Сердце у меня ушло в пятки. Наверное, я не смог бы еще раз свистнуть. Я просто сидел и тупо смотрел на него — вот и все. Ричард Паркер плавно соскочил на дно и исчез под брезентом. Теперь его уже нельзя было разглядеть целиком из-за крышки ящика. Я бросился на брезент — там, где ему меня не было видно, прямо над ним. Больше всего на свете мне хотелось расправить крылья и улететь.

Мало-помалу я успокоился. Пришлось напомнить себе, что именно в таком положении — прямиком над головой у тигра — я живу уже давным-давно.

Дыхание у меня выровнялось, и я уснул.

Где-то посреди ночи я проснулся и, забыв недавние страхи, взглянул на Ричарда Паркера. Ему что-то снилось: он дрожал и ворчал во сне. Этим-то шумом он меня и разбудил.

Утром он удрал, как обычно.

Я решил исследовать остров, как только достаточно окрепну. Он был довольно велик, если судить по береговой линии, — ведь она простиралась далеко влево и вправо, почти не изгибаясь. Целый день я ходил — то и дело падая — от берега к дереву и обратно: тренировал ноги. При каждом падении я не забывал подкрепиться

водорослями.

Когда Ричард Паркер вернулся к концу дня, на сей раз чуть пораньше, я уже ждал его. Свистеть в свисток я не стал — просто сидел неподвижно. Он подошел к самой кромке воды и одним могучим прыжком перелетел на борт. Устроился на своей половине, не посягнув на мою, — только шлюпка опять накренилась под его весом. Форму он все-таки набирал с устрашающей скоростью.

На следующее утро, дав Ричарду Паркеру порядочную фору, я отправился исследовать остров. Я взошел на пригорок без труда — переставляя ноги с гордым воодушевлением, хоть и малость неуклюже. Будь они послабее, я наверняка бы плюхнулся снова при виде картины, поджидавшей меня по ту сторону кряжа.

Оказалось, во-первых, что остров покрыт водорослями не только по краям, а весь целиком. Передо мной раскинулась широкая зеленая равнина, а посреди равнины — настоящий лес. По всему лесу — сотни и сотни одинаковых лужиц, все на равном удалении друг от друга, а между ними — так же равномерно расставленные деревья-близнецы; просто невозможно было не заподозрить, что этот лесок насадили по плану.

Но что произвело на меня поистине неизгла-

димое впечатление, так это сурикаты. По самым скромным оценкам, моему изумленному взору зараз предстало несколько сотен тысяч сурикат. Все вокруг кишело сурикатами. И когда я появился из-за гребня, все они как один, будто куры на птичьем дворе, повернулись ко мне и застыли столбиками.

У нас в зоопарке сурикат не было. Но мне доводилось читать о них. И в специальных книжках, и в художественных. Суриката — это маленький южноафриканский зверек, родич мангуста; иначе говоря, плотоядное роющее млекопитающее, длиной около фута и весом два фунта, изящное, сложением похожее на ласку, с острой мордочкой, близко посаженными глазками, восьмидюймовым хвостом и короткими лапками, на каждой по четыре пальца с невтягивающимися когтями. Шерстка у сурикат буровато-серая, с черными или бурыми полосками на спине, только кончик хвоста и уши черные, да еще вокруг глаз черные кольца. Проворные и зоркие, эти зверьки ведут дневной образ жизни, объединяются в колонии, а питаются — в естественной среде обитания, то есть в южноафриканской пустыне Калахари, — всякой всячиной и среди прочего скорпионами, чей яд им нипочем. Стоя на сторожевом посту,

они вытягиваются в столбик, опираясь на задние лапы и балансируя хвостом. Нередко сурикаты целой стайкой одновременно замирают в такой позе и всматриваются все вместе в одну сторону — ну точь-в-точь пассажиры на остановке в ожидании автобуса. А написанным на мордочках усердием и передними лапками, свисающими до живота, они напоминают то ли детей, смущенно позирующих фотографу, то ли пациентов на приеме у врача, застенчиво пытающихся прикрыть наготу.

Вот что я увидел в тот миг единым взором — сотни тысяч, нет, миллионы сурикат повернулись в мою сторону все разом и внимательно на меня уставились: «Слушаю, сэр?» Имейте в виду, что ростом эти зверьки не выше восемнадцати дюймов, даже когда стоят на задних лапах, — так что поразили они меня отнюдь не размерами, а невообразимой численностью. Я застыл как вкопанный и просто онемел. Если все эти миллионы сурикат разом бросятся от меня наутек, хаос начнется неописуемый. Но они быстро потеряли ко мне интерес. Секунда-другая — и они как ни в чем не бывало вернулись к своим делам: кто пощипывал стебли водорослей, кто высматривал что-то в лужицах. При виде стольких существ, од-

новременно припавших к земле, мне на память невольно пришла мечеть в час молитвы.

Похоже, они меня совсем не боялись. Пока я спускался к лесу, ни один зверек не отскочил, ни один не встрепенулся. Я преспокойно мог бы потрогать любого, а то и взять на руки. Но я не стал ничего такого делать. Я просто вошел в гущу этой колонии сурикат — наверняка самой большой на свете, и то был один из самых удивительных, самых чудесных моментов за всю мою жизнь. Вокруг стоял неумолчный шум: сурикаты беспрерывно попискивали и стрекотали, щебетали и тявкали. Их было так много, и настроение у них переменялось так внезапно, что шум этот накатывал волнами, точно проносящаяся мимо птичья стая, — то набирая громкость и обрушиваясь на меня со всех сторон, то мгновенно замирая, когда ближайшие ко мне зверьки умолкали, а те, что толпились подальше, вступали в хор.

Может, это не им надо было бояться, а мне? Вот какой вопрос пришел мне на ум. Но ответ был очевиден: нет-нет, они совершенно безобидны. Подбираясь к пруду, вокруг которого сурикаты сгрудились стеной, я расталкивал их ногами, чтобы ни на кого не наступить. И они ничуть не обижались на такое вторжение; напротив, сами

расступались передо мной, как добродушная толпа. Утопая по щиколотку в теплых пушистых тельцах, я заглянул в пруд.

Все эти озерца были круглые и примерно одинаковой величины — футов сорок в диаметре. Поначалу я думал, что они мелкие. Однако не увидел ничего, кроме глубокой прозрачной воды. Никакого дна. Стенки уходили в глубину, насколько хватало глаз, и состояли сплошь из тех же зеленых водорослей. Какой же толстый на этом острове растительный покров!

Что заинтересовало сурикат в этой луже, я так и не понял, — и, наверное, не стал бы и гадать, если бы берег соседнего озерца не взорвался в этот миг писком и тявканьем. Сурикаты скакали и подпрыгивали, чем-то страшно взволнованные. А потом внезапно ринулись прямо в воду — целыми сотнями. Началась потасовка: зверьки из задних рядов напирали на соперников, оказавшихся ближе к берегу. Никто не остался в стороне — даже крохотные сурикатята рвались к воде, так что матерям и нянькам едва удавалось их сдерживать. Я глазам своим не поверил. Нет, это не обычные калахарские сурикаты. Обычные калахарские сурикаты — это вам не лягушки. Наверняка передо мной какой-то подвид,

претерпевший такую поразительную, просто прелюбопытную адаптацию.

Ступая очень осторожно, я двинулся к тому, дальнему пруду — и успел вовремя: я собственными глазами увидел, как сурикаты пускаются вплавь — да-да, именно вплавь! — и выволакивают на берег рыбу, и не рыбешку-другую, а десятки рыбин, притом не маленьких. Попадались даже корифены, какие на шлюпке обернулись бы настоящим пиршеством. Рядом с ними сурикаты казались совсем крошками. Уму непостижимо, как они ухитрялись поймать такую здоровенную рыбу!

Пока сурикаты рыбачили в пруду, действуя, надо заметить, на редкость слаженно, мне бросилась в глаза еще одна любопытная штука: рыба — вся без исключения — уже была мертва. Правда, протухнуть не успела. Сурикаты не убивали рыбу — просто вытаскивали на берег дохлятину.

Распихав взбудораженных, мокрых сурикат, я опустился у озерца на колени. И обмакнул палец в воду. Холодная — холодней, чем я думал. Должно быть, течение поднимало на поверхность непрогретые глубинные слои. Я зачерпнул воду ладонью и поднес к губам. И глотнул.

Вода была пресная. Так вот почему перемерла

вся эта рыба! Теперь все ясно: ведь если морскую рыбу бросить в пресную воду, она тотчас раздуется и сдохнет. Но с какой стати вся эта морская рыба подалась в пресный пруд? Да и как?

Я пробрался среди сурикат к другому озерцу. Тоже пресное. К следующему. И оно тоже. И четвертое.

Значит, все пруды пресные. «Откуда же взялось столько пресной воды?» — задумался я. И тут же понял: все дело в водорослях. Водоросли естественным образом непрерывно опресняют морскую воду; вот почему у них такая соленая сердцевина, а стебли покрыты пресной влагой — та просто-напросто сочится изнутри. Я не стал утруждаться вопросами, почему и как это происходит и куда все-таки девается соль. Это меня уже не интересовало. Я попросту рассмеялся и прыгнул в ближайшее озерцо. И чуть было не пошел ко дну: я еще не окреп и не нагулял жира, чтобы легко держаться на поверхности, — но успел ухватиться за край пруда. Слов не подберу описать, как чудесно подействовало на меня это купание в несоленой воде, прозрачной и чистой. За столько дней в открытом море кожа моя задубела, как звериная шкура, а отросшие волосы свалялись и залоснились, точно липучка для мух.

Казалось, соль разъедала даже душу, не довольствуясь телом. Поэтому я теперь без малейшего стеснения отмокал в этом озерце на глазах у тысяч сурикат, покуда пресная вода не вымыла из меня всю эту соленую пакость до последнего кристаллика.

И вдруг сурикаты отвернулись. Все как одна уставились одновременно в одну сторону. Я выбрался на берег — посмотреть, что там. Ну конечно же! Ричард Паркер. Подтвердились мои подозрения: эти сурикаты не сталкивались с хищниками с незапамятных времен, так что всякое понятие о дистанции бегства и о бегстве как таковом попросту изгладилось из их генетической памяти. Они не ведали страха. Ричард Паркер двигался среди них, сея смерть и опустошение, хватая сурикат окровавленной пастью без разбора и счета, а они знай себе скакали у него под носом, только что не выкрикивая: «Мой черед, мой черед, мой черед!» И сцена эта повторялась вновь и вновь. Ничто на свете не могло вырвать сурикат из их привычного мирка, в котором не было места ничему, кроме прудосозерцательства и пощипывания водорослей. Подкрадывался ли Ричард Паркер неслышным шагом опытного тигра-убийцы, чтобы обрушиться на очередную

жертву с громоподобным рыком, или попросту равнодушно слонялся вокруг — им не было дела. Покой их был нерушим. Кротость — превыше всего.

А Ричард Паркер убивал сверх всякой меры. Не только по зову желудка, но и просто так. Жажда убийства у зверей отнюдь не диктуется потребностью в пище. Такое раздолье для охотника после стольких лишений! Неудивительно, что смертоносный инстинкт у него взыграл во всю мочь и вырвался на волю во всей своей буйной ярости.

Он был далеко. Мне ничто не угрожало. По крайней мере, на данный момент.

На следующее утро, когда он ушел, я прибрался в шлюпке. Давно пора было. Не стану описывать, на что походила эта груда человеческих и звериных костей вперемешку с объедками бесчисленных черепах и рыб. Всю эту вонючую пакость я отправил за борт. Ступить на днище я не посмел: Ричард Паркер мог разозлиться, учуяв следы моего вторжения, — так что орудовать острогой приходилось сверху, с брезента, или сбоку, стоя в воде. А то, с чем не справилась острога, — запахи и пятна, — я попросту смыл, окатив шлюпку водой из ведра.

Тем вечером Ричард Паркер вернулся в свежее,

чистое логово без возражений, но и спасибо не сказал. Он притащил в зубах целую гроздь дохлых сурикат и за ночь всех слопал.

День за днем я только и делал, что ел да пил и купался вдоволь, смотрел на сурикат, ходил и бегал, отдыхал и набирался сил. Я вновь научился бегать непринужденно и легко и находить в этом настоящую радость. Ссадины зажили. Больше ничего не болело. Одним словом, я вернулся к жизни.

Я исследовал остров. Попытался было обойти его кругом, но передумал. Я прикинул, что в поперечнике он был миль шесть-семь, а значит, миль двадцать в окружности. Берега, по-видимому, были на всем протяжении одинаковые: повсюду та же ослепительно-яркая зелень, тот же кряж с пологим спуском к воде, такие же чахлые одинокие деревца, кое-как разнообразящие картину. Изучая побережье, я сделал одно удивительное открытие: оказывается, толщина и густота водорослей менялись с погодой, а с ними преображался и весь остров. В сильную жару стебли переплетались тесней и плотней, и остров поднимался над уровнем моря; склон становился круче, а кряж — выше. Случалось это не вдруг. Надо было, чтобы жара продержалась несколько дней.

Но тогда уж случалось всенепременно. По-моему, все это служило для сохранения воды — для того, чтобы площадь поверхности, на которую падали солнечные лучи, стала меньше.

Обратный процесс — разрыхление — совершался быстрей и наглядней, и по причинам более очевидным. Тогда кряж опускался, а континентальный шельф, так сказать, растягивался вширь, и ковер водорослей у кромки воды распускался, так что я даже увязал в нем. Происходило такое в пасмурную погоду и, еще быстрее, в шторм.

Я пережил на острове ужасную бурю, из чего заключил, что на нем безопасно и в самый свирепый ураган. Потрясающее было зрелище: я сидел на дереве и смотрел, как гигантские волны накатывают — словно вот-вот перехлестнут кряж и ввергнут остров в хаос и бедлам — и тут же тают прямо у берега, как в зыбучих песках. В этом смысле остров следовал заветам Ганди: сопротивлялся путем непротивления. Волны, все до единой, исчезали без звука да и без следа, не считая пузырей. Земля подрагивала, озерца покрылись рябью, но в остальном буйство стихии прошло стороной. Точнее, прошествовало насквозь: волны — изрядно присмиревшие — возрождались с подветренной стороны и продолжали свой путь.

Престранная штука: чтобы волны катились *от* берега?! Сурикаты ни шторма, ни подземных толчков попросту не заметили. Делали свое дело как ни в чем не бывало.

А вот чего я никак не мог взять в толк — почему на острове царит такое запустение. Такой скудной экосистемы я сроду не видел. Ни тебе мух, ни бабочек, ни пчел, — вообще ни единого насекомого. На деревьях — ни единой птицы. На равнинах — ни грызунов, ни червей, ни личинок, ни змей, ни скорпионов; и никаких других деревьев, не говоря уже о кустарниках, траве и цветах. Пресноводной рыбы в прудах не водилось. И у берега все пусто и голо — ни крабов, ни раков, ни кораллов, ни даже гальки и камней. За одним-единственным — хоть и таким приметным — исключением в лице сурикат, на всем острове не сыскалось ни клочка чужеродной материи — ни органической, ни мертвой. Только ярко-зеленые водоросли и ярко-зеленые деревья.

Деревья, кстати, не были паразитами. Это я выяснил случайно — за очередным обедом вырыл под одним деревцем такую глубокую яму, что докопался до корней. Оказалось, что корни не врастают в водоросли, как в почву, а скорее перерастают в них, сливаясь с зелеными стебля-

ми. Из чего следовало, что деревья либо живут с водорослями в симбиозе, предаваясь взаимовыгодному обмену, либо — еще того проще — суть те же водоросли, только другой формы. По-моему, последняя гипотеза ближе к истине, поскольку деревья эти как-то обходились без цветов и плодов. И впрямь, какой самостоятельный организм вверит симбионту — пусть даже самому дорогому и близкому — столь важную функцию, как размножение? А то, как жадно листья поглощали солнечный свет, — о чем свидетельствовали их изобилие, крупные размеры и яркая зелень как признак перенасыщенности хлорофиллом, — навело меня на мысль, что главная функция этих деревьев — накопление энергии. Впрочем, это только догадки.

И напоследок — еще одно наблюдение. Скорее интуитивное: убедительных доказательств я не нашел. Вот оно. Остров этот — даже не остров вовсе, то есть не такой маленький клочок суши, вздымающийся с океанского дна, а эдакое чудоюдо морское — клубок водорослей, дрейфующий по воле волн. И сдается мне, что все эти озерца — не что иное, как сквозные дыры в этой плавучей громадине; потому как иначе и не объяснить, откуда в них брались корифены и прочая морская

живность.

Стоило бы изучить все это куда серьезней, но — увы! Водоросли, которые я прихватил с собой, потерялись.

Ричард Паркер тоже вернулся к жизни. Отъевшись на сурикатах, прибавил в весе, да и вообще стал как новенький, и мех у него теперь снова блестел, как в лучшие времена. Каждый вечер он по-прежнему возвращался в шлюпку. Я торопился опередить его и всякий раз обильно метил свою территорию мочой — чтобы он не забыл, кто есть кто и что тут чье. Но уходил он еще до света и забирался куда дальше меня; я же обычно не покидал насиженных мест, ведь остров был повсюду одинаковый. Так что в дневное время мы с ним почти не виделись. Но мне все чаще становилось не по себе. Я замечал на деревьях следы его когтей — ну и здоровенные же оставались отметины! А еще до меня иногда долетал его хриплый рев, этот раскатистый *ар-р-р-ргх,* полновесный, как золото, густой, как мед, — и леденящий кровь, точно разверстые недра копей или скопище рассерженных пчел. Не в том беда, что он искал самку, — но из этого вытекало, что он прижился на острове и надумал обзавестись потомством, а это уже внушало опасения. По-

терпит ли он в таком состоянии другого самца на своей территории? Особенно там, где ночует. И тем более если все его настырные призывы останутся без ответа, как тому и быть.

Однажды я гулял по лесу. Бодро вышагивал, думал о чем-то своем. Обогнул дерево… и столкнулся с Ричардом Паркером чуть не нос к носу. Испугались оба. Он зашипел и взвился на дыбы, навис надо мной — сейчас так и прихлопнет лапищами. Я застыл как вкопанный, оцепенел от страха и неожиданности. Однако он не напал — опустился и двинулся прочь. Шага через три-четыре развернулся, опять привстал на задних лапах и рыкнул. Но я все стоял, как каменный. Он отошел еще немного — и снова, уже в третий раз, продемонстрировал угрозу. Потом наконец потрусил по своим делам, удовольствовавшись моей безобидностью. Я же, как только отдышался и унял дрожь, тотчас сунул в рот свисток и бросился следом. Он уже довольно далеко забрел, но из виду не потерялся. Пробежаться пришлось изрядно. Наконец он обернулся, заметил меня, припал к земле, напружинился и… рванул от меня прочь. Я свистел в свисток что было сил и мечтал лишь об одном: вот бы свист мой разнесся далеко-далеко — еще дальше, чем рев одинокого

тигра.

Той ночью, пока он дрых подо мной в какой-то паре футов, я пришел к выводу: настало время снова выйти на арену.

С укрощением зверей загвоздка вот какая: всяким животным движет либо инстинкт, либо затверженная привычка. А новые ассоциации, не продиктованные инстинктом, у них почти не образуются. Вот почему вдолбить зверю, что за определенное действие — скажем, за кувырок — ему дадут что-нибудь вкусное, не так-то просто: приходится повторять и повторять одно и то же до опупения. Короче, дело это долгое, нудное, да и на результат нельзя положиться наверняка, особенно если зверь уже взрослый. Я дул в свисток так, что легкие разболелись. Я колотил себя в грудь, пока не набил синяки. «Хоп! Хоп! Хоп!» — эту команду «Работай!» на тигрином языке я повторил, наверное, не одну тысячу раз. Я скормил ему сотни лакомых кусочков сурикатьего мяса, каким бы и сам не побрезговал. Выдрессировать тигра — настоящий подвиг. Тигры ведь по складу ума далеко не так податливы, как другие любимцы цирковых дрессировщиков — морские львы, к примеру, или шимпанзе. Но в том, чего я добился с Ричардом Паркером, особой моей заслуги нет.

Мне просто повезло — и этому везению я обязан жизнью. Повезло, что Ричард Паркер был еще юнец, а вдобавок — юнец уступчивый, настоящая омега. Я боялся, что местная роскошь обернется против меня, что при таком изобилии воды и пищи и на такой большой территории Ричард Паркер распустится и обнаглеет и перестанет меня слушаться. Но он не расслаблялся ни на минуту. Уж я-то видел. И по ночам он все шумел и ворочался. Должно быть, решил я, все дело в новой обстановке: ведь животные настораживаются от любых перемен, даже тех, что к лучшему. Как бы там ни было, Ричард Паркер пребывал в напряжении, а это означало, что он по-прежнему готов повиноваться — и даже не просто готов, а *испытывает в этом потребность.*

Я учил его прыгать через обруч, который сплел из тонких веток. Простенькая серия в четыре прыжка. За каждый прыжок — подачка, кусочек мяса. Он брал разбег — а я держал обруч на вытянутой левой руке, футах в трех от земли. Он прыгал через кольцо — а я успевал перебросить обруч в правую руку еще до того, как он приземлится, и скомандовать не оборачиваясь, чтобы он развернулся и прыгнул снова. Для третьего прыжка я становился на колени и поднимал обруч над

головой. И как только нервы выдерживали, уж и не знаю. Ричард Паркер мчался прямо на меня, и я всякий раз боялся, что он не прыгнет, а нападет. Слава богу, ни разу такого не случилось. Затем я вставал и пускал обруч колесом. Ричарду Паркеру полагалось догнать его и проскочить, пока тот не упал, — успеть на последнем обороте. Этот заключительный номер никак ему не давался: то я брошу обруч кое-как, то у Ричарда Паркера лапы заплетутся. Но догонял он его непременно — и, догоняя, отбегал от меня. Когда обруч падал, Ричарда Паркера это почему-то каждый раз удивляло. Он смотрел на него во все глаза, будто это не обруч, а тоже какой-то огромный зверь, что бежал-бежал вместе с ним — и вдруг, ни с того ни с сего, взял и рухнул. Он стоял над ним подолгу, обнюхивал. А я бросал ему последнюю подачку и уносил ноги.

В конце концов я все-таки ушел со шлюпки. Ведь это же просто бред — ночевать в такой теснотище, да еще со зверем, уже от тесноты отвыкшим, когда в твоем распоряжении — целый остров. Безопасности ради я решил спать на дереве. Нельзя было уповать на то, что Ричард Паркер по-прежнему будет возвращаться в свое логово каждый раз. А вдруг ему взбредет прогуляться

среди ночи? И хорош же я буду, если он застанет меня беззащитным и спящим на земле, не на моей территории.

Так что в один прекрасный день я прихватил сетку, веревку и одеяла и пустился в путь. Выбрал симпатичное дерево на опушке леса и перекинул веревку через нижний сук. Подтянуться на руках и взобраться на дерево мне теперь было раз плюнуть. Я отыскал две горизонтальные ветки — покрепче и поближе друг к другу — и привязал к ним сетку. И вернулся туда под вечер.

Только-только я устроил себе матрас из сложенных одеял, как внизу распищались сурикаты. В чем дело? Я раздвинул листву и пригляделся. Окинул взглядом все вокруг, до самого горизонта. Ну, так и есть, не почудилось. Сурикаты улепетывали со своих пастбищ во всю прыть. Все несметное племя снялось с насиженных мест и устремилось к лесу — спинки выгнуты дугой, лапки мелькают так быстро, что и не различить. Я задумался было, какой еще сюрприз они преподнесут, как внезапно увидел с ужасом, что рыболовы от ближайшего ко мне озерца уже окружили мое спальное дерево и карабкаются вверх. Ствол захлестнула волна сурикат — казалось, их не остановить ничем. «Сейчас набросятся

на меня», — мелькнула мысль; так вот почему Ричард Паркер ночевал в шлюпке! Днем эти сурикаты кротки и безобидны, но под покровом ночи своей объединенной мощью изничтожат любого врага без пощады. Жутко — и возмутительно! Продержаться так долго в одной лодке с четырехсотпятидесятифунтовым бенгальским тигром, чтобы принять презренную смерть от каких-то двухфунтовых сурикатишек? Нет, это уж чересчур. Несправедливо — и слишком нелепо.

Но у них и в мыслях ничего такого не было. Они перебирались через меня и лезли все выше — пока не захватили все ветки до единой. Буквально *облепили* все дерево. Даже постель мою оккупировали. И повсюду вокруг, насколько хватало глаз, — та же картина. Ни одного свободного дерева. Весь лес побурел, словно в мгновение ока наступила осень. А с равнины, торопясь к еще не занятым деревьям в гуще леса, неслись все новые и новые стаи, и шум стоял, как от целого стада слонов.

И вот на равнине стало пусто и голо.

Из койки с тигром — в общую спальню к сурикатам… ну как, поверите мне теперь, что жизнь способна подстроить самый безумный сюрприз? Пришлось побороться с сурикатами за место в

собственной постели. Они сгрудились вокруг меня со всех сторон. Ни дюйма свободного не осталось.

Наконец они угомонились и прекратили пересвистываться и пищать. На дерево снизошла тишина. Мы уснули.

Проснулся я на рассвете, с головы до пят укрытый живым меховым одеялом. Детеныши отыскали себе местечки потеплее. Одни тугим, душным воротником обвились вокруг моей шеи — наверняка это заботливая мамаша пристроила их мне под щеку, — другие угнездились в паху.

С дерева они скатились быстро и бесцеремонно — так же, в общем, как и захватили его вчера. И со всех окрестных деревьев — тоже. И снова равнина сплошь покрылась сурикатами, а воздух зазвенел от их шумной возни. Дерево опустело. Да и я ощутил на душе какую-то пустоту. Что ни говори, а понравилось мне спать с сурикатами.

И с тех пор я ночевал только на дереве. Я перетащил со шлюпки все полезное и обустроился на ветвях с полным комфортом. Иногда сурикаты нечаянно меня царапали, но я привык. Было только одно неудобство: зверьки, случалось, гадили мне на голову с верхних веток.

Но однажды сурикаты разбудили меня сре-

ди ночи. Они лопотали и тряслись. Я привстал посмотреть, куда это они все уставились. С безоблачного неба светила полная луна. Яркой зелени как не бывало. Только странные черно-серо-белые переливы теней и лунного света. Ага, пруд. Темную воду рассекали поднимавшиеся из глубин серебряные силуэты.

Рыба. Мертвая рыба. Всплывала откуда-то снизу. Озерцо — а оно, если помните, в ширину было футов сорок, — прямо на глазах заполнялось всевозможной мертвой рыбой, на любой вкус, покуда его черную поверхность не затянуло пеленой серебра. А вода колыхалась по-прежнему — рыбы все прибывало.

Когда на поверхность бесшумно всплыла дохлая акула, сурикаты уже были вне себя от возбуждения — верещали, как тропические птицы. Истерика перекинулась и на соседние деревья. Я чуть не оглох. Интересно, увижу ли я, как они тащат рыбу на ветки?

Но ни единая суриката не спустилась к пруду. Они даже и не порывались слезть. Только визжали с досады.

Что-то во всем этом было зловещее. Чем-то вся эта дохлая рыба мне не нравилась.

Я снова улегся и ухитрился заснуть даже под

их дикие вопли. Ни свет ни заря сурикаты опять подняли тарарам — ринулись с дерева вниз. Позевывая и потягиваясь, я взглянул на пруд, из-за которого ночью они так всполошились.

Пруд опустел. Ну, почти. Но сурикаты тут были ни при чем. Они только-только начали нырять за остатками той былой роскоши.

Куда же подевалась рыба? Я растерялся. Может, пруд не тот? Да нет, он самый. А точно ли не сурикаты его опустошили? Да точно, точно. Куда уж им — вытащить из воды целую акулу, да еще и уволочь с глаз долой. А может, это Ричард Паркер? Отчасти, конечно, может быть, но не полный же пруд за одну ночь!

Ну и загадка! Сколько я ни пялился на пруд, сколько ни вглядывался в его глубины, подсвеченные зеленью стен, а что случилось с рыбой, так и не понял. Следующей ночью я наблюдал за ним — но больше рыбы не появлялось.

Разгадка обнаружилась позже — и не у пруда, а глубоко в лесной чаще.

Там, в самой глуши, деревья росли гуще и поднимались выше. Под ногами ничего не путалось — подлеска не было и в помине, но зато кроны над головой смыкались так плотно, что и неба не разглядеть — или, если угодно, разглядеть, но

сплошь зеленое. Деревья вторгались в пространство своих соседей, переплетаясь ветвями так тесно, что и не поймешь, где кончается одно и начинается другое. Бросалось в глаза, что стволы тут гладкие, ровные, без всех этих крохотных царапин, которые оставляли на коре других деревьев здешние древолазы. Оно и понятно: сурикаты тут попросту перебирались с дерева на дерево, не карабкаясь по стволам. В подтверждение тому я обнаружил, что на деревьях, опоясывавших центральную часть леса, коры почти не осталось. Это, видимо, и были ворота в древесный город сурикат, где жизнь бурлила почище, чем в Калькутте.

Здесь я и нашел то самое дерево. Не самое большое в лесу, не в самой его середине, да и вообще ничем таким не примечательное. Просто раскидистое, с удобными, ровными ветвями — вот и все. Отличное место, если захочется взглянуть на небо или приобщиться к полуночной жизни сурикат.

Могу даже сказать, когда именно я на это дерево набрел: за день до того, как покинул остров.

А приметил я его из-за плодов. Полог леса был однообразно зеленым, куда ни глянь, а плоды эти резко выделялись на фоне зелени черными

шариками. И ветви, на которых они росли, как-то чудно перекручивались. Я уставился во все глаза. До сих пор на всем острове не попадалось ни единого плодоносного дерева. Да и это, впрочем, не заслуживало такого названия. Плодоносили на нем лишь несколько веток. «Может, передо мной — что-то вроде пчелиной матки в мире деревьев?» — подумал я и опять подивился местным водорослям, уже в который раз поражавшим меня своими причудами.

Дерево было слишком высоким, но плоды все-таки хотелось попробовать. Так что я сходил за веревкой. Если сами водоросли такие вкусные, то каковы же плоды?

Я привязал веревку к самой нижней ветви и, ветка за веткой, сучок за сучком, взобрался в этот драгоценный крошечный садик.

При ближайшем рассмотрении плоды оказались тускло-зелеными. По размерам и форме — точь-в-точь апельсины. И каждый туго оплетен множеством тонких веточек — должно быть, для защиты. Ну да, а еще для опоры, — догадался я, поднявшись повыше. Каждый плод крепился к дереву десятками стебельков. Каждый был просто усыпан этими стебельками, а те, в свою очередь, соединялись с обвивавшими его веточками.

«Значит, они тяжелые и сочные», — заключил я. И подобрался еще ближе.

Я протянул руку и обхватил один из плодов. И меня постигло разочарование: до чего же он легкий! Почти ничего не весит. Я потянул его и оборвал со стебельков.

Я устроился со всеми удобствами на крепкой, толстой ветке, прислонившись спиной к стволу. Над головой у меня колыхалась пронизанная лучами солнца зеленая кровля. А вокруг, насколько хватало глаз, тянулись во все стороны извилистые улицы и переулки гигантского висячего города. Ласковый ветерок перебирал листву. Меня обуяло любопытство. Я внимательно рассматривал плод.

Ах, чего бы я не отдал, чтобы то мгновение не наступило никогда! Не приди оно, я, может статься, прожил бы на этом острове годы и годы — да что там, до конца моих дней! Ни за что, думал я, не вернусь больше в шлюпку, к страданиям и лишениям, которые я в ней перенес, — нет, ни за что! Чего ради мне расставаться с этим островом? Разве он не удовлетворяет все мои физические нужды? Да мне за всю жизнь не выпить столько пресной воды, сколько здесь скопилось! И водорослей столько не съесть. А

если захочу разнообразия — к моим услугам всегда будут сурикаты и рыба. Больше того: если остров и впрямь плавучий, то отчего бы ему не плыть в нужную сторону? Кто сказал, что мой растительный корабль не доставит меня в конце концов к настоящей суше? А тем временем — разве мало мне общества сурикат, этих прелестных малюток? Да и Ричарду Паркеру еще работать и работать над четвертым прыжком. За все время, что я здесь прожил, мне и в голову не приходило уплыть. С тех пор как я ступил на этот остров, прошло уже много недель — точно не знаю сколько, — но так будет продолжаться и впредь. В этом я был уверен на все сто.

Как же я ошибался.

Плод таил в себе семя — семя моего отплытия.

Да это и не плод вовсе! А просто листья, плотно слепленные в шарик. На самом-то деле все эти стебельки — черешки листьев. Стоило потянуть за черешок — и снимался очередной листик.

Сняв несколько слоев, я добрался до листьев, у которых уже не было черешков: они просто лепились к шарику. Я стал отковыривать их один за другим, поддевая ногтями. И обдирать — точь-в-точь как луковичную шелуху. Можно было, конечно, и попросту разломить этот «плод»

— как я до сих пор его называю за неимением лучшего слова — и утолить любопытство сразу, но я предпочел растянуть удовольствие.

Вот он уже съежился до размеров мандарина. А тонкая мягкая шелуха все сыпалась и сыпалась мне на колени и на нижние ветки.

Вот он уже как рамбутан.

До сих пор как вспомню — мороз по коже.

Не больше вишни.

И тогда зеленая устрица распахнула наконец свои створки и явила на свет чудовищную жемчужину.

Человеческий зуб.

Коренной. Весь в пятнах зелени и крошечных дырочках.

Ужас накатил не сразу. Хватило времени собрать остальные плоды.

В каждом был зуб.

В одном — клык.

В другом — малый коренной.

А вот и резец.

И еще один коренной.

Тридцать два зуба. Полный набор. Все на месте.

До меня начало доходить.

Нет, я не завизжал. По-моему, это только в кино

визжат от ужаса. А я просто содрогнулся и слез с дерева.

До вечера я промаялся, прикидывая всякие варианты. Ни один не внушал надежд.

Ночью, вернувшись на свое спальное дерево, я провел опыт. Снял одну сурикату с ветки и бросил вниз.

С громким писком она плюхнулась наземь. И тотчас бросилась обратно к дереву.

Вернулась ко мне под бок — с обычной для них наивностью. И тут же начала отчаянно вылизывать себе лапки. Похоже, ей крепко досталось. Пыхтела она вовсю.

Казалось бы — куда уж яснее? Но я хотел удостовериться сам. Я спустился по стволу, держась за веревку. Я давно уже навязал на ней узлы для удобства. Добравшись до самого низа, я задержался в каком-то дюйме от земли. Никак не мог решиться.

И все-таки спрыгнул.

Сначала я ничего не почувствовал. И вдруг обе ступни пронзила жгучая боль. Я взвизгнул. Чудом не упал. Изловчился схватиться за веревку и, подтянувшись, оторвался от земли. И принялся изо всех сил тереться о ствол подошвами. Полегчало — но самую малость. Я забрался на свою

ветку. Сунул ноги в ведро с водой, привязанное у постели. Вытер их насухо листьями. Достал нож и убил двух сурикат — попытался унять боль их внутренностями и кровью. Но подошвы все равно жгло. Всю ночь. Я так и не смог уснуть — и не только от боли: меня терзала тревога.

Остров был плотоядный. Вот почему рыба исчезла из того пруда. Остров как-то заманивал морскую рыбу в свои подземные ходы… уж не знаю, каким образом, — скорее всего, рыбы накидывались на эти водоросли так же жадно, как когда-то я сам. И попадались в ловушку. Может, не могли найти дорогу обратно? Или выходы закрывались? А может, содержание соли менялось так плавно, что пленницы просто не успевали заметить? В общем, как бы оно там ни было, они попадали в пресную воду и погибали. Часть из них всплывала на поверхность — эти-то жалкие крохи со стола острова-хищника и перепадали сурикатам. А ночью в результате каких-то химических процессов — не знаю каких, но, очевидно, под действием солнечного света прекращавшихся, — водоросли начинали выделять крепчайшую кислоту, и все эти озерца превращались в кислотные чаны, где рыба и переваривалась. Вот почему Ричард Паркер каждый вечер возвращался в

шлюпку. Вот почему сурикаты ночевали на деревьях. Вот почему на всем острове не сыскалось ничего, кроме водорослей.

И вот откуда взялись эти зубы. Я не первый ступил на этот берег кошмаров — какой-то бедолага приплыл сюда еще до меня. И сколько он здесь прожил — или то была она? Недели? Месяцы? *Годы?* Сколько унылых часов провел он в этом древесном царстве, не зная иного общества, кроме сурикат? Сколько грез о счастливой жизни разбилось? Сколько надежд обратилось в прах? Сколько взлелеянных в душе бесед так и умерло, не прозвучав? Сколько мук одиночества он претерпел? Сколько отчаяния выпало на его долю? И что от всего этого осталось? Что — в итоге?

Горстка эмалевых камешков, будто сдача в кармане, — вот и все. Должно быть, он умер прямо на дереве. От болезни? От увечья? От тоски? Сколько же времени должно пройти, чтобы сломленный дух убил тело, обеспеченное пищей, водой и укрытием от стихий? Деревья тоже были плотоядные, но кислоту выделяли совсем слабенькую — по крайней мере, на них спокойно можно было продержаться ночь, пока поверхность острова истекала желудочным соком. Но когда тот бедняга умер и перестал шевелиться, дерево медленно

оплело его и переварило — истлели даже кости, высосанные досуха. А со временем наверняка и зубы исчезли бы.

Я обводил взглядом все эти водоросли. И в душе вскипала злоба. Сколько бы лучезарных надежд ни вселяли они днем, все померкло перед лицом их ночного вероломства.

— Только зубы — вот и все! — бормотал я. — ЗУБЫ!

И к утру решение созрело бесповоротно. Чем влачить на этом смертоносном острове убогое, одинокое существование, сулящее телу все удобства, но обрекающее дух на смерть, лучше уж я погибну в поисках себе подобных. Я наполнил пресной водой все, что можно, и напился, как верблюд. Я набивал брюхо водорослями целый день — до отвала. Я убил и освежевал уйму сурикат — и ящик заполнил, и прямо на дно шлюпки набросал, сколько влезло. Обошел пруды и снял последний урожай дохлой рыбы. Вырубил топориком целую глыбу водорослей, продел сквозь нее веревку и привязал к шлюпке.

Оставить Ричарда Паркера на острове я не мог. Бросить его тут — все равно что убить своими руками. Он и первой ночи не протянет. А я, сидя в своей шлюпке один-одинешенек на закате, буду

думать, как он там сгорает заживо. Или тонет, с отчаяния бросившись в море. Так что я не спешил — дожидался, пока он вернется. Он не опоздает, я знал.

Только лишь он забрался на борт, я отвалил от берега. Несколько часов мы болтались возле острова — течение не отпускало. Звуки моря меня раздражали. И от качки я успел отвыкнуть. Ночь тянулась медленно.

Утром остров исчез, а с ним — и глыба водорослей, которую мы тащили на буксире. За ночь веревку разъело кислотой.

Море было неспокойное, небо пасмурное.

93

Я устал от такого существования, бесцельного, как перемены погоды. Но продолжал тянуть лямку. Кроме бедствий, боли и долготерпения, рассказывать тут больше не о чем.

Как возвышенное нуждается в низменном, так и дольнее — в горнем. Верно вам говорю: попади вы в передрягу вроде моей — тоже устремились бы душой к небесам. Чем ниже падаешь, тем выше заносишься в мыслях. Так что в те дни отчаяния и лишений, в страданиях, не ослабевавших ни на миг, мне не осталось ничего, как только обратиться к Богу.

94

Когда мы добрались до суши — до Мексики, если быть точным, — я уже так обессилел, что даже обрадоваться толком не мог. Ну и намучились же мы с высадкой! Прибой чуть не опрокинул шлюпку. Я выбрасывал якоря — то, что от них осталось, — на всю длину, чтобы удержаться перпендикулярно к волне, а когда нас поднимало на гребень — выбирал. Таким вот манером мы и продвигались вперед — то вытравляя, то выбирая оба якоря. Рискованное было дело. Но наконец удалось оседлать волну в нужной точке — она подхватила нас и бросила далеко вперед, поверх рушащихся один за другим высоких валов. Я в последний раз выбрал якоря, а там уже волны сами прибили нас к берегу. Шлюпка зашуршала по песку и встала.

Я переполз за борт. Никак не решался разжать руки — боялся утонуть тут, в воде по колено, в двух шагах от спасения. Наконец поднял голову — прикинуть, далеко ли идти. И тут в последний раз моему взору предстал Ричард Паркер: он перемахнул через меня именно в этот миг. Я успел разглядеть, как тело его, во всей своей безмер-

ной мощи, вытянулось в воздухе надо мной и промелькнуло меховой радугой. Он плюхнулся на мелководье — задние лапы растопырились, хвост трубой; еще пара скачков — и он уже на берегу. Направился было влево, оставляя за собой в мокром песке глубокие вмятины, но передумал и развернулся. Пустился вправо, мимо шлюпки. На меня даже не глянул. Ярдов сто пробежал вдоль воды, потом только повернул от берега. Двигался он неуклюже, несобранно. Несколько раз упал. На опушке леса остановился. Ну точно, сейчас обернется. Посмотрит на меня. Прижмет уши. Зарычит. В общем, поставит точку в наших отношениях. Как бы не так! Он стоял, напряженно вглядываясь в чащу. А потом Ричард Паркер — мой товарищ по несчастью, чудовищный, лютый зверь, ставший моим спасителем, — двинулся прочь и исчез из моей жизни навсегда.

Я доковылял до берега и рухнул на песок. Огляделся вокруг. Теперь я был совсем один: все меня оставили, не только родные, но и Ричард Паркер, и даже Бог — показалось мне в то мгновение. Но нет, конечно же нет. Этот песчаный пляж — такой мягкий, такой твердый, такой большой, точно щека Господня; а где-то там еще — улыбающийся рот и глаза, сияющие от удовольствия, что

я наконец-то здесь.

Через несколько часов меня нашел мне подобный. Он убежал, но вернулся, привел других. Пятерых или шестерых. Они подошли ко мне, прикрывая носы и рты руками. «Интересно, что это с ними?» — подумал я. Они заговорили со мной на незнакомом языке. Вытащили шлюпку на берег. Понесли меня куда-то. Отобрали у меня и выбросили кусок черепашьего мяса, который я захватил со шлюпки.

Я плакал как ребенок. Не оттого, что вышел живым изо всех испытаний, хотя, конечно, это меня потрясло. И не потому, что наконец-то рядом со мной — мои братья и сестры, хотя и это тоже глубоко меня тронуло. Плакал я из-за того, что Ричард Паркер так бессовестно меня бросил. Так испортить прощание — что может быть хуже? Я ведь из тех, кто верит в силу церемоний, в гармонию порядка. Надо придавать всему осмысленную форму, если только возможно. Вот скажите, например: вы смогли бы изложить мою сумбурную историю в сотне глав — ровным счетом, не больше и не меньше? Знаете, кое-что я в своем прозвище все-таки терпеть не могу: то, что цифры никак не кончаются. Нужно, чтобы все заканчивалось честь по чести. Тогда только

оно и уходит. А иначе остаешься один на один со словами, которые так и не сказал, хотя и надо было, и сожаления ложатся на сердце камнем. До сих пор огорчаюсь, как припомню это скомканное прощание. А ведь мне всего-то и надо было посмотреть еще разок, как он сидит в шлюпке, да поддразнить его чуток, привлечь к себе внимание. А потом сказать ему — ну да, понимаю, он тигр, но все равно, — так вот, сказать ему напоследок: «Все позади, Ричард Паркер. Мы выжили. Представляешь? Я так тебе благодарен — просто слов нет. Без тебя я бы не справился. Давай все-таки скажу, как полагается: спасибо тебе, Ричард Паркер. Ты спас мне жизнь. Ну а теперь ступай куда знаешь. Ничего-то ты не знал в своей жизни, кроме свободы в плену зоопарка, — но теперь познаешь плен в свободе джунглей. Удачи тебе там. Берегись человека. Он тебе не друг. Но меня ты, надеюсь, запомнишь как друга. А уж я тебя никогда не забуду, так и знай. Ты останешься со мной навсегда, в моем сердце. Что это там шуршит? А-а-а, это наша шлюпка села на отмель. Ну что ж, прощай, Ричард Паркер, прощай. Бог тебе в помощь».

Люди отнесли меня в деревню, а там какие-то женщины принялись меня мыть да скрести так

усердно, что я испугался: а вдруг они не понимают, что я отроду смуглый, — думают, будто я белый, просто очень грязный? Я попытался объяснить. Но они только кивали, улыбались и знай себе драили мою спину, как матрос палубу. Чуть не ободрали заживо. Но зато дали мне еды. И какой! И как я на нее набросился — стоило только начать. Все ел и ел — думал, уже никогда не наемся досыта.

На следующий день приехала полиция, меня увезли в больницу, и на том моя история кончается.

Что меня потрясло, так это щедрость моих спасителей. Бедняки делились со мной едой и одеждой. Врачи и нянечки заботились обо мне, как о недоношенном младенце. Чиновники в Мексике и Канаде распахнули мне все двери: путь от мексиканского побережья в дом приемной матери и дальше, в аудитории Торонтского университета, пролег передо мной длинным прямым коридором — только и оставалось, что прошагать. Всем этим людям я хотел бы высказать самую искреннюю благодарность.

Часть III
БОЛЬНИЦА «БЕНИТО ХУАРЕС», ТОМАТЛАН, МЕКСИКА

95

Господин Томохиро Окамото, из Управления торгового флота при Министерстве транспорта Японии, ныне пребывающий на пенсии, рассказал мне, что как раз в то время, когда он находился вместе со своим подчиненным, господином Ацуро Чибой, по служебным делам в Калифорнии, в Лонг-Бич — главном торговом порту на западном побережье Америки, неподалеку от Лос-Анджелеса, — им сообщили, что на мексиканском побережье, в небольшом городке Томатлан, нашелся единственный уцелевший человек с японского судна «Цимцум», которое несколько месяцев назад пропало без вести в международных водах Тихого океана. Управление откомандировало их в Мексику переговорить с этим человеком и, если можно, выяснить, что произошло с судном. Они купили карту Мексики и стали искать на ней Томатлан. К сожалению, карта была сложена так, что одна складка проходила по всей Нижней Калифорнии как раз через крохотный прибрежный городок под названием Томатан, напечатанным мелкими буквами. И господину Окамото показалось, что это и

есть Томатлан. Поскольку городок этот лежал меньше чем на полпути через всю Нижнюю Калифорнию, он решил, что быстрее всего туда добраться на автомобиле.

Они взяли напрокат машину и поехали. А когда прибыли в Томатан, в восьмидесяти километрах к югу от Лонг-Бич, и увидели, что это никакой не Томатлан, господин Окамото решил ехать дальше, еще на двести километров южнее, сесть там на паром и переправиться через Калифорнийский залив в Гуаймас. Рейс задержался, потому как паром шел медленно. Между тем от Гуаймаса до Томатлана оставалось еще тысяча триста километров. Дороги там очень плохие. И у них сдулась шина. Да и машина забарахлила, а механик, взявшийся починить двигатель, вытащил из него тайком новенькие детали и заменил на старые — за подмену пришлось платить прокатной конторе, к тому же из-за этого машина снова сломалась, уже на обратном пути. Другой механик содрал с них за ремонт втридорога. Господин Окамото признался мне, что они едва держались на ногах, когда в конце концов добрались до больницы «Бенито Хуарес» в Томатлане, который находился ни в какой не в Нижней Калифорнии, а в сотне километров от Пуэрто-Вальярты, в

штате Халиско, на одной широте с Мехико. Они проехали без остановки сорок один час. «Нам к такому не привыкать», — признавался потом господин Окамото.

Вместе с господином Чибой они говорили с Писином Молитором Пателем на английском около трех часов и записали разговор на магнитофон. Ниже я привожу запись их беседы дословно. Я благодарен господину Окамото за то, что он передал мне копии этой записи и своего заключительного отчета. Для большей ясности я отметил, кто о чем говорит, в тех случаях, когда это было не совсем понятно. Фразы, выделенные курсивом, звучали по-японски — их я перевел сам.

96

— Здравствуйте, господин Патель. Меня зовут Томохиро Окамото. Я из Министерства транспорта Японии. Это мой помощник, Ацуро Чиба. Мы хотели бы расспросить вас о крушении судна «Цимцум», на котором вы были пассажиром. Можно ли с вами побеседовать?

— Да, конечно.

— Спасибо. Очень любезно с вашей стороны. Ну, Ацуро-кун, вы в этих делах новичок, так что слушайте внимательно и учитесь.

— Да, Окамото-сан.

— Запись включена?

— Да.

— Хорошо. Ох, как я устал! Для записи: сегодня девятнадцатое февраля тысяча девятьсот семьдесят восьмого года. Дело номер 250663, об исчезновении сухогруза «Цимцум». Вам так удобно, господин Патель?

— Да. Спасибо. А вам?

— Нам очень удобно.

— Вы что, прямо из Токио?

— Мы были в Лонг-Бич, это в Калифорнии. Приехали оттуда на машине.

— Хорошо прокатились?

— Замечательно. Прекрасное путешествие.

— А вот у меня было ужасное путешествие.

— Да, мы говорили там с полицейскими и видели шлюпку.

— Что-то есть хочется.

— Хотите печенья?

— О да!

— Вот, пожалуйста.

— Спасибо!

— Не за что. Это всего лишь печенье. Итак, господин Патель, не могли бы вы рассказать нам, что с вами произошло, — и как можно подробнее?

— Конечно. С удовольствием.

97

Рассказ.

Г-н Окамото: — Очень интересно.

Г-н Чиба: — Вот так история.

— *Он нас за дураков держит.* Господин Патель, мы сейчас сделаем маленький перерыв, а потом вернемся, ладно?

— Отлично. Я бы еще печенья съел.

— Да, разумеется.

Г-н Чиба: — *Мы ему уже столько дали, а он и не съел почти ничего. Вон оно у него, там, под простыней.*

— *Неважно. Дайте еще. Надо его задобрить.* Мы через пару минут вернемся.

99

Г-н Окамото: — Господин Патель, мы вам не верим.

— Прошу прощения… хорошее печенье, вот только крошится. Странно… Почему нет?

— Кое-что не сходится.

— В каком смысле?

— Бананы не плавают.

— Что-что?

— Вы сказали, что орангутан приплыл на островке из бананов.

— Так и было.

— Но бананы не плавают.

— Плавают, еще как.

— Они слишком тяжелые.

— Ничего подобного. Да вот, проверьте сами. У меня тут как раз два банана.

Г-н Чиба: — *Откуда они взялись? У него там что, целый склад под простыней?*

Г-н Окамото: — *Вот черт!* Не надо, не надо.

— Вон там — раковина.

— Спасибо, лучше не надо.

— Нет, я настаиваю. Налейте воды в раковину, бросьте туда бананы, и посмотрим, кто из нас

прав.

— Давайте лучше продолжим.

— Нет, я требую!

[Пауза.]

Г-н Чиба: — *Что же делать?*

Г-н Окамото: — *Сдается мне, сегодня будет еще один долгий день.*

[Скрежет отодвигаемого стула. Издалека — шум воды, льющейся из крана.]

Пи Патель: — Ну, что там? Мне отсюда не видно.

Г-н Окамото [издали]: — Наполняю раковину.

— Бананы уже бросили?

[Издали]: — Нет.

— А теперь?

[Издали]: — Бросил.

— Ну?

[Пауза.]

Г-н Чиба: — *Ну что, они плавают?*

[Издали]: — *Плавают.*

— Ну так что, плавают они?

[Издали]: — Плавают.

— А что я говорил?

Г-н Окамото: — Да-да. Но чтобы орангутан удержался, надо очень много бананов.

— Их и было много. Почти тонна. До сих пор зло

берет, как подумаю: столько бананов — и все псу под хвост, а ведь я запросто мог бы собрать их.

— Да, обидно. Ну а теперь…

— Отдайте мои бананы, пожалуйста.

Г-н Чиба: — *Я принесу.*

[Скрежет отодвигаемого стула.]

[Издали]: — *Надо же, и вправду плавают.*

Г-н Окамото: — А что насчет этого острова из водорослей, на котором вы якобы высадились?

Г-н Чиба: — Вот ваши бананы.

Пи Патель: — Спасибо. Да, что?

— Прошу прощения за откровенность, не хотелось бы задеть ваших чувств, но все же… вы и в самом деле думали, что мы вам поверим? Плотоядные деревья? Водоросли, питающиеся рыбой и опресняющие морскую воду? Грызуны-рыболовы, да еще древолазы в придачу? Такого просто быть не может!

— Просто вы сами ничего такого не видели.

— Вот именно. Мы верим в то, что видим.

— Ни дать ни взять Колумбы. А как вы обходитесь в темноте?

— Ваш остров — нонсенс с точки зрения ботаники.

— Сказала муха, садясь на венерину мухоловку.

— Почему же его до сих пор никто не обнаружил?

— Океан велик, и все суда спешат по своим делам. А я двигался медленно и за многим мог наблюдать.

— Ни один ученый вам не поверит.

— Копернику и Дарвину тоже никто не верил. Разве ученые не открывают новые виды растений? Да хоть в том же бассейне Амазонки!

— Никакое растение не может противоречить законам природы!

— А вы, стало быть, их знаете от и до?

— Достаточно, чтобы отличить возможное от невозможного.

Г-н Чиба: — Мой дядя — знаток ботаники. Он живет в деревне близ Хита-Гуна. Он — мастер бонсай.

Пи Патель: — Чего?

— Мастер бонсай. Ну, бонсай, — знаете, такие маленькие деревья?

— Кусты, что ли?

— Нет, деревья. Бонсай — это маленькие деревья. Не выше двух футов. Их можно на руках переносить с места на место. Они очень старые бывают. У моего дяди есть одно такое — ему больше трехсот лет.

— Трехсотлетние деревья высотой в два фута, да еще и переносные?

— Да. Они очень хрупкие. Нуждаются в бережном уходе.

— Да где это слыхано? Это же нонсенс — с точки зрения ботаники!

— Да нет же, господин Патель, уверяю вас! У моего дяди…

— Я верю в то, что вижу.

Г-н Окамото: — Минутку, пожалуйста. *Ацуро, при всем уважении к вашему дяде из деревни близ Хита-Гуна, вынужден напомнить, что мы сюда приехали не о ботанике болтать.*

— Я просто пытаюсь помочь…

— Бонсай вашего дяди едят мясо?

— Вряд ли.

— А кусаются?

— Нет.

— *Ну, тогда бонсай вашего дяди нам не помогут*. Так, на чем мы остановились?

Пи Патель: — На высоких деревьях, о которых *я* вам рассказывал. Деревьях нормальной величины, крепко коренящихся в земле.

— Нет, давайте пока их отставим.

— Трудновато будет. Я, честно сказать, не пытался их носить с места на место.

— Да вы, я вижу, шутник, господин Патель! Ха-ха-ха!

Пи Патель: — Ха-ха-ха!

Г-н Чиба: — Ха-ха-ха! *Ничего смешного.*

Г-н Окамото: — *Смейтесь, смейтесь*. Ха-ха-ха!

Г-н Чиба: — Ха-ха-ха!

Г-н Окамото: — Теперь насчет тигра — тут мы тоже не уверены…

— В каком смысле?

— Трудно в это поверить.

— Да, просто невероятно.

— Вот именно.

— И как я только выжил, не понимаю.

— Да, нелегко вам пришлось.

— А можно еще печенья?

— Уже кончилось.

— А что там — во-он в том пакете?

— Ничего особенного.

— Можно взглянуть?

Г-н Чиба: — *Прощай, наш завтрак.*

Г-н Окамото: — Возвращаясь к тигру…

Пи Патель: — Страшное дело. О-о-о, какие вкусные сэндвичи!

Г-н Окамото: — Да, на вид — ничего.

Г-н Чиба: — *Есть хочется.*

— Так вот, от тигра — никаких следов. Трудно-

вато в такое поверить, а? Тигры на американском континенте не водятся. Появись тут дикий тигр, полицию бы уже давным-давно известили, как вы думаете?

— Сразу видно — не слыхали вы про пантеру, которая сбежала из Цюрихского зоопарка среди зимы.

— Господин Патель! Тигр — невероятно опасный дикий зверь. Как вам удалось выжить с ним в одной шлюпке? Это…

— Вы просто не понимаете, что с точки зрения диких зверей мы сами — опасные чужаки. Они нас боятся. И стараются нас избегать всеми силами. Сколько веков ушло, чтобы заглушить этот страх в некоторых животных, и то самых внушаемых, чтобы их, как это называют, *одомашнить*! Но большинство нас боятся по-прежнему — и так будет всегда. Если дикий зверь бросается на нас — значит, он в полном отчаянии. Они нападают, только когда не видят другого выхода. Для них это — последний шанс.

— *Но в одной шлюпке?..* Нет уж, господин Патель, все равно это невероятно.

— Невероятно? Да что вы понимаете в невероятных вещах? Хотите невероятного? Сейчас я вам расскажу невероятное. Это секрет, который

знают только владельцы индийских зоопарков. В тысяча девятьсот семьдесят первом году белая медведица Бара сбежала из Калькуттского зоопарка. С тех пор о ней — ни слуху ни духу; ни полицейские ее не видели, ни охотники, ни браконьеры, никто. Мы-то думаем, она по сей день живет себе на берегах реки Хугли. Так что, любезные господа, поосторожней там, если попадете в Калькутту: кто их, белых медведей, разберет, — может, они идут на запах суши! Если взять Токио, перевернуть вверх дном, да еще как следует встряхнуть, вы диву дадитесь, сколько зверья посыплется наружу: будут вам и барсуки, и волки, и удавы, и комодские драконы, и крокодилы, и страусы, и бабуины, и водосвинки, и кабаны, и леопарды, и ламантины, — а каких только жвачных там не отыщется! Верно вам говорю: в вашем Токио дикие жирафы и дикие гиппопотамы живут поколениями — и ни одна душа их не замечает. Посмотрите как-нибудь, что налипло на ваши подошвы на улице, и сравните с тем, что лежит в Токийском зоопарке на дне клеток… и поднимите голову! А вы еще надеетесь найти тигра в мексиканских джунглях! Да это же смех один, просто смех! Ха-ха-ха!

— Никто не спорит, что в Токио могут водиться

дикие жирафы и дикие гиппопотамы, а в Калькутте живет на воле белая медведица. Просто мы не верим, что в вашей шлюпке жил тигр.

— Вот она, столичная спесь во всей красе! В ваших мегаполисах, значит, могут водиться все твари Эдема, а моей скромной деревушке вы отказываете в обыкновенном бенгальском тигре!

— Господин Патель, пожалуйста, успокойтесь.

— Если для вас все упирается в правдоподобие, то чего ради вы вообще живете? Разве поверить в любовь так уж легко?

— Господин Патель…

— И не давите на меня своей вежливостью! В любовь тоже трудно поверить, спросите любого влюбленного. В жизнь тоже трудно поверить, спросите любого ученого. В Бога тоже трудно поверить, спросите любого верующего. Что же вы заладили — «трудно поверить», «трудно поверить»?

— Мы просто стараемся рассуждать разумно.

— Я тоже! Я только и делал, что разумно рассуждал. Разум — самое то, что надо для добывания пищи, одежды и крова. Тут с ним ничто не сравнится. И для защиты от тигров разум — самое лучшее средство. Но если вы начнете рассуждать чересчур разумно, то, глядишь, вместе с водой

выплеснете из ванны Вселенную.

— Успокойтесь, господин Патель, успокойтесь.

Г-н Чиба: — *Что за вода из ванны? О чем это он?*

— Как же мне успокоиться? Вы бы видели Ричарда Паркера!

— Да-да.

— Громадина! Зубы — во! Клыки — ятаганы!

Г-н Чиба: — *Что такое ятаганы?*

Г-н Окамото: — *Чиба-сан, вместо того чтобы задавать дурацкие вопросы, на которые можно найти ответ в любом словаре, вы бы лучше что-нибудь придумали! Этот мальчишка — крепкий орешек. Сделайте же что-нибудь!*

Г-н Чиба: — Смотрите! Шоколадка!

Пи Патель: — Вот здорово!

[Долгая пауза.]

Г-н Окамото: — *Мало ему нашего завтрака. Скоро темпуру потребует!*

[Долгая пауза.]

Г-н Окамото: — Мы упускаем из виду цель нашего расследования. Мы приехали расспросить вас о крушении сухогруза. Вы — единственный, кому удалось спастись. И всего лишь пассажир. Так что вы не несете никакой ответственности за случившееся. Мы…

— Какая вкусная шоколадка!

— Мы не собираемся предъявлять вам никаких обвинений. Вы — ни в чем не повинная жертва кораблекрушения. Мы всего лишь пытаемся установить, почему и как затонул «Цимцум». Мы надеялись, что вы поможете нам, господин Патель.

[Пауза.]

— Господин Патель?

[Пауза.]

Пи Патель: — Тигры существуют, шлюпки существуют, океаны существуют. Только из-за того, что три эти вещи никогда не сходились воедино в узких рамках вашего ограниченного опыта, вы отказываетесь поверить в то, что подобное возможно. Но факт остается фактом: «Цимцум» свел их вместе, а потом затонул.

[Пауза.]

Г-н Окамото: — А как насчет того француза?

— Что насчет француза?

— Два слепца, плывущие каждый в своей шлюпке, встречаются посреди Тихого океана… не слишком ли странно для простого совпадения?

— Странно, конечно.

— Нам это представляется очень маловероятным.

— Как и выигрыш в лотерею — притом что всегда кто-нибудь да выигрывает.

— Нам в это поверить *чрезвычайно* трудно.

— Мне тоже.

— *Так и знал, что надо было взять выходной.* Вы с ним говорили о еде?

— Ну да.

— А он неплохо разбирался в еде.

— Если это можно назвать едой.

— Кок на «Цимцуме» был французом.

— Французов по всему свету полным-полно.

— Может, этот ваш француз и был тот самый кок?

— Может. Я почем знаю? Я же его так и не увидел. Я тогда вообще ничего не видел. А потом Ричард Паркер сожрал его живьем.

— Очень кстати!

— Ничего подобного. Это было ужасно, отвратительно! А между прочим, как вы объясните, откуда в шлюпке взялись кости сурикат?

— Да, кости какого-то мелкого зверька…

— И не одного!

— …каких-то мелких зверьков в шлюпке действительно были. Очевидно, они попали туда с судна.

— У нас в зоопарке не было сурикат.

— У нас нет доказательств, что эти кости принадлежали именно сурикатам.

Г-н Чиба: — Может, это банановые кости! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!

— *Ацуро! Заткнитесь!*

— *Прошу прощения, Окамото-сан. Это все от усталости.*

— *Вы подрываете престиж министерства.*

— *Прошу меня простить, Окамото-сан.*

Г-н Окамото: — Это могли быть кости других животных.

— Это были сурикаты.

— Возможно, мангустов.

— Мангустов нам не удалось продать. Они остались в Индии.

— Мангусты могли жить на судне как паразиты, вроде крыс. В Индии мангустов много.

— Мангусты — как судовые паразиты?

— Почему бы и нет?

— И чтобы они бросились в бурное море и доплыли до шлюпки? Да еще и целой компанией? В *это* вам поверить легко?

— Не так трудно, как в некоторые вещи из тех, что мы услышали за последние два часа. Может, мангусты уже были в шлюпке, как та крыса, о которой вы рассказывали.

— Ну и чудеса — столько разного зверья в одной шлюпке!

— Да, чудеса.

— Прямо джунгли какие-то!

— Точно.

— Эти кости — кости сурикат. Отдайте их на экспертизу.

— Их не так уж много осталось. И голов не нашли.

— Я на них рыбу ловил.

— Едва ли эксперт отличит кости сурикаты от костей мангуста.

— Найдите себе патозоолога.

— Ладно, господин Патель! Ваша взяла. Мы не можем объяснить, откуда в шлюпке взялись кости сурикат, — если, конечно, это были сурикаты. Но мы здесь не за этим. Мы здесь потому, что приписанный к панамскому порту японский сухогруз из судоходной компании «Ойка» затонул в Тихом океане.

— Это-то я ни на минуту не забываю. Вся моя семья погибла.

— Нам очень жаль.

— Но не так, как мне.

[Долгая пауза.]

Г-н Чиба: — *Ну и что теперь делать?*

Г-н Окамото: — *Не знаю.*

[Долгая пауза.]

Пи Патель: — Хотите печенья?

Г-н Окамото: — Да, с удовольствием. Спасибо.

Г-н Чиба: — Спасибо.

[Долгая пауза.]

Г-н Окамото: — Славный сегодня денек.

Пи Патель: — Да. Солнечный.

[Долгая пауза.]

Пи Патель: — Вы в Мексике впервые?

Г-н Окамото: — Да.

— И я.

[Долгая пауза.]

Пи Патель: — Значит, не понравился вам мой рассказ?

Г-н Окамото: — Ну что вы, очень понравился. Правда, Ацуро? Мы его не скоро забудем.

Г-н Чиба: — Да, точно.

[Пауза.]

Г-н Окамото: — Но в интересах нашего расследования хотелось бы знать, что произошло на самом деле.

— Что произошло на самом деле?

— Да.

— Значит, хотите другой рассказ?

— О-ох… нет. Нам хотелось бы знать, что про-

изошло на самом деле.

— Но ведь когда что-то рассказываешь, всегда получается рассказ!

— О-ох… может быть, по-английски и так. Но если по-японски, то во всяком рассказе есть доля *вымысла.* А нам никаких вымыслов не надо. Нам нужны «голые факты», как это вы говорите по-английски.

— Но ведь когда о чем-то рассказываешь в словах — по-английски, по-японски, неважно, — все равно без вымысла не обойтись! Даже когда просто глядишь на этот мир — все равно уже что-то выдумываешь!

— О-ох…

— Мир же не просто такой, как есть. Он таков, как мы его понимаем, да? А когда что-то понимаешь, то привносишь в него что-то свое, да? И разве сама жизнь таким образом не превращается в рассказ?

— Ха-ха-ха! Да вы, я вижу, умный человек, господин Патель!

Г-н Чиба: — *О чем это он толкует?*

— *Понятия не имею.*

Пи Патель: — Значит, вам нужны слова, отражающие действительность?

— Да.

— Слова, не противоречащие действительности?

— Вот именно.

— Но ведь тигры не противоречат действительности.

— О-о-о, нет! Пожалуйста, только без тигров!

— Я понял, чего вы хотите. Вам нужен такой рассказ, который вас не удивит. Который только подтвердит то, что вы и так уже знаете. Который не заставит вас смотреть выше, дальше или по-иному, чем вы привыкли. Короче, вам нужен скучный рассказ. Мертвая история. Пресные, голые факты действительности.

— О-ох…

— История без зверей.

— Да!

— Без тигров и орангутанов.

— Вот-вот.

— Без гиен и зебр.

— Да-да.

— Без сурикат и мангустов.

— Точно, они нам не нужны.

— Без жирафов и гиппопотамов.

— Да, а не то мы заткнем уши!

— Значит, я вас правильно понял. Хотите историю без зверей.

— Историю без зверей, которая объяснит, почему затонул «Цимцум».

— Сейчас, минутку.

— Конечно. *Кажется, мы наконец к чему-то подобрались. Будем надеяться, он хоть что-нибудь здравое скажет.*

[Долгая пауза.]

— Ну, вот другая история.

— Отлично.

— Судно затонуло. С гулким, утробным скрежетом — будто рыгнуло. Обломки всплыли, а потом исчезли. Я барахтался посреди Тихого океана. Плыл к шлюпке. До чего же трудно было — как никогда! Казалось, я не двигаюсь с места. И воды уже наглотался. И замерз до полусмерти. Слабел с каждым гребком. Так бы я и потонул там, если бы не кок: он бросил мне спасательный круг и втащил на борт. Я забрался в шлюпку и рухнул без сил.

Нас было четверо. Чуть погодя матушка добралась до шлюпки, держась за связку бананов. А кок уже был там, и матрос тоже.

Он ел мух. В смысле — кок. Еще и суток не прошло; запасов еды и воды хватило бы не на одну неделю; и рыболовные принадлежности у нас были, и солнечные опреснители; и никаких

оснований сомневаться, что нас скоро спасут. А он все равно махал руками — хватал мух на лету и заглатывал. Перед ним уже маячил зловещий призрак голода. А нас он обзывал чокнутыми дураками — за то, что не желаем присоединиться к дармовому угощению. Тошно смотреть было, но мы не подавали виду. Мы с ним держались очень вежливо. Он ведь был чужой человек, да к тому же иностранец. Матушка только улыбалась, качала головой и поднимала руку — дескать, спасибо, не надо. Тошнотворный был тип. Пасть — как помойка. Он и крысу сожрал. Только разделал сначала и высушил на солнце. Я — положа руку на сердце — тоже кусочек съел, малюсенький совсем, когда матушка отвернулась. Очень уж есть хотелось. А он был лицемерная скотина, кок этот, да еще брюзга, каких поискать.

Матрос был молодой. Ну, постарше меня, — лет двадцать с небольшим, наверное, — но он сломал ногу, когда спрыгнул с палубы, и от боли стал совсем как ребенок. Красивый. Лицо чистое, гладкое — ни щетинки. И такое утонченное: скулы широкие, нос приплюснутый, глаза-щелочки. Ну ни дать ни взять китайский император. Мучился он ужасно. По-английски — ни бе ни ме, вообще ни словечка не знал, ни тебе «здрасте»,

ни «спасибо», ни хотя бы «да» или «нет». Только по-китайски. И мы ни слова не понимали. Наверное, ему очень одиноко было. Когда он плакал, матушка держала его голову у себя на коленях, а я брал его за руку. Очень-очень печально все это было. Он так страдал — а мы ничего не могли поделать.

А перелом дрянной был — открытый, на правом бедре. Кость наружу торчала. Матрос визжал от боли. Мы вправили ему кость как могли и заботились о нем, кормили и поили. Но рана загноилась. Хоть мы и очищали ее каждый день, становилось только хуже. Скоро у него почернела и вздулась стопа.

А то, что случилось потом, — это кок затеял. Скотина он был. Помыкал нами как хотел. Нашептал нам, что гангрена пойдет выше и матрос умрет, если ногу не отрезать. Ничего сложного, ведь перелом в бедре, надо только разрезать мясо и наложить жгут. Этот мерзкий шепот у меня до сих пор в ушах стоит. Он, так и быть, спасет матроса, возьмет черную работу на себя, но мы должны будем крепко держать его. Надо застать его врасплох — обезболивающего-то нет. И мы навалились на него, все разом. Мы с матушкой держали его за руки, а кок сел на здоровую ногу.

Матрос визжал и извивался. Грудь у него так и ходила ходуном. А кок орудовал ножом — он свое дело знал. Нога отвалилась. Мы с матушкой тут же отпустили его и отступили. Думали, как только его перестанут держать, он и вырываться перестанет. Думали, успокоится и будет себе лежать. Как бы не так! Он тотчас сел. Если б мы только могли разобрать, о чем он кричит! А он все визжал и визжал, а мы смотрели, не в силах отвернуться. Кругом все в крови было. А самое страшное — что бедняга матрос так разошелся, а нога лежала себе преспокойненько на дне. И матрос все смотрел и смотрел на нее, будто взглядом умолял вернуться. А потом наконец-таки рухнул навзничь. Мы тут же взялись за дело. Кок натянул кожу на оголенную кость. Мы замотали культю тряпкой и перевязали веревкой бедро повыше раны, чтобы остановить кровь. Потом уложили его на груду спасательных жилетов и укрыли потеплее. Зря старались. Разве вынести человеку такую боль, такое зверство? Целый вечер и всю ночь он стонал, дышал хрипло, прерывисто. Время от времени о чем-то возбужденно бредил. Я думал, до утра не дотянет.

Но он цеплялся за жизнь. Солнце взошло — а он так и не умер. Но и в себя толком не пришел

— то очнется, то опять забудется. Матушка дала ему воды. А я вдруг заметил отрезанную ногу. У меня прямо дух перехватило. Вчера ее куда-то отпихнули в суете да так и забыли. За ночь из нее вытек сок, и она стала вроде как тоньше. Я взял спасательный жилет — вместо перчатки. И поднял эту жуткую ногу.

— Ты что делаешь? — встрепенулся кок.

— Хочу выбросить ее за борт, — ответил я.

— Ты что, сдурел? Мы ее используем как наживку. Для того все и затевалось.

Тут он живо захлопнул рот и отвернулся — сообразил небось, что сболтнул лишнего. Но слово не воробей.

— *Для того и затевалось?* — переспросила матушка. — Что вы имеете в виду?

Он прикинулся, что не слышит. Матушка повысила голос:

— Вы хотите сказать, что мы отрезали бедному мальчику ногу не для того, чтобы его спасти, а *чтобы получить наживку*?

Но этот скот точно воды в рот набрал.

— Отвечайте же! — крикнула матушка.

Он вскинул глаза и впился в нее злобным взглядом, будто загнанный в угол зверь.

— Запасы кончаются, — рявкнул он. — Нужно

больше еды, а не то мы все сдохнем.

— Да у нас запасов хоть отбавляй! — напустилась на него матушка. — И еды, и воды полно. Уж как-нибудь перебьемся на галетах, пока нас не разыщут.

Она схватила пластмассовую коробку, в которую мы сложили распечатанные упаковки галет. Вот так сюрприз! Почему она такая легкая? Мамина рука дрогнула, и в коробке затарахтели крошки — жалкие остатки вчерашнего изобилия.

— Что это значит?! — Матушка сняла крышку. — Где галеты? Вчера была полная коробка!

Кок отвел глаза. И я тоже.

— Ты, эгоистичное чудовище! — взвизгнула матушка. — Так вот почему запасы у нас кончаются! Ты сожрал все один!

— Ему тоже перепало, — мотнул он головой в мою сторону.

Матушка повернулась ко мне. Сердце у меня так и ухнуло в пятки.

— Писин! Это правда?

— Это же было ночью, мама. Я даже не проснулся толком, а есть очень хотелось. Он дал мне галету. Я ее и съел, мне и в голову не пришло, что…

— Что, всего одну? — Кок издевательски хмыкнул.

Пришел черед матушке отвести глаза. Гнев из нее так и вытек, словно в песок ушел. Не сказав больше ни слова, она вернулась к матросу.

Лучше б она рассердилась на меня. Лучше б наказала. Что угодно, лишь бы не это молчание. Я принялся сооружать для матроса подушку из спасательных жилетов — только бы побыть к матушке поближе.

— Прости меня, мама, — прошептал я, уже чуть не плача. — Прости…

Собравшись с духом, я взглянул матушке в лицо и увидел, что и у нее в глазах стоят слезы. Но на меня она не смотрела. Вглядывалась куда-то в прошлое, в дальние дали воспоминаний.

— Одни мы с тобой остались, Писин, совсем одни, — проговорила она таким тоном, что последняя надежда умерла во мне в тот миг безвозвратно.

Никогда в жизни я еще не чувствовал такого одиночества. Мы ведь к тому времени уже две недели проболтались в этой шлюпке, а такое даром не проходит. Верить, что отец и Рави спаслись, с каждым днем было все труднее.

Когда мы обернулись, кок уже держал отрезан-

ную ногу за лодыжку над водой — чтобы стекли остатки крови. Матушка прикрыла глаза матроса ладонью.

Умер он тихо — жизнь просто вытекла из него, как кровь из ноги. Кок живо его разделал. Из ноги наживки не вышло. Мясо уже совсем разложилось и не держалось на крючке: просто растворилось в воде, и дело с концом. Но у этого чудовища ничего зазря не пропадало. Он все нарезал на кусочки — и кожу, и внутренности, все до последнего дюйма. Даже гениталии. Покончив с туловищем, принялся за руки, а там и до второй ноги добрался. Мы с матушкой тряслись от ужаса. Мама кричала на кока:

— Чудовище! Как ты смеешь?! Где твоя человечность? У тебя что, совсем совести нет? Чем этот бедный мальчик перед тобой виноват? Ты чудовище! Чудовище!

Но кок в ответ только изрыгал грязную брань.

— Ты хоть лицо ему прикрой, ради бога! — крикнула матушка.

Невыносимо было видеть это прекрасное лицо, такое благородное и безмятежное, на этом истерзанном теле. Кок, услыхав это, бросился к голове матроса и, прямо у нас на глазах, содрал с нее кожу — и волосы, и лицо. Нас с матушкой вырвало.

Покончив с разделкой, он вышвырнул скелет за борт. Очень скоро по всей шлюпке уже лежали и вялились на солнце полоски мяса и куски органов. Мы шарахались от них в ужасе. Старались на них не смотреть. Но от запаха деваться было некуда.

В следующий раз, когда кок подошел близко, матушка ударила его по лицу — наотмашь, тяжело, аж в воздухе зазвенело. Такого я от нее не ожидал — поразительный поступок. И геройский. Настоящий взрыв ярости и горя, скорби и отваги. Она это сделала в память того несчастного матроса. Чтобы спасти хоть остатки его достоинства.

Я застыл в изумлении. И кок тоже. Он стоял не шевелясь, ни слова не говоря, — а матушка смотрела ему прямо в лицо. Я заметил, как он старается не встретиться с ней взглядом.

Мы разошлись по своим углам. Я держался рядом с матушкой. И разрывался между восторженным восхищением и малодушным страхом.

Матушка следила за ним в оба. И поймала-таки — через два дня. Сколько он ни осторожничал, а она все же заметила, как он подносит руку ко рту.

— Я все видела! — крикнула она. — Ты только что съел кусок! Ты говорил, это для наживки! Так

я и знала. Ты — чудовище! Зверь! Как ты мог? Он же *человек*! Такой же, как ты!

Как же она ошибалась, если рассчитывала, что от этих слов он устыдится, выплюнет тот кусок и рассыпется в извинениях! Он продолжал жевать как ни в чем не бывало. Хуже того, поднял голову и остаток вяленой полоски сунул в рот уже не таясь.

— Вроде свинины, — пробормотал он.

Матушка отвернулась, яростно передернув плечами — жест негодования и омерзения. А он преспокойно сжевал еще одну полоску.

— Вот уже и сил прибавилось, — добавил он и снова сосредоточился на рыбалке.

Мы держались на своей половине шлюпки, он — на своей. Удивительно, какие прочные стены воздвигает сила воли! Мы жили себе спокойно целыми днями, будто его и вовсе не было.

Но совсем не обращать на него внимания нельзя было. Да, он был скот — но скот практичный. Руки у него росли откуда надо, да и море он знал. И голова работала — будь здоров. Это он придумал построить плот, чтоб рыбачить было удобнее. Если мы сколько-то и продержались, то лишь благодаря ему. Я ему помогал как мог. Но он был страшно несдержанный — все время орал

на меня и ругался.

Мы с матушкой от того матроса ни кусочка в рот не взяли, ни крошки, хоть и совсем ослабли от голода, — но тем, что кок выуживал, все же не брезговали. Матушка, за всю жизнь не попробовавшая мясного, заставила себя есть сырую рыбу и черепашье мясо. Тяжко ей пришлось. Отвращения она так и не одолела. А вот мне было проще: я быстро смекнул, что голод — лучшая приправа.

Когда жизнь дает тебе поблажку, невозможно не почувствовать хоть мало-мальскую симпатию к тому, кто отсрочил твой приговор. До чего же здорово было, когда кок втаскивал на борт черепаху или большущую корифену! Мы с матушкой улыбались до ушей, блаженное тепло разливалось в груди, и в шлюпке воцарялось перемирие — на много часов. Матушка с коком говорили вежливо, даже шутили. А если еще и закат выдавался красивый, такая жизнь начинала мне казаться почти что сносной. В такие минуты я смотрел на него — да-да! — с нежностью. С любовью. Я воображал, что мы друзья не разлей вода. Он грубил даже в хорошем настроении, но мы перед самими собой делали вид, что ничего такого не замечаем. Он говорил, что в конце концов мы наткнемся на какой-нибудь остров. На это и была

вся надежда. Мы все глаза проглядели, высматривая этот обетованный остров, — и все напрасно. А он, пользуясь случаем, воровал еду и воду.

Бескрайняя пустыня Тихого океана сомкнулась вокруг нас гигантской стеной. Я думал, нам уже никогда из-за нее не выбраться.

Он убил ее. Кок убил мою мать.

Мы голодали. Я страшно ослаб. Не смог удержать черепаху. Из-за меня мы ее упустили. Он ударил меня. Матушка ударила его. А он — ее. Она обернулась и крикнула: «Беги!» — и подтолкнула меня к плоту.

Я прыгнул за борт. Думал, она прыгнет следом. Я плюхнулся в воду. Вскарабкался на плот. Они дрались. Я ничего не мог — только смотреть. Моя мать дралась с мужчиной. Злобным и мускулистым. Он схватил ее за руку и выкрутил запястье. Матушка вскрикнула и упала. Он склонился над ней. Сверкнул нож. Нож поднялся. Опустился. Опять взлетел — красный от крови. Опять опустился и поднялся, и еще, и еще. Матушку я не видел. Она лежала на дне шлюпки. Я видел только *его.* Наконец он прекратил это. Поднял голову, взглянул на меня. И швырнул в меня чем-то. Струя крови ударила мне в лицо. Никакой бич не хлестнул бы больнее. Я держал в руках мамину

голову. Я разжал руки. Она пошла ко дну в облаке крови, и коса тянулась за ней, как хвост. Рыбы ринулись на глубину, пытаясь догнать ее, но еще быстрее наперерез ей метнулась длинная серая тень акулы — и голова исчезла. Я разогнулся. *Его* не было видно. Он прятался на дне шлюпки. Но потом показался-таки — чтобы выбросить мамино тело за борт. Рот у него был в крови. Вода забурлила от рыб.

Остаток дня и всю ночь я просидел на плоту, не спуская с него глаз. Мы ни словом не перемолвились. Он запросто мог бы обрезать веревку и от меня отделаться. Но — нет. Я оставался с ним — как живой укор совести.

Утром я подтянул плот к шлюпке — прямо у него на глазах. Я был совсем без сил. Он ничего не сказал. Я держался спокойно. Он поймал черепаху. Дал мне напиться ее крови. Потом разделал ее и положил для меня на среднюю банку лучшие куски. Я поел.

Потом мы схватились, и я его убил. На лице его не отражалось ничего — ни отчаяния, ни гнева, ни страха, ни боли. Он сдался. Он позволил себя убить, хоть и не без борьбы. Он понял, что зашел слишком далеко — даже по своим скотским стандартам. Он зашел слишком далеко и не хотел

больше жить после этого. Но вины за собой не признал. Ну почему нам так трудно свернуть с пути зла?

Нож все это время лежал на виду — там же, на средней банке. Мы оба это знали. Он мог бы сам его взять — с самого начала. Он же сам его туда и положил. Я схватил нож. Ударил его в живот. Он скривился, но не упал. Я выдернул нож и ударил еще раз. Полилась кровь. Но он все стоял. Только голову приподнял — и посмотрел мне прямо в глаза. Может, он хотел этим что-то сказать? Думаю, да, — и я его правильно понял. Я ткнул его ножом в горло, у кадыка. И он сразу рухнул как подкошенный. И умер. Без единого слова. Не было никаких предсмертных речей. Только кашлянул кровью — и все. Чудовищная сила инерции у ножа: стоит ему прийти в движение — уже не остановишь. Я все бил и бил его этим ножом. Боль в потрескавшихся ладонях унялась от его крови. С сердцем я долго возился: столько всяких трубок пришлось перерезать, чтобы его наконец вытащить! Но оно того стоило — оказалось куда вкуснее черепах. Я и печень съел. И срезал здоровенные куски мяса.

Он был настоящий злодей. Но куда хуже другое: он столкнулся со злом во мне — с эгоизмом, гне-

вом, жестокостью. Теперь мне с этим жить — и никуда от этого не деться.

Пришло время одиночества. Я обратился к Богу. И выжил.

[Долгая пауза.]

— Ну, что? Так лучше? Есть тут такое, во что вам трудно поверить? Или опять хотите, чтобы я что-нибудь изменил?

Г-н Чиба: — *Какая жуткая история!*

[Долгая пауза.]

Г-н Окамото: — *А вы заметили, что и у зебры была сломанная нога, и у этого тайваньского матроса?*

— Не-ет…

— А гиена отгрызла зебре ногу точь-в-точь как этот кок отрезал ногу матросу.

— Ох-х-х… Окамото-сан, и как вы только все замечаете?!

— А тот слепой француз из другой шлюпки — помнится, он сознался, что убил мужчину и женщину.

— Да, точно.

— А кок убил матроса и мать мальчишки.

— Вот это да!

— Много общего у этих историй.

— Значит, тайваньский матрос — это зебра,

мать — орангутан, а кок… а кок — гиена. Выходит, что сам он — тигр!

— *Да. Тигр убил гиену — и того слепого француза. Точь-в-точь как он убил кока.*

Пи Патель: — У вас не найдется еще шоколадки?

Г-н Чиба: — Сейчас. Вот!

— Спасибо.

Г-н Чиба: — *Но что же все это значит, Окамото-сан?*

— Понятия не имею.

— А остров? И кто такие сурикаты?

— Не знаю.

— А эти зубы? Чьи же зубы он нашел на дереве?

— Не знаю. Что я, по-вашему, в голове у этого мальчишки сижу?

[Долгая пауза.]

Г-н Окамото: — Извините меня за навязчивость, но все-таки… не говорил ли кок чего-нибудь о том, как затонул «Цимцум»?

— В этой другой истории?

— Да.

— Не говорил.

— Не упоминал ли он каких-нибудь событий, произошедших рано утром второго июля? Собы-

тий, которые могли бы объяснить случившееся?

— Нет.

— Не заходила ли речь о каких-нибудь неполадках в машине или о физических повреждениях корпуса?

— Нет.

— А о других судах или иных объектах на море?

— Нет.

— Хоть чем-то он мог объяснить крушение «Цимцума»?

— Нет.

— А не говорил ли он, почему не послали сигнал бедствия?

— А если бы и послали? По моему опыту, когда тонет ржавая третьесортная посудина — если это, случаем, не танкер, способный угробить целую экосистему, — всем плевать, никто о ней и не вспомнит. Спасайся как можешь.

— Когда в «Ойка» заметили неладное, было уже слишком поздно. Для воздушных спасателей — слишком далеко. Суда в секторе были оповещены. Но никто ничего не видел.

— А что до нас, то не только судно было третьесортное. Вся команда — мрачный, грубый сброд. Вкалывали, только когда помощники капитана

смотрели, а стоило тем отвернуться — тут и делу конец. По-английски ни слова не знали, и никакого проку нам от них не было. От некоторых уже к середине дня спиртным разило. Кто его знает, что эти идиоты могли натворить? А помощники капитана…

— Что вы хотите этим сказать?

— Чем?

— Вы сказали: «Кто его знает, что эти идиоты могли натворить».

— А-а, я имел в виду, может, они спьяну выпустили зверей.

Г-н Чиба: — У кого были ключи от клеток?

— У отца.

Г-н Чиба: — Так как же матросы могли открыть клетки без ключей?

— Не знаю. Может, ломом.

Г-н Чиба: — А зачем им было это делать? Зачем выпускать из клетки опасного дикого зверя?

— Не знаю. Откуда мне знать, что им там под мухой в голову взбрело?! Выпустили — и все тут. Факт есть факт — звери оказались на воле.

Г-н Окамото: — Прошу прощения… Вы сомневаетесь в профессиональной пригодности команды?

— Еще как сомневаюсь.

— Видели ли вы кого-либо из штурманского состава в состоянии алкогольного опьянения?

— Нет.

— Но матросов — видели?

— Да.

— А помощники капитана, по-вашему, действовали компетентно и профессионально?

— Да мы с ними почти не общались. И к животным они близко не подходили.

— Я имею в виду, умело ли они вели судно?

— Ну откуда мне знать? Думаете, мы с ними каждый день чаи распивали? По-английски они, правда, говорили, но в остальном были что те же матросы. В кают-компании они нас не привечали, за едой и двух слов не желали сказать. Болтали между собой по-японски, будто нас и не было. Мы же для них были просто грязные индусишки, да еще с таким хлопотным грузом. В конце концов мы стали обедать в каюте у мамы с папой. «Зов приключений!» — говорил Рави. Понимаете, это же было приключение — потому и казалось сносным. А на самом-то деле мы только и знали, что выгребать из клеток грязь да возиться с кормежкой, пока отец строил из себя ветеринара. Если с животными все в порядке, то и нам волноваться не о чем — вот как оно было.

А насколько были компетентны помощники капитана, — этого я не знаю.

— Вы сказали, что судно дало крен на левый борт?

— Да.

— И осело на корму?

— Да.

— Не на нос?

— Нет.

— Точно? Нос был выше кормы, вы уверены?

— Да.

— Значит, ваше судно столкнулось с каким-то другим?

— Не видел я никакого другого судна.

— Может, с каким-то другим предметом?

— Ничего я такого не видел.

— Значит, село на мель?

— Нет, просто затонуло. Совсем.

— После выхода из Манилы вы не замечали никаких неполадок с машинами?

— Нет.

— Как по-вашему, судно было правильно загружено?

— Да я же впервые в жизни попал на корабль! Откуда мне знать, как выглядит правильно загруженное судно?

— Вы сказали, будто слышали взрыв?

— Да.

— А какие-нибудь другие шумы?

— Уйму.

— Я имею в виду, такие, которыми могло бы объясняться крушение.

— Нет.

— Говорите, судно быстро затонуло?

— Да.

— Можете приблизительно оценить, за какое время?

— Трудно сказать. Очень быстро. Минут за двадцать где-то, а может, и быстрее.

— И было много обломков?

— Да.

— Может, судно накрыло необычно высокой волной?

— Не думаю.

— Но шторм был?

— Мне показалось, да. Качка была та еще. И ветер, и дождь.

— Какой высоты достигали волны?

— Большой. Футов двадцать пять — тридцать.

— Ну, на самом деле это вполне умеренно.

— Только когда ты не в шлюпке.

— Конечно. Я имею в виду — для сухогруза.

— Может, и выше. Я не знаю. Погода была достаточно скверная, чтобы у меня от ужаса мозги отшибло, — вот и все, что я могу сказать наверняка.

— Но вы сказали, что погода быстро исправилась. Что судно затонуло, а потом наступил чудесный день, — вы ведь так сказали?

— Да.

— Похоже на случайный шквал.

— Но судно он потопил.

— Это-то мы и пытаемся выяснить.

— Вся моя семья погибла.

— Нам очень жаль.

— Но не так, как мне.

— Так что же все-таки произошло, господин Патель? Мы теряемся в догадках. Судно шло себе и шло своим чередом, и вдруг…

— А потом своим чередом затонуло.

— Почему?

— Я не знаю. Это вы мне должны объяснить. Вы же специалисты. Что по этому поводу говорит ваша наука?

— Мы ничего не понимаем.

[Долгая пауза.]

Г-н Чиба: — *И что теперь?*

Г-н Окамото: — *Все, я сдаюсь. Ответ на вопрос,*

почему затонул «Цимцум», лежит на дне океана.

[Долгая пауза.]

Г-н Окамото: — *Да, делать нечего. Уходим.* Что ж, господин Патель, полагаю, мы услышали все, что требовалось. Большое вам спасибо за сотрудничество. Вы нам очень, очень помогли.

— Не за что. Но теперь я тоже хочу кое о чем вас спросить.

— Да?

— «Цимцум» затонул второго июля тысяча девятьсот семьдесят седьмого года.

— Так.

— А я — единственный человек, переживший крушение «Цимцума», — добрался до мексиканского побережья четырнадцатого февраля тысяча девятьсот семьдесят восьмого года.

— Верно.

— Я рассказал вам две истории о том, что произошло за эти двести двадцать семь дней.

— Да-да.

— Ни в той ни в другой не найдется ответа на вопрос, почему затонул «Цимцум».

— Верно.

— Так что, по сути, вам без разницы, какая из них — правдивая.

— По сути дела — да.

— Ни ту ни другую историю вы не можете ни подтвердить, ни опровергнуть. Приходится полагаться только на мое слово.

— Похоже, что так.

— И в обеих судно идет ко дну, все мои родные гибнут, а я терплю ужасные муки.

— Да, совершенно верно.

— Тогда скажите — раз уж это не меняет сути дела, да и доказать вы все равно ничего не можете, — какая история вам больше нравится? Какая история интересней — со зверьми или без зверей?

Г-н Окамото: — Занятный вопрос…

Г-н Чиба: — История со зверьми.

Г-н Окамото: — *Да.* История со зверьми — интересней.

Пи Патель: — Спасибо. Значит, она угодна Богу.

[Пауза.]

Г-н Чиба: — *О чем это он?*

Г-н Окамото: — *Не знаю.*

Г-н Чиба: — *Ох, смотрите… он плачет!*

[Долгая пауза.]

Г-н Окамото: — Надо будет глядеть в оба, когда поедем отсюда. Не то еще наткнемся на Ричарда Паркера.

Пи Патель: — Не бойтесь. Он так запрятался, что вам его никогда не найти.

Г-н Окамото: — Спасибо, что уделили нам время, господин Патель. Мы вам очень благодарны. И на самом деле вам очень сочувствуем.

— Спасибо.

— Что вы теперь будете делать?

— Наверное, поеду в Канаду.

— В Индию не вернетесь?

— Нет. Там у меня ничего не осталось. Только грустные воспоминания.

— Вы, конечно, в курсе, что вам полагается страховка?

— О-о-о.

— Да. Служащие «Ойка» с вами свяжутся.

[Пауза.]

Г-н Окамото: — Нам пора. Желаем вам всего наилучшего, господин Патель.

Г-н Чиба: — Да, всего наилучшего.

— Спасибо.

Г-н Окамото: — До свидания.

Г-н Чиба: — До свидания.

Пи Патель: — Не хотите печенья на дорожку?

Г-н Окамото: — С удовольствием.

— Вот. По три штуки каждому.

— Спасибо.

Г-н Чиба: — Спасибо.

— Не за что. До свидания. Бог вам в помощь, братья мои.

— Спасибо. И вам, господин Патель.

Г-н Чиба: — До свидания.

Г-н Окамото: — *Умираю с голоду. Пойдем поедим. Можете это выключить.*

100

В письме ко мне господин Окамото вспоминал, что их беседа была «тяжелой и незабываемой». Еще ему запомнилось, что Писин Молитор Патель был «совсем худой, очень несговорчивый, но довольно смышленый».

Вот основная часть его отчета.

Единственный человек, уцелевший после кораблекрушения, так и не смог объяснить толком, почему затонул «Цимцум». Очевидно, судно пошло ко дну очень быстро, из чего можно заключить, что оно получило серьезную пробоину. Данное предположение подтверждается и большим количеством всплывших обломков. Однако настоящую причину того, почему судно дало течь, установить невозможно. Ни о каком резком ухудшении погоды в том секторе не сообщалось. Спасенный оценивает погодные условия не вполне точно и не совсем адекватно. Тем не менее погоду, как один из определяющих факторов, нельзя не учитывать. Судя по всему, главная причина кораблекрушения заключалась в самом судне. Спасенный утверждает, что слышал взрыв — кажется, в машинном отделении:

вполне возможно, что взорвался паровой котел; впрочем, это всего лишь предположение. Судну было двадцать девять лет (его построили в 1948 году в Мальме, на верфи «Эрландсон и Сканк»), а ремонтировалось оно в 1970 году. Резкое ухудшение погоды в совокупности с усталостью корпуса — причина вполне вероятная, но недоказуемая. Ни о каких кораблекрушениях в том районе не сообщалось, поэтому столкновение с другим судном также представляется маловероятным. Однако судно могло столкнуться с плавающими обломками, хотя проверить это невозможно. Причиной взрыва могло послужить столкновение с плавучей миной, хотя и такое кажется невозможным и тем более маловероятным, что судно ушло под воду сначала кормой, а это, в свою очередь, означает, что пробоина образовалась в кормовой части судна. Спасенный высказывал сомнения по поводу правильности действий рядовых членов экипажа, а о поведении штурманского состава он ничего не говорил. Судоходная компания «Ойка» утверждает, что весь груз был законный и ни о каких трениях между штурманским составом и рядовыми членами экипажа ей неизвестно.

Таким образом, установить истинную причину кораблекрушения на основании имеющихся

показаний решительно невозможно. Дело рекомендуется закрыть.

В качестве отступления следует заметить, что свидетельство единственного уцелевшего после кораблекрушения, господина Писина Молитора Пателя, гражданина Индии, представляет собой удивительную историю о мужестве и стойкости перед лицом невероятно тяжелых и трагических обстоятельств. Судя по имеющимся сведениям, его рассказ не знает себе равных в истории кораблекрушений. Далеко не каждый, кому случалось пережить кораблекрушение, может сказать, что продержался в море так же долго, как господин Патель, и уж тем более один на один со взрослым бенгальским тигром.